Н. С. Лесков

Чертовы куклы

Н. С. ЛЕСКОВ



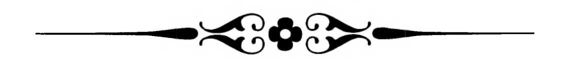
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ.
Фотография Н. А. Чеснокова. Санкт-Петербург. 1880-е гг.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Н. С. Лесков



ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ



Издание подготовила
А. А. ШЕЛАЕВА



Санкт-Петербург
«Наука»
2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Л50

Серия основана академиком С. И. Вавиловым

Ответственный редактор

А. А. ГОРЕЛОВ

ISBN 978-5-02-038236-7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В начале истекающего девятнадцатого столетия в одной семье германского происхождения родился мальчик необыкновенной красоты. Он был так хорош, что в семье его не звали его крестным именем, а называли его Фебо-фис или Фебуфис, то есть сын Феба. Это имя так ему пристало, что он удержал его за собою в школе, а потом оно осталось при нем во всю его жизнь. С возрастом оказалось, что при телесной красоте ребенок был осчастливлен замечательными способностями: он прекрасно учился наукам и рано обнаружил дар и страсть к живописи.

Отец Фебуфиса занимался крупными торговыми операциями и имел обеспеченное состояние. Он хотел, чтобы сын шел по его же дороге, и потому не был обрадован его художественными наклонностями, но мать ребенка, женщина очень чувствительная и поэтическая, не любила прозаических торговых занятий мужа и настояла, чтобы Фебуфис получил возможность следовать своим художественным влечениям.

Мать питала несомненную уверенность, что сына ее ожидает слава, и она отчасти не ошиблась.

Отец уступил желаниям сына, поддерживаемым настойчивостью матери, и Фебуфис поступил в высшую художественную школу, сначала в том городе, где жили его родители, а потом перешел для усовершенствования в Рим, где на него вскоре же стали указывать как на самого замечательного из современных живописцев.

С течением времени на него обращали внимания больше и больше, и он вскоре стал пользоваться такою известностью, которая уже довольно близко граничила со славою. Были основания верить, что невдалеке его ожидает и настоящая слава. Характер у него был веселый, немножко заносчивый и дерзкий со старшими, но беспечный и общительный в сношениях с сверстниками, между которыми молодой человек имел друзей. Особенно дружны были с ним два молодых живописца, прозванные в своем кружке Пиком и Маком. Оба эти молодые люди были разных национальностей и несходного нрава, но находились в теснейшей приязни и никогда почти не разлучались. За то их и прозвали Пик и Мак — по детской игре: «где Пик, там Мак, — Пик здесь — Мак здесь, — Пика нет, и Мака нет». Мак был крупный брюнет с серьезным, даже несколько суровым и задумчивым лицом, а Пик — розовая белокурая крошка, с личиком из тех, которых зовут «овечьею мордочкой». Мак был мыслитель — его занимали общественные вопросы: он скорбел о человеческих бедствиях и задумывался над служебными целями искусства, а Пик смотрел на жизнь в розовые стекла и отрицал в искусстве все посторонние цели, кроме самой красоты; притом Пик любил и покутить, но только, несмотря на его неразборчивость, он почти никогда не имел удачи, а Мак был само целомудрие и обладал всеми шансами на успехи, но он их не добивался. Пик находил почти всех женщин очень милыми, а Мак смотрел на всех равнодушно и все надеялся когда-нибудь увидеть одну заповедную женщину по своим мыслям. Она должна была обладать красотою духовной более, чем телесною, — во всяком случае она непременно должна была иметь над ним многие нравственные превосходства, особенно в деликатности чувств, в тонком ощущении благородства, чести и добра. Она должна была не отделять его от мира, как любят делать многие женщины, а роднить его с высшим миром. Если случалось, что Пику и Маку нравилось одно и то же, то оно непременно нравилось им с разных сторон. Им, например, обоим нравился Дон Жуан, и они оба оправдывали байроновского героя, но совершенно с различных сторон: Пик находил, что переменять привязанности очень весело, а Мак любил Жуана за то, что он открывал во всех любивших его женщинах обман и не хотел довольствоваться фальсификациею чувства. Несмотря на такое несходство во взглядах, Пик и Мак были, однако, очень дружны: Пик уважал в Маке его думы и даже заботы о служебных задачах искусства, а Мак любил в Пике искренность, с какою он восхищался каждым дарованием, кроме своего собственного. Оба они жили вместе, не богато и не бедно, как жило в то время множество людей их среды.

Фебуфиса отыскал Пик и сказал нелюдимому Маку:
— Пойдем посмотрим человека с большим дарованием.
— В чем же он проявил свои дарования?
— Прекрасно пишет.
— Что же он пишет? — спросил Мак.
— Всё.
— Всё?.. Это много. Пойдем и посмотрим все.
— Да, а вот ты можешь научить его выбирать лучшее.
Они пошли и подружились сразу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У Фебуфиса не было недостатка в фантазии, он прекрасно сочинял большие и очень сложные картины, рисунок его отличался правильностью и смелостью, а кисть его блистала яркою колоритностью. Ему почти в одинаковой степени давались сюжеты религиозные и исторические, пейзаж и жанр, но особенно пленяли вкус и чувство фигуры в его любовных сценах, которых он писал много и которые часто заходили у него за пределы скромности.

В последнем роде он позволял себе большие вольности, но грация его рисунка и живая прелесть колоритного письма отнимали у этих произведений впечатление скабрезности, и на выставках появлялись такие сюжеты Фебуфиса, какие от художника меньших дарований ни за что не были бы приняты. С другой же стороны, соблазнительная прелесть картин этого рода привлекала к ним внимание самой разнообразной публики и находила ему щедрых покупателей, которые не скупились на деньги.

Таким образом росло его имя, и он получал такой значительный заработок, что уже не только не требовал никакой поддержки от родителей, но когда отец его умер и дела их пошатнулись, то Фебуфис уступил свою долю отцовского наследства брату и сестре и стал присылать значительные суммы нежно любимой матери.

Пик всему этому шумно радовался, а Мак серьезно молчал, или, когда Пик очень надоедал ему своими восторгами и восклицал:
— О, до чего он может достичь!
Мак отвечал:
— До всего; я боюсь, что он до чего хочешь достигнет.
— Нет, с кем его можно сравнить?

— С Ван-дер-Пуфом, — отвечал Мак.

Ван-дер-Пуф было шуточное прозвание для тех, кто подавал большие надежды с сомнительными последствиями.

Пик за это сердился и находил, что Фебуфис похож на Луку Кранаха, которого он очень любит и имеет некоторые его свойства.

— В чем же это проявляется? — спрашивал Мак.

— В даровании, в смелом характере и в уменье гордо держать себя с великими мира.

Мак отвечал, что лучшее уменье держать себя с теми, кто почитает себя великими мира, — это стараться не входить с ними ни в какие сношения.

— А если это нельзя?

— Ну, тогда быть от них как можно дальше.

— Э, брат, это сочтут за робость и унижение.

— Поверь, что в этом только есть настоящее величие, которое и они сами чувствуют и которое одно может уязвлять их пустую надменность.

— Ну, ты, Мак, ведь аскет. Этак жить, так нельзя будет сделать ничего достойного в мире.

А Мак, наоборот, думал, что так только и можно что-нибудь сделать самое достойное.

— А именно что?

— Прежде всего сберечь *свое достоинство*.

— Ты все о *своем* достоинстве — все только о том, что для себя.

— Нет, сохранение «достоинства» — это не «только для себя», а это потом пригодится и для других.

Студию Фебуфиса искали посещать самые разнообразные путешественники, но достигали этого не все, кто хотел. Он допускал к себе только или известных знатоков и ценителей искусства, или людей высокого положения, внимание которых ему льстило и которым он по преимуществу продавал свои картины для их музеев и палаццо, и всегда за дорогую цену. Но и при этом он давал еще много произвола своим художественным прихотям и капризам, очень часто доводимым им до непозволительной дерзости и пренебрежения к сану и светскому положению своих важных посетителей. Он продавал им часто не то, что они желали бы у него приобресть, а то, что он сам соглашался уступить им, всегда с затаенным и мало скрываемым намерением заставить их иметь перед собою сюжет, который мог служить им намеком, попреком или неприятным воспоминанием.

Пик находил это прекрасным и художественным, а Мак называл фиглярством.

Произведения Фебуфиса были в моде, а притом же тогда было в моде и потворство капризам художников, и потому сколько-нибудь замечательным из них много позволяли. Люди самые деспотичные и грозные, требовавшие, чтобы самые ученые и заслуженные люди в их присутствии трепетали, сносили от художников весьма часто непозволительные вольности. Художников это баловало, и не все из них умели держать себя в пределах умеренности и забывались, но, к удивлению, все это им сходило с рук в размерах, непонятных для нынешнего реального времени.

Особенно они были избалованы женщинами, но еще больше, пожалуй, деспотами, которые отличались своею грозностью и недоступностью для людей всех рангов и положений, а между тем даже как будто находили удовольствие в том, что художники обращались с ними бесцеремонно.

Такое было время и направление.

Фебуфис как первенствовал между собратиями в искусстве, так же отличался смелостью и в художественных фарсах и шалопайствах. У него было много любовных приключений с женщинами, принадлежавшими к самым разнообразным слоям в Риме, но была и одна привязанность, более прочная и глубокая, чем другие. Эта любовь была замечательно красивая бедная девушка-римлянка, по имени Марчелла. Она любила красавца иностранца без памяти и без всякого расчета, а он и ее ценил мало. Он был больше всего занят тем, что с успехом соперничал с модным кардиналом в благорасположении великосветских римлянок и высокорожденных путешественниц или, наскучив этим, охотно пил и дрался кулаками в тавернах за мимолетное обладание тою или другою из тамошних посетительниц. По первой категории подвиги его восходили до дуэлей, угрожавших ему высылкою из тогдашней папской столицы, а по второй дела кончались потасовками или полицейским призывом к порядку, что тоже тогда в художественном мире не почиталось за дурное и служило не в укор, а, наоборот, слыло за молодечество.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сказано, что между любовными историями Фебуфиса была одна, которая могла его кое к чему обязывать. Это то самое, что касалось красивой и простосердечной римской девушки по имени Марчелла. Она

была безвестного происхождения и имела престарелую мать, которую с большим трудом содержала своею работой, но замечательная красота Марчеллы сделала ей большую известность. Не один Фебуфис был пленен этою красотой — молодой, тогда еще малоизвестный патриот Гарибальди на одном из римских празднеств тоже подал Марчелле цветок, сняв его со своей шляпы, но Марчелла взяла цветок Гарибальди и весело перебросила его Фебуфису, который поймал его и, поцеловав, приколол к своей шляпе. Гарибальди видел это, послал им обоим поцелуй и крикнул: «Счастливого успеха влюбленным!» Сближение их было очень быстро и оригинально. Расположения Марчеллы искали многие, и в числе претендентов на ее руку были и богатые люди: в числе таких был один пармезанец. Марчелла его не любила, но мать ее указывала на свое нездоровье и преклонные годы, требовала от дочери «маленькой жертвы». Марчелла согласилась на жертву и сделалась невестой, но под самый день свадьбы пошла помолиться Мадонне и безотчетно постучалась в дверь Фебуфиса. Сюда привела ее нестерпимая любовь, с которою она напрасно боролась, и она вышла отсюда только через несколько дней и пошла к пармезанцу сказать, что уже не может быть его женою. Но Фебуфис, как многие баловни женщин, не хотел оценить лучше других поступок Марчеллы и скоро охладел к ней, как к прочим. Эта победа только вплела новый листок в его любовные лавры, а Марчеллу познакомила с чувствами матери. Пик был этим смущен, а Мак оскорблен и разгневан: он перестал говорить с Фебуфисом и не стал давать ему руку.

— Это слишком уж строго, — говорил Пик.

Мак на это не отвечал, но, встретив однажды Марчеллу, сказал ей:

— Как ты живешь нынче, добрая и честная Марчелла?

— Ты меня называешь доброю!

— И честною.

— Спасибо; я живу не худо, — отвечала Марчелла. — С тех пор как у меня есть дитя, я работаю вдвое и, представь себе, на все чувствую новые силы.

— Но ты исхудала.

— Это скоро пройдет.

— А ты мне скажи... только скажи откровенно.

— О, все, что ты хочешь... Я знаю тебя — в тебе благородное сердце.

— Согласись быть моей женой.

— Женою?.. Спасибо. Я знаю, что ты благороден и добр... Женою!.. Нет, милый Мак, я уже никогда не буду ничьею женой.

— Почему?

— Почему? — Марчелла покачала своею красивою головой и отвечала: — Я ведь люблю! Разве ты хочешь, чтобы между нами всегда был третий в помине? Нет, милый Мак, я любила, и это останется вечно. Полюби лучше другую.

Но благородство и гордость Марчеллы были подвергнуты слишком тяжелому испытанию: мать ее беспрестанно укоряла их тяжкою бедностью, — ее престарелые годы требовали удобств и покоя, — дитя отрывало руки от занятий, — бедность всех их душила. О Марчелле пошли недобрые слухи, в которых имя доброй девушки связывалось с именем богатого иностранца. К сожалению, это не было пустою басней. Марчелла скрывалась от всех и никому не показывалась.

Пик и Мак о ней говорили только один раз, и очень немного. Пик сказал:

— Слышал ты, Мак, что говорят о Марчелле?

— Слышал, — отвечал Мак, сидя за мольбертом.

— И что же, ты этому веришь или не веришь?

— Верю, конечно.

— Почему же конечно? Ты ведь был о ней всегда хорошего мнения.

— Я о ней и теперь остаюсь хорошего мнения.

Теперь Пик помолчал и потом спросил:

— Разве она не могла поступить лучше?

— Не знаю, может быть, и не могла.

— Значит, у нее нет воли, нет характера?

— Ты спроси об этом того, кто устроил испытание для ее воли и характера.

— Но она могла выйти замуж?

— Не любя?

— Хотя бы и так.

— Или... быть может, даже любивши другого?

— Ну, и все было б лучше.

— Может быть, только она тогда не была бы тою Марчеллой, которая стоила бы моего лучшего мнения.

— А теперь?

— Из двух зол она выбрала то, которое меньше.

— Меньше!.. Продать себя... это ты считаешь за меньшее зло?

— Не себя.

— Как не себя? Неужто этот богач ездит к ней читать с нею Петрарку или Данте?

— Нет; она продала ему свое прекрасное тело и, наверное, не обещала отдать свою душу. Ты различай между *я* и *мое*: я — это я в сво-

ей сущности, а тело мое — только моя принадлежность. Продать его — страшная жертва, но продать свою душу, свою правду, обещаться любить другого — это гораздо подлее, и потому Марчелла делает меньшее зло.

— Есть еще средство! — заметил Пик.

— Какое?

— Прекратить свою жизнь. Смерть лучше позора.

Мак сложил руки и сказал:

— Как? убить себя?.. Женщине убить себя за то, что ее бросили, и бросить на все мучения нищеты свою мать и своего ребенка?.. И ты это называешь лучшим? Нет, это не лучше. Лучше перенести все на себе и... Впрочем, иди лучше, Пик, читай уроки о чести другому, — мы о ней больше с тобою никогда не должны говорить.

— Хорошо, — отвечал Пик, — но ты мне никогда не докажешь...

— Ах, оставь про доказательства! Я никогда тебе и не буду доказывать того, что для меня ясно, как солнце, а ты знай, что доказать можно все на свете, а в жизни верные доказательства часто стоят менее, чем верные чувства.

В отношении Марчеллы Мак имел «верные чувства» и верно отгадывал, что двигало ее поступками. Другие о ней позабыли, — Фебуфис ею не интересовался.

Он с той поры имел много других успехов у женщин, которые, помимо своей красоты, льстили его самолюбию, и вообще шел на быстрых парусах при слабом руле, который не правил судном, а предавал его во власть случайным течениям. В характере его все более обозначались признаки необузданности и своеволия. Успехи его туманили. Он становился капризен.

— Я хотел бы знать, чего он хочет? — говорил Пик.

— А я не хотел бы об этом знать, но знаю, — отвечал Мак.

— Чего же он хочет?

— Своей гибели, — и она будет его уделом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Фебуфису было около тридцати лет, когда он сбыл с рук историю Марчеллы и потом в течение одного года сделал два безумные поступка: во-первых, он послал дерзкий отказ своему правительству, которое,

по его мнению, недостаточно почтительно приглашало его возвратиться на родину, чтобы принять руководство художественными работами во дворце его государя; а во-вторых, произвел выходку, скандализовавшую целую столицу. Жена одного из иностранных дипломатов при папе уделила Фебуфису какую-то долю какого-то своего внимания и потом, — как ему показалось, — занялась кардиналом. Фебуфис вскипел гневом и выставил у себя в мастерской самую неприличную картину, вроде известной классической Pandora. На этом полотне он изобразил упомянутую красивую даму в объятиях знаменитого в свое время кардинала, а себя поставил близ них вместо сатира, которого отводит старуха со свечкой.

Картина эта представлялась забавною и едкою всем, кроме малоразговорчивого Мака.

— Твое целомудрие оскорблено моею *Пандорой*? — спросил его однажды вечером, сидя за вином, Фебуфис.

Мак прервал свое долгое молчание и ответил ему:

— Да, с этой поры я не перестану жалеть, чем ты способен заниматься.

— Способен!.. Как это глупо! Я способен заниматься всем... и я, наконец, не понимаю, почему иногда не позволить себе шалость.

— Ты называешь это шалостью?

— Конечно. А ты?

— По-моему, это низость, это растление других и самого себя.

— Так ты видишь здесь один цинизм?

— Нет, я вижу все, что здесь есть.

— Что же, например?

— Задор и вызов на борьбу людей, которых не стоит трогать.

— Отчего? Они стоят довольно высоко, и трогать их небезопасно.

— Ага! так тебе это доставляет удовольствие?

— И очень большое.

Мак тихо двинул плечами и, улыбнувшись, сказал:

— Я предпочел бы беречь свои силы, чем их так раскидывать.

— В таком случае все те, кто желает заслужить себе одобрение властей, имеют теперь отличный случай достичь этого, — стоит только обнаруживать пренебрежение *Пандоре*. Ты это делаешь?

Мак посмотрел на него пристальным взглядом и сказал:

— Ты не задерешь меня! Я не ссорюсь из-за пустяков и не люблю, когда ссорятся. Мне нет дела до тех, которые ищут для себя расположения у властей, но мне нравятся те, которые не задираются с ними.

— Ну, не хитри, Мак, ты — скрытый аристократ.

— Пожалуй, я — аристократ в том смысле, что я не хочу подражать слугам, передразнивающим у себя на застольной своих господ. Я совсем не интересуюсь этими... господами.

— Другими словами, ты бережешь себя для чего-то лучшего.

— Очень быть может.

Фебуфис ему насмешливо поклонился.

— Можешь мне и не кланяться, — спокойно сказал ему Мак.

И Мак, заплатив свои деньги, ушел ранее других из таверны.

Обе выходки Фебуфиса, как и следовало ожидать, не прошли даром: первая оскорбила правительство его страны, и Фебуфису нельзя было возвратиться на родину, а вторая подняла против него страшную бурю в самом Риме и угрожала художнику наемным убийством.

Фебуфис отнесся к тому и к другому с полным легкомыслием и даже бравировал своим положением; он ни с того ни с сего написал своему государю, что очень рад не возвращаться, ибо из всех форм правления предпочитает республику, а насчет картины, компрометировавшей даму и кардинала, объявил, что это «мечта живописца», и позволял ее видеть посетителям.

В это самое время по Европе путешествовал один молодой герцог, о котором тогда говорили, будто он располагал несметными богатствами. О нем тогда было очень много толков; уверяли, будто он отличался необыкновенною смелостью, щедростью и непреклонностью каких-то своих совершенно особенных и твердых убеждений, с которыми, долго ли, коротко ли, придется посчитаться очень многим. Это делало его интересным со стороны политической, а в то же время герцог слыл за большого знатока и ценителя разнообразных произведений искусства, и особенно живописи.

Высокий путешественник прибыл в Рим полуинкогнито из Неаполя, где все им остались очень довольны. Папский Рим ему не понравился. Рассказывали, будто он сказал какому-то дипломату, что «дело попов — молиться, но не их дело править», и не только не хотел принимать здесь никаких официальных визитов, но даже не хотел осматривать и многих замечательностей вечного города.

Властям, которые надеялись вступить с герцогом в некоторые сношения, было крайне неприятно, что он собирался отсюда ранее, чем предполагалось по маршруту.

Говорили, будто одному из наиболее любимых путешественником лиц в его свите был предложен богатый подарок за то, если оно сумеет удержать герцога на определенное по маршруту время. Это лицо, — кажется, адъютант, — любя деньги и будучи смело и находчиво, поза-

ботилось о своих выгодах и сумело заинтересовать своего повелителя рассказом о скандалезном происшествии с картиною Фебуфиса, которая как раз о ту пору оскорбила римских монахов, и о ней шел говор в художественных кружках и в светских гостиных.

Хитрость молодого царедворца удалась вдвойне: герцог заинтересовался рассказом и пожелал посетить мастерскую Фебуфиса. Этим предпочтением он мог нанести укол властным монахам, и от этого одного у него прошла хандра, но зато она слишком резко уступила место нетерпению, составлявшему самую сильную черту характера герцога.

Фебуфис входил в круг идей, для него посторонних, и неожиданно получил новое значение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тот же самый адъютант, которому удалось произвести перемену в расположении высокого путешественника, был послан к Фебуфису известить его, что такая-то особа, путешествующая под таким-то инкогнито, желает завтра быть в его мастерской. Фебуфису показалось, что это сделано как будто надменно, и его характер нашел себе здесь пищу.

— Разве ваш герцог так любит художество? — спросил он небрежно у адъютанта.

— Да, герцог очень любит искусство.

— И что-нибудь в нем понимает?

— Как вы странно спрашиваете! Герцог — прекрасный ценитель в живописи.

— Я слыхал только, что он хороший покупатель.

— Нет, я говорю вам именно то, что и хочу сказать: герцог — хороший ценитель.

— Быть ценителем — это значит не только знать технику, но иметь понятия о благородных задачах искусства.

— Мм... да!.. Он их имеет.

— В таком разе вы повезите его к Маку.

— Кто этот Мак?

— Мак? Это мой славный товарищ и славный художник. У него превосходные идеи, и я когда-то пользовался его советом и даже начал было картину «Бросься вниз», но не мог справиться с этою идеей.

— *Бросься вниз*?

— Да... «Бросься вниз».

Гостю показалось, что хозяин над ним обидно шутит, и он сухо ответил:

— Я не понимаю такого сюжета.

— Позвольте усомниться.

— Я не имею привычки шутить с незнакомыми.

— «Бросься вниз» — это из Евангелия.

— Я не знаю такого текста.

— Сатана говорит Христу: «Бросься вниз».

Адъютант сконфузился и сказал:

— Вы правы, я вспоминаю, — это сцена на кровле храма?

— Вы называете это «сценою»? Ну, прекрасно, будь по-вашему: станем называть евангельские события «сценами», но, впрочем, все дело в благородстве задачи. Обыкновенно ведь пишут сатану с рожками, и он приглашает Христа броситься за какие-то царства... По идее Мака выходило совсем не то: его сатана очень внушительный и практический господин, который убеждает вдохновенного правдолюбца только снизойти с высот его духовного настроения и немножко «броситься вниз», прийти от правды Бога к правде герцогов и королей, войти с ним в союз... а Христос, вы знаете, этого не сделал. Мак думает, что у них шло дело об этом и что Христос на это не согласился.

— Да, конечно. Это тоже интересно... Но герцог вообще хочет видеть все ваши работы.

— Двери моей студии открыты, и ваш повелитель может в них войти, как и всякий другой.

— Он непременно желает быть у вас завтра.

— Непременно завтра?

— Да.

— В таком случае лучше пусть он придет послезавтра.

— Позвольте!.. Но почему же послезавтра, а не завтра?

— А почему именно непременно завтра, я не послезавтра?

— Нет, уж позвольте завтра!

— Нет, послезавтра!

Адъютант молча хлопнул несколько раз глазами, что составляло его привычку в минуты усиленных соображений, и проговорил:

— Что же это значит?

— Ничего, кроме того, что я вам сказал, — отвечал Фебуфис и, вспрыгнув на высокий табурет перед большим холстом, который расписывал, взял в руки кисти и палитру.

Все существо его ликовало и озарялось торжеством в самом его любимом роде: он мог глядеть свысока на стоявшего около него светского

человека, присланного могущественным лицом, и, таким образом, унижал и посла и самого пославшего.

Адъютант не скрывал своего неприятного положения и сказал:

— Я не могу передать герцогу такого ответа.

— Отчего?

— Он не терпит отказов.

— Ну, нечего делать, потерпит.

— Он не согласится остаться здесь до послезавтра.

— Человек, который так любит искусство, согласится.

— Он назначил завтра вечером уехать.

— Он сам себе господин и всегда может отсрочить.

Адъютант рассмеялся и отвечал:

— Вы оригинальный человек.

— Да, я не рабская копия.

— Без сомнения, герцог может остаться везде, сколько ему угодно, но поймите же, что с ним не принято так обходиться. Ему нельзя диктовать.

— Значит, у него есть характер?

— И очень большой.

— Да, говорят, и я слышал, — это интересно! Так вот мы его испробуем: вы скажите ему, что так и быть, пущу его к себе, но только послезавтра.

— Прошу вас, оставьте это, маэстро!

— Не могу, господин адъютант, не могу, я тоже — рекомендуюсь вам — человек упрямый.

— На что вам его сердить?

— По совести сказать, ни на что, но мне теперь взошла в голову такая фантазия, и вы со мною, с позволения вашего, ни черта не поделаете, ради всех герцогов вместе и порознь.

— Вы дерзки.

— Хотите дуэль?

— Очень хотел бы, но, к сожалению, я теперь не могу принять дуэли.

— Почему?

— Конечно, не потому, что я не желаю вас убить или страшусь быть убитым, но потому, что я состою в свите такого лица, путешествие которого не должно сопровождаться никакими скандалами.

— Хорошо, не нужно дуэли, но я вам предлагаю пари.

— Какое? в чем оно состоит?

— Оно состоит вот в чем: мне кажется, будто я знаю вашего герцога больше, чем вы.

— Это интересно.

— Да, и я это утверждаю и держу пари, что если вы передадите ему то, что я вам сказал, то он останется здесь еще на день.

— Ни за что на свете!

— Вы ошибаетесь.

— Оставим этот разговор.

— А я вам ручаюсь, что я не ошибаюсь; он чудесно прождет до послезавтра, и я вам советую принять пари, которое я предлагаю.

— Я желал бы знать, в чем же будет заключаться самое пари?

— В том, что если ваш повелитель останется здесь *на три дня*, то вы без всяких отговорок должны исполнить то, что я закажу вам; а если он не останется, то я исполню любое приказание, какое вы мне дадите. Наши шансы равны, и даже, если хотите знать, я рискую больше, чем вы.

— Чем?

— Я не буду знать, точно ли вы передадите мои слова.

— Я передам их в точности, но, в свою очередь, я могу принять ваше условие только в том случае, если в заказе, который вы мне намерены сделать в случае моего проигрыша, не будет ничего унизительного для моей чести.

— Без сомнения.

— В таком случае...

— Вы принимаете мое пари?

— Да.

— Это прелестно: мы заключаем пари на герцога.

— Мне неприятно, что вы над этим смеетесь.

— Я не буду смеяться. Пари идет?

— Извольте.

— Я подаю вам мою руку с самыми серьезными намерениями.

— Я с такими же ее принимаю.

Молодые люди ударили по рукам, и офицер откланялся и ушел, а Фебуфис, проводив его, отправился в кафе, где провел несколько часов с своими знакомыми и весело шутил с красивыми служанками, а когда возвратился вечером домой, то нашел у себя записку, в которой было написано:

«*Он* остается здесь с тем, чтобы быть у вас в студии послезавтра».

Фебуфис небрежно смял записку и, улыбнувшись, написал и послал такой же короткий ответ. В ответе этом значилось следующее:

«*Он* пробудет здесь *три дня*».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Следующий день Фебуфис провел, по обыкновению, за работой и принимал несколько иностранцев, которые внимательно осматривали его талантливые работы, а втайне всего более заглядывали на *Messaline dans la loge de Lisisca*, которая занимала большое и видное место. Картина во весь день не была задернута гобеленом, и ее видели все, кто посетил студию.

Потом Фебуфис был во всех тех местах, которые имел в обычае посещать ежедневно, но вернулся домой несколько ранее и, запершись дома с слугою, занялся приведением своей мастерской в большой порядок.

Семейство желчного, больного скульптора, обитавшее в нижнем жилье, которое находилось под ателье Фебуфиса, очень долго слышало шум и возню от передвигания тяжелых мольбертов. Можно было думать, что художник наскучил старым расположением своей мастерской или ему, может быть, пришла фантазия исполнить какую-нибудь новую затею с *Messaline dans la loge de Lisisca*.

Это так и было.

На следующий день догадки нижнего семейства подтвердились и разъяснились: тотчас после ранней сиесты мастерскую Фебуфиса посетил именитый путешественник в сопровождении двух лиц из своей свиты.

Один из них был престарелый, но молодящийся сановник, во фраке и с значительным количеством звезд. Он был первый советник герцога по всем делам, касающимся иностранных сношений, и занимал должность начальника этого ведомства. В числе звезд, украшавших его лацкана, были и такие, которых никто другой, кроме его, не имел. Старец носил превосходно взбитый на голове парик, блистал белейшими зубами и был подрисован и зашнурован в корсет. Лета его были неизвестны, но он держался бодро, хотя и вздрагивал точно под ударами вольтова столба. Чтобы маскировать это непроизвольное движение, он от времени до времени делал то же самое нарочно. В существе это была дипломатическая хартия, вся уже выцветшая, но еще кое-как разбираемая при случае. В нем была смесь джентльмена, маркиза и дворецкого, но утверждали, будто в делах он ловок и очень находчив. Другой при герцоге был тот самый молодой адъютант, с которым Фебуфис держал свое пари о «завтра и послезавтра».

Сам герцог и оба его провожатые были в обыкновенном партикулярном платье, в котором, впрочем, герцог держался совсем по-военному.

Он был представительный и даже красивый мужчина, имел очень широкие манеры и глядел как человек, который не боится, что его кто-нибудь остановит; он поводил плечами, как будто на нем были эполеты, и шел легко, словно только лишь из милости касался ногами земли.

Взойдя в atelier,[1] герцог окинул все помещение глазами и удивился. Он как будто увидал совсем не то, что думал найти, и остановился посреди комнаты, насупив брови, и, оборотясь к адъютанту, сказал:

— Это не то.

Адъютант покраснел.

— Это не то, — повторил громко герцог и, сделав шаг вперед, подал художнику руку.

Фебуфис ему поклонился.

— А где же это?

Фебуфис смотрел с недоумением то на герцога, то на его провожатых.

— Я спрашиваю это... то, что у вас есть...

— Здесь решительно все, что может быть достойно вашего внимания.

— Но было еще что-то?

— Кое-какой хлам... пустяки, недостойные вашего внимания.

— Прекрасно... благодарю, но я не хочу, чтобы вы со мною чинились: не обращайте внимания, что я здесь, и продолжайте работать, — я хочу не спеша осмотреть все, что есть у вас в atelier.

И он начал скоро ходить взад и вперед и вдруг опять сказал:

— Да где же, наконец, то?

— Что вы желаете видеть? — спросил Фебуфис.

— Что?

Герцог гневно метнул глазами и не отвечал, а его адъютант стоял переконфуженный, но статский сановник шепнул:

— Герцог хочет видеть ту картину... ту вашу картину... о которой все говорят.

— Ах, я догадываюсь, — отвечал Фебуфис и откатил подставку, на которой стояло обернутое лицом к стене полотно с новым многоличным историческим сюжетом.

— Не то! — вскричал герцог. — Что изображает эта картина?

— Она изображает знаменитого в шестнадцатом веке живописца Луку Кранаха.

— Ну?

---

[1] мастерскую (*фр.* — здесь и далее перевод сост.)

— Он, как известно, был почтен большою дружбой Иоанна Великодушного.

— А что далее?

— Художник умел быть благороднее всех высокорожденных льстецов и царедворцев, окружавших Иоанна, и когда печальная судьба обрекла его покровителя на заточение, его все бросили, кроме Луки Кранаха.

— Очень благородно, но... что еще?

— Лука Кранах один добровольно разделял неволю с Иоанном в течение пяти лет и поддерживал в нем душевную бодрость.

— Хорошо!

— Да, они не только не унывали в заточении, но даже успели многому научиться и еще более возбудить свои душевные силы. Я на своей картине представил, как они проводили свое время: вы видите здесь...

— Да, я вижу, прекрасно вижу.

— Иоанн Великодушный читает вслух книгу, а Лука Кранах слушает чтение и сам пишет этюд нынешней знаменитой венской картины «Поцелуй Иуды»...

— Ага! намек предателям!

— Да, вокруг узников мир и творческая тишина, можно думать, что книга — историческая и, может быть, говорит о нравах царедворцев.

— Дрянь! — оборвал герцог. — Вы прекрасно будете поступать, если будете всегда карать эти нравы.

Фебуфис продолжал указывать муштабелем на изображение Кранаха и говорил с оживлением.

— Я хотел выразить в лице Кранаха, что он старается проникнуть характер предателя и проникает его... Он изображает Иуду не злым, не скупцом, продающим друга за ничтожную цену, а только узким, раздраженным человеком.

— Вот, вот, вот! Это прекрасно!

— Это человек, который не может снести широты и смелости Христа, вдохновленного мыслью о любви ко всем людям без различия их породы и веры. С этой картины Кранах начал ставить внизу монограммою сухого, тощего дракона в пятой манере.

— Помню: сухой и тощий дракон.

— Есть предание, будто он растирал для этого краску с настоящею драконовою кровью...

— Да... Но все это не то! — перебил его герцог. — Где же то?! Я хочу видеть вашу голую женщину!

— Голую женщину?

— Ну да, голую женщину! — подсказал ему старый сановник.

— Ту голую женщину, которая вчера была на этом мольберте, — подсказал с другой стороны адъютант.

— Ах, вы это называете то?..

— Ну да!

— Да, да.

— Но вы ошибаетесь, полковник, это ведь было не вчера, а позавчера.

— Оставьте спор и покажите мне, где голая женщина? — молвил герцог.

— Я думал, что она не стоит вашего внимания, ваша светлость, и убрал ее.

— Достаньте.

— Она вынесена далеко и завалена хламом.

— Для чего же вы это сделали?

Фебуфис улыбнулся и сказал:

— Я могу быть откровенен?

— Конечно!

— Я так много слышал о вашей строгости, что проработал всю ночь за перестановкою моей мастерской, чтобы только убрать нескромную картину в недоступное место.

— Ненаходчиво. Впрочем, меня любят представлять зверем, но... я не таков.

Фебуфис поклонился.

— Я хочу видеть вашу картину.

— Чтобы доставить вам удовольствие, я готов проработать другую ночь, но едва могу ее достать разве только к завтрашнему дню.

Посетителю понравилась веселая откровенность Фебуфиса, а также и то, что он его будто боялся. Лицо герцога приняло смягченное выражение.

— Хорошо, — сказал он, — достаньте. Я остаюсь здесь еще до завтра.

Он не стал ничего больше рассматривать и уехал с своими провожатыми, а Фебуфис обернул опять лицом к стене полотна с *Сатаной* и *Кранахом*, а *Пандору* поставил на мольберт и закрыл гобеленом, подвижно ходившим на вздержковых кольцах.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Устроив у себя в мастерской все опять как было, по-старому, Фебуфис пошел, по обыкновению, вечером в кафе, где сходились художники, и застал там в числе прочих скульптора, занимавшего помещение под его мастерскою. Они повидались дружески, как всегда было прежде, но скульптор скоро начал подшучивать над демократическими убеждениями Фебуфиса и рассказал о возне, которую он слышал у него в мастерской.

— Я не мог этого понять до тех пор, — говорил скульптор, — пока не увидал сегодня входившего к тебе герцога.

— Да, и когда ты его увидал, ты тоже ничего не понял.

— Я понял, что ты тоже не прочь подделываться.

— К кому?

— К великим мира.

— Ну!

— В самом деле! Да еще к таким, как этот герцог, который, говорят, рычит, а не разговаривает с людьми по-человечески.

— Это неправда.

— Ты за него заступаешься!

— А отчего бы нет?

— Он тебя причаровал.

— Он держал себя со мною как бравый малый... немножко по-солдатски, но... он мне понравился, и я даже не хотел бы, чтобы о нем говорили неосновательно.

— Он купил чем-то твое расположение.

Фебуфис вспыхнул. Его горячий и вспыльчивый нрав не дозволил ему ни отшутиться, ни разъяснить своего поведения, — он увидел в намеке скульптора нестерпимое оскорбление и в безумной запальчивости ответил ему еще большим оскорблением. Завязался спор и дошел до того, что Фебуфис схватился за стилет. Скульптор сделал то же, и они мгновенно напали один на другого. Их розняли, но Фебуфис, однако, успел нанести скульптору легкую царапину и сам получил довольно серьезный укол в правую руку.

В дело сейчас же вмешалась полиция, — римские власти обрадовались случаю наказать художника, оскорбившего своею нескромною картиной кардинала. Фебуфис, как зачинщик схватки, ночью же получил извещение, что он должен оставить Рим до истечения трех суток.

Гнев овладел Фебуфисом в такой степени, что он не заботился о последствиях и сидел в своей мастерской, когда к нему опять вошли герцог-incognito[1] с его молодым провожатым и старцем со звездою.

Фебуфис привстал при их входе и, держа правую руку на перевязи, левою открыл картину.

Высокий гость сразу обнял взглядом «Пандору», прищурил левый глаз и расхохотался — столько было в ней нескромного и в нескромном смешного. Картина, видимо, доставляла зрителям величайшее наслаждение и привела герцога в самое доброе расположение. Он протянул художнику руку. Тот извинился, что подает левую руку.

— Принимаю ее, — отвечал гость, — она ближе к сердцу. А кстати, я слышал, с вами случилась неприятность?

— Я не обращаю на это внимания, ваша светлость.

— Однако вас высылают из папских владений?

— Да.

— В этой истории я оказываюсь немножко причинен... Я был бы очень рад быть вам полезен.

— Я на это не рассчитывал; но вы были мой гость, и я не хотел, чтобы о вас говорили неуважительно.

— Вы поступили очень благородно. Сколько стоит «Кранах»?

Фебуфис сказал цену.

— Это дешево. Я ее покупаю и плачу вдвое.

— Это сверх меры, и я...

— Ничего не сверх меры: благородная идея дорого стоит. И, кроме того, во всяком случае, я еще ваш должник. Скажите мне, куда вы теперь намерены уехать и что намерены делать?

— Я застигнут врасплох и ничего не знаю,

— Обдумайтесь скорее. Вы ведь не в ладах с вашим государем.

— Да, ваша светлость.

— Это нехорошо. Я могу просить за вас.

— Покорно вас благодарю. Я не желаю прощения.

— Дурно. Впрочем, все вы, художники, всегда с фантазиями, но я хотя и не художник, а мне тоже иногда приходят фантазии: не хотите ли вы ехать со мною?

— Как с вами? Куда?

— Куда бог понесет. Со мною вы можете уехать ранее, чем вам назначено, и мы посетим много любопытных мест... Кстати, вы мне можете пригодиться при посещении галерей; а я вам покажу дикие местности

---

[1] безымянный, человек, скрывающий свое имя (*лат.*)

и дикий воинственный народ, быт которого может представить много интересного для вашего искусства... Другими никакими соображениями не стесняйтесь — это все дело товарища, который вас с собой приглашает.

Фебуфис стоял молча.

— Значит, едем? — продолжал гость. — Сделаем вместе путешествие, а потом вы свободны. Рука ваша пройдет, и вы опять будете в состоянии взяться за кисти и за палитру. Мы расстанемся там, где вы захотите меня оставить.

— Вы так ко мне милостивы, — перебил Фебуфис, — я опасаюсь, как бы мысль о разлуке не пришла очень поздно.

Гость улыбнулся.

— Вы «опасаетесь», вы думаете, что можете пожелать расстаться со мною, когда будет «поздно»?

Фебуфис сконфузился своей неясно выраженной мысли.

— Ничего, ничего! Я люблю чистосердечие... Все, что чистосердечно, то все мне нравится. Я приглашаю вас быть моим товарищем в путешествии, и если вы запоздаете расстаться со мною на дороге, то я приглашаю вас к себе и ручаюсь, что вам у меня будет не худо. Вы найдете у меня много дела, которое может дать простор вашей кисти, а я подыщу вам невесту, которая будет достойна вас умом и красотою и даст вам невозмутимое домашнее счастье. Наши женщины прекрасны.

— Я это знаю, — отвечал Фебуфис.

— Только они прекрасные жены, но позировать в натуре не пойдут. Так это решено: вы мой товарищ?

— Я ваш покорнейший слуга.

— Прекрасно! И вы с этой же секунды увидите, что это довольно удобно: берите шляпу и садитесь со мною. Распоряжения и сборы об устройстве вашей студии не должны вас волновать. При ране, хотя бы и не опасной, это вредно... Доверьте это ему.

Гость показал глазами на своего адъютанта и, оборотясь слегка в его сторону, добавил:

— Сказать в посольстве, что они отвечают за всякую мелочь, которая здесь есть. Все уложить и переслать на мой счет, куда потребуется. Положитесь на него и берите вашу шляпу.

Фебуфис протянул руку провожатому и сказал:

— Мы квиты.

Тот вспыхнул.

Герцог посмотрел на молодых людей и произнес:

— Что между вами было?

— Пари, — ответил Фебуфис и коротко добавил, что граф ему проиграл маленькую услугу и теперешние его заботы он принимает за сквитку.

— И прекрасно! Честный человек всегда платит свои долги! А в чем было пари?

Фебуфис опять взглянул в лицо адъютанта, и ему показалось, что этот человек умрет сию минуту.

— Извините, ваша светлость, — сказал Фебуфис, — в это замешано имя третьего лица.

— Ах, тайна! Что есть тайна, то и должно оставаться тайною. Я не хочу знать о вашем пари. Едем.

Фебуфис вышел вместе с герцогом и с ним же вместе уехал в роскошное помещение его посла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Известие о том, что Фебуфис так спешно покидает Рим, и притом в сообществе могущественного лица, мгновенно облетело все художественные кружки. Фебуфис теперь не удалялся из Рима как изгнанник, а он выступал как человек, который одержал блистательную победу над своими врагами. Никто не сомневался, что Фебуфис не испугался бы изгнания из Рима и, может быть, вышел бы отсюда еще с какою-нибудь новою дерзостью, но выйти так величественно, как он теперь выходит с могущественным покровителем, который добровольно назвался его «товарищем», — это было настоящее торжество. Все говорили: «А герцог-то, значит, совсем не такой грубый человек, как о нем рассказывают. Вон он как прост и как приветлив! Что ни говори, а он достоин симпатий!»

И вот молодые художники — все, кто знал Фебуфиса, побросали работы и веселою гурьбой отправились на первую станцию, где надлежало переменять лошадей в экипажи путешественника и его свиты. Все они хотели проводить товарища и даже приветствовать его великодушного покровителя. В числе провожатых находились и Пик и Мак.

Здесь были цветы, вино, песни и даже было сочинено наскоро величанье «покровителю художников».

Герцог был очень доволен сюрпризом: он не спешил прерывать прощание товарищей и даже сам поднял бокал за «товарищей» и за процветание «всего изящного и благородного в мире».

Это возбудило такой всеобщий восторг, что герцог уехал, сопровождаемый долго не умолкавшими кликами самого непритворного и горячего восторга.

Экипаж, в котором ехали Фебуфис и адъютант, с разрешения герцога остался здесь до утра, когда оба путешественника были уложены в коляску и, удаляясь, должны были долго слышать вслед за собою нетрезвые крики друзей, смешивавших имена Луки Кранаха с именем Фебуфиса и имя герцога с именем Иоанна Великодушного. Более всех шумел Пик.

— Нет, каков герцог! Каков этот суровый, страшный герцог! — кричал он весь в поту, с раскрасневшимся лицом.

— Смотри, будь счастлив, Фебуфис! — вторили Пику другие.

— О, он будет счастлив! Он должен быть счастлив с таким покровителем!

— Еще бы! такое покровительство хоть кого выведет к всемирной славе, тем более Фебуфиса. Но как он это обделал!

— А это штука, но что бы кто ни говорил, я ручаюсь за одно, что Фебуфис не дозволил себе ничего такого, что бы могло бросить тень униженного искательства на его поведение!

— Конечно, конечно!

— Я там не был, но я это чувствую... и я за это ручаюсь, — настаивал Пик.

— Конечно, конечно!.. Из нас никто там не был, но мы все ручаемся, что Фебуфис не сказал ни одного унизительного слова, что он не сделал перед герцогом ни одного поклона ниже, чем следует, и вообще... он... вообще...

— Да, вообще... вообще Фебуфис — благородный малый, и если скульптор имеет об этом иное мнение, то он может потребовать от каждого из нас отдельных доказательств в зале фехтовальных уроков, а Фебуфису мы пошлем общее письмо, в котором напишем, как мы ему верим, как возлагаем на него самые лучшие наши надежды и клянемся ему в товарищеской любви и преданности до гроба.

— До гроба! до гроба!

Но в это время кто-то крикнул:

— Вы поклянитесь на своих мечах!

Все обернулись туда, откуда шел этот голос, и увидали Мака.

Один Мак до сих пор упорно молчал, и это обижало Пика; теперь же, когда он прервал свое молчание фразой из Гамлета, Пик обиделся еще более.

— Я не ожидал этого от тебя, Мак, — сказал он и затем вспрыгнул на стол и, сняв с себя шляпу, вскричал:

— Друзья, здесь шутки Мака неуместны! Восторг не должно опошлять! Восходит солнце, я гляжу в его огненное лицо: я вижу восходящее светило, я кладу мою руку на мое сердце, в которое я уместил мою горячую любовь к Фебуфису. Я призываю тебя, великий в дружбе Кранах!.. Кладите, друзья, свои руки не на мечи, а на ваши сердца, и поклянемся доказать нашу дружбу Фебуфису всем и всегда... и всегда... и всегда... да... да... да!

У пришедшего в восторг Пика стало истерически дергать горло, и все его поняли, схватили его со стола, подняли его, и все поклялись в чем-то на своих сердцах.

И затем опять пили и пели все, кроме Мака, который тихо встал и, выйдя в сад, нашел скрывавшуюся в густой куртине молодую женщину. Это была Марчелла. Она стояла одиноко у дерева, как бы в окаменении. Мак тронул ее за плечо и сказал ей:

— Тебе пора домой, Марчелла. Пойдем, я провожу тебя.

— Благодарю, — отвечала Марчелла и пошла с ним рядом, но, пройдя недалеко по каменистой дороге, остановилась и сказала:

— Меня покидают силы.

— Отдохнем.

Они сели. До них долетали звуки пьяных песен.

— Как они противно поют! — уронила Марчелла.

— Да, — отвечал Мак.

— Он пропадет?

— Не знаю, да и ты не можешь этого знать.

— Мое сердце это знает.

— Твое сердце и здесь его не спасало.

— Ах да, добрый Мак, не спасало.

— Что же будем делать?

— Жалей его вместе со мною!

И она братски поцеловала Мака.

А там все еще пели.

Такого взрыва восторженных чувств друзья не видали давно, и, что всего лучше, их пированье, начатое с аффектацией и поддержанное вином, не минуло бесследно. Художники на другой день не только послали Фебуфису общее и всеми ими подписанное письмо, но продолжали интересоваться его судьбою, а его многообещавшая судьба и сама скоро начала усугублять их внимание и сразу же обещала сделаться интересною, да и в самом деле скоро таковою сделалась в действительности.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Фебуфис вскоре же прислал первые письма на имя Пика. Как в жизни и в искусстве, так и в письмах своих он стремился быть более красивым, чем натуральным и искренним, но тем не менее письма его чрезвычайно нравились Пику и тем из их товарищей, которые имели сродные свойства самодовлеющих художественных натур воспоминаемого времени. Стоило молодой буфетчице кафе, куда адресовалась корреспонденция маленького Пика, показать конверт, надписанный на его имя, как все вскричали:

— Не от Фебуфиса ли? Письмо от Фебуфиса!

И если письмо было действительно от Фебуфиса, то Пик кивал утвердительно головою, и все вдруг кричали:

— Друзья, письмо от Фебуфиса! Радость и внимание! Пишет товарищ и друг венценосца! Читай, Пик!

Пик подчинялся общему желанию, раскрывал письмо, запечатанное всем знакомою камеей Фебуфиса, и читал. Тот описывал виденные им местности, музеи, дворцы и палаты, а также свои личные впечатления и особенно характер своего великодушного покровителя и свои взаимные с ним отношения. По правде сказать, это особенно всех интересовало. Их отношения часто приводили художников в такой восторг, что они все чувствовали себя как бы объединенными с высоким лицом чрез Фебуфиса. В их дружеском круге не упоминалось более официальное величание этой особы, а вместо всего громкого титула ему дали от сердца исшедшее имя: «великодушный товарищ».

Иначе его не называл никто, кроме Мака, который, впрочем, имел от природы недоверчивый характер и был наклонен к насмешке над всякими шумными и надутыми чувствами и восторгами, но на него не обращали много внимания: он в самом деле был ворчун и, может быть, портил прямую линию самодовлеющему искусству, наклоняя его к «еретическому культу служения идеям». По поводу путевых впечатлений Фебуфиса Мак не ликовал: он не только не интересовался ими, но даже был резок и удивлялся: что в них может интересовать других? Когда все слушали, что описывает Фебуфис, Мак или лениво зевал, или следил глазами по печатным строчкам газеты, ища встретить имя Джузеппе Гарибальди, тогда еще известное очень немногим, в числе которых, впрочем, были Марчелла и Мак (Пик звал их: «организмы из уксусного гнезда». Уксусное гнездо тогда было в заводе). Понятно, что человеку такого духа было мало нужды до «путешествия с герцогом».

По взглядам Мака, Фебуфис был талантливый человек, который пошел по дурной дороге, и в виду чего-нибудь более достойного им не стоит заниматься.

— Ты — «черный ворон», Мак, — говорил ему с обидою в голосе Пик. — Завещай нам, чтобы мы из тебя сделали пугало.

— А ты, мой милый Пик, настоящий теленок, и из тебя без всякого твоего завещания когда-нибудь приготовят такой же шнель-клёпс, как из твоего Фебуфиса.

— А из Фебуфиса уже готовят шнель-клёпс?

— Ну, конечно.

После таких перемолвок Пик давал себе слово ничего не говорить о Фебуфисе в присутствии Мака, но, однако, не выдерживал и при всяком новом известии спешил возвестить его при Маке. Да и трудно было удержаться, потому что известия приходили одно другого эффектнее. На шнель-клёпс не было ничего похожего, — напротив, между Фебуфисом и его покровителем образовалась такая настоящая, товарищеская дружба, что можно было опасаться: нет ли тут преувеличений?

— Шнель-клёпса не будет! — говорил Пик, похлопывая Мака.

Но Мак отвечал:

— Будет!

И вдруг в самом деле запахло шнель-клёпсом: пришло письмо, в котором Фебуфис описывал, как они сделали большой переезд верхами по горам, обитаемым диким, воинственным племенем. Прекрасно были описаны виды неприступных скал, падение гремящих потоков и удивительное освещение высей и дымящихся в тумане ущелий и долин; потом описывались живописные одежды горцев, их воинственный вид, мужество, отвага и простота их патриархальных обычаев, при которой сохранилось полное равенство и в то же время дружественность и гостеприимство с ласковостью, доходящею до готовности сделать приятное гостю даже с риском собственной жизни.

«В одном месте, — описывал Фебуфис, — я был чрезвычайно тронут этою благородною чертой, и у нас даже дошло дело до маленькой неприятности с моим патроном. Впрочем, все это сейчас же было заглажено, и от неприятного не осталось ни малейшего следа, — напротив, мы еще более сблизились, и я после этого полюбил его еще более».

— Начинается что-то любопытное, — вставил слово Мак.

— Да, конечно, — отвечал Пик, — ведь ты слышишь: они «еще более сблизились»; но слушайте, я продолжаю.

«Мы еще более сблизились»... Да, вот где я остановился: «мы сблизились, — мы ехали вдоль узкой, покрытой кремнистою осыпью тро-

пинки, которая вилась над обрывом горной речки. По обеим сторонам тропы возвышались совершенно отвесные, точно как бы обрубленные скалы гранита. Обогнув один загиб, мы стали лицом к отвесной стене, так сильно освещенной солнечным блеском, что она вся казалась нам огненною, а на ней, в страшной высоте, над свесившимися нитями зеленого диорита, мы увидали какой-то рассыпчатый огненный ком, который то разлетался искрами, то вновь собирался в кучу и становился густым. Мы все недоумевали, что это за метеор, но наши проводники сказали нам, что это просто рой диких пчел. Горцы отлично знают природу своего дикого края и имеют преострое зрение: они определили нам, что этот рой только что отроился от старого гнезда, которое живет здесь же где-нибудь в горной трещине, и что там у них должен быть мед. Герцог пошутил, что здешние пчелы очень предусмотрительны, что, живучи между смелых людей, они нашли себе такой приют, где их не может потревожить человек самый бесстрашный. Но старший в нашем эскорте, седоволосый горец со множеством ремешков у пояса, на которых были нанизаны засохшие носы, отрубленные у убитых им неприятелей, покачал своею красивою белою головой и сказал:

— Ты не прав, господин: в наших горах нет для нас мест недоступных.

— Ну, этому я поверю только тогда, — отвечал герцог, — если мне подадут отведать их меда.

Услыхав это, старый горец взглянул в глаза герцогу и спокойно ответил:

— Ты попробуешь этого меда.

С этим он сейчас же произнес на своем языке какое-то нам непонятное слово, и один молодой красавец наездник из отряда в ту же минуту повернул своего коня, гикнул и исчез в ущелье. А старик молчаливым жестом руки дал нам знак остановиться.

Мы остановились, и должны были это сделать, потому что все наши провожатые стали как вкопанные и не двигались с места... Старец сидел на своем коне неподвижно, глядя вверх, где свивался и развивался золотистый рой. Герцог его спросил: „Что это будет?" — но он ответил: „Увидишь", и стал крутить в грязных пальцах свои седые усы.

Так прошло не более времени, чем вы, может быть, употребите на то, чтобы прочесть мои строки, и вдруг наверху скалы, над тем самым местом, где вился рой, промелькнул отделившийся от нас всадник, а еще через мгновение мы увидали его, как он спешился около гребня скалы и стал спускаться на тонком, совсем незаметном издали ремне, и повис в воздухе над страшною пропастью.

Герцог вздрогнул, сказал: „Это черт знает что за люди!" — и на минуту закрыл рукой глаза.

Мы все замерли и затаили дыхание, но горцы стояли спокойно, и старик спокойно продолжал крутить свои седые усы, а тот меж тем снова поднялся наверх и через пять минут был опять среди нас и подал герцогу кусок сотового меда, воткнутый на острие блестящего кинжала.

Герцог, к удивлению моему, похвалил его холодно; он приказал адъютанту взять мед и дать горцу червонец, а сам тронул повод и поехал далее. Во всем этом выражалась как будто вдруг откуда-то вырвавшаяся противная, властительная надменность.

Это было сделано так грубо, что меня взбесило. Я не выдержал себя, торопливо снял с руки тот мой дорогой бриллиантовый перстень, который подарила мне известная вам богатая англичанка, и, сжав руку молодого смельчака, надел ему этот перстень на палец, а горец отстранил от себя протянутую к нему адъютантом руку с червонцем и подал мне мед на кинжале. И я его взял. Я не мог его не взять от горца, который, отстранив герцогский подарок, охотно принял мой перстень и, взяв мою руку, приложил ее к своему сердцу, но далее я соблюл вежливость: я тотчас же подал мед герцогу, только он не взял... он ехал, отворотясь в сторону. Я подумал, что он обиделся, но это у меня промелькнуло в голове и сейчас же исчезло, вытесненное живым ощущением, которое сообщало мне вдохновляющее спокойствие горца.

Его сердце билось так же ровно, как бьется сердце человека, справляющего приятную сиесту. Ни страх минувшей опасности, ни оскорбление, которое он должен был почувствовать, когда ему хотели заплатить червонец, как за акробатское представление, ни мой дорогой подарок, стоимость которого далеко превосходила ценность трехсот червонцев, — ничто не заставило его чувствовать себя иным, чем создала его благородная природа. Я был в таком восторге, что совсем позабыл о неудовольствии герцога и, вынув из кармана мой дорожный альбом, стал наскоро срисовывать туда лицо горца и всю эту сцену. Художественное было мне дорого до той степени, что я совсем им увлекся и, когда кончил мои кроки, молча подъехал к герцогу и подал ему мою книжку, но, вообразите себе, он был так невежлив, что отстранил ее рукой и резко сказал: „Я не требовал, чтобы мне это было подано. Черт возьми, вы знаете, я к этому не привык!" Я спокойно положил мою книжку в карман и отвечал: „Я извиняюсь!" Но и это простое слово его так страшно уязвило, что он сжал в руке судорожно поводья и взгляд его засверкал бешенством, а между губ выступила свинцовая полоска.

Я помнил спокойствие горца и на все это сверкание обратил нуль внимания, и... я победил грубость герцога. Мы поехали дальше; я все прекрасно владел собою, но в нем кипела досада, и он не мог успокоиться: он оглянулся раз, оглянулся два и потом сказал мне:

— Знаете ли вы, что я никогда не позволяю, чтобы кто-нибудь поправлял то, что я сделал?

— Нет, не знаю, — отвечал я и добавил, что я вовсе не для того и показывал ему мой рисунок, чтобы требовать от него замечаний, потому что я тоже не люблю посторонних поправок, и притом я уверен, что с этого наброска со временем выйдет прекрасная картина.

Тогда он сказал мне уже повелительно: „Покажите мне сейчас ваш рисунок".

Я хотел отказать, но улыбнулся и молча подал ему альбом.

Герцог долго рассматривал последний листок: он был в худо скрываемом боренье над самим собою и, по-видимому, переламывал себя, и потом взглянул мне в глаза с холодною и злою улыбкой и произнес:

— Вы хорошо рисуете, но нехорошо обдумываете ваши поступки.

— Что такое? — спросил я спокойно.

— Я чуть-чуть не уронил ваш альбом в пропасть.

— Что за беда? — отвечал я. — Этот смельчак, который сейчас достал мед, вероятно, достал бы и мой альбом.

— А если бы я вырвал отсюда листок, на котором вы зачертили меня с таким особенным выражением?

— Я передал то выражение, которое у вас было.

— Все равно, кто-нибудь на моем месте очень мог пожелать уничтожить такое свое изображение.

Я был в расположении отвечать дерзко на его дерзости и сказал, что я нарисовал бы то же самое во второй раз и только прибавил бы еще одну новую сцену, как рвут доверенный альбом. — Но, — добавил я, — я ведь знал, что вы не „кто-нибудь" и что вы этого не сделаете.

— Почему?

— Потому, что вы в вашем положении должны уметь владеть собою и не позволять нам, простым людям, превосходить вас в благородстве и великодушии.

Лицо герцога мгновенно изменилось: он позеленел и точно с спазмами в горле прошипел:

— Вы забылись!.. мне тоже нельзя делать наставлений, — и на губах его опять протянулась свинцовая полоска.

Это все произошло из-за куска меду и из-за того, что он не успел как должно поблагодарить полудикого горца за его отвагу, а я это по-

правил... Это было для него несносное оскорбление, но я хотел, чтобы мне не было до его фантазий никакого дела. Вместо того чтобы прекратить разговор сразу, я сказал ему, что никаких наставлений не думал делать и о положении его имею такое уважительное мнение, что не желаю допускать в нем никаких понижающих сближений.

Он не отвечал мне ни слова, и, вообразите, мне показалось, что он угомонился, но — позор человечества! — в это же время я вдруг заметил, что из всех его окружающих на меня не смотрит ни один человек и все они держат своих коней как можно плотнее к нему, чтобы оттереть меня от него или оборонить от меня. Вообще, не знаю, что такое они хотели, но во всяком случае что-то противное и глупое.

Я осадил своего коня и, поравнявшись с тем горцем, который доставал мед, поехал с ним рядом.

Только здесь теперь, в безмолвном соседстве этого отважного дикаря, я почувствовал, как я сам был потрясен и взволнован. С ним мне было несравненно приятнее, чем в важной свите, составленной из людей, которые сделались мне до того неприятны, что я не хотел дышать с ними одним воздухом и решился на первой же остановке распроститься с герцогом и уехать в Испанию или хоть в Америку...»

— Прекрасно! — перебил Мак.

— Нет, ты подожди, что будет еще далее! — вставил Пик.

— Я всему предпочел бы, чтобы он сдержал это намерение и этим кончил.

— Нет, ты услышишь!

Другие вскричали:

— Да ну вас к черту с вашими переговорами! Письмо гораздо интереснее, чем ваши реплики!.. Читай, Пик, читай!

Пик продолжал чтение.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Я был очень зол на себя, что предпринял это путешествие с герцогом, на которого, признаться сказать вам, я, однако, не питал ни гнева, ни злобы. Все это у меня ушло почему-то на долю его окружающих. Настроение было препротивное: все молчали. Так мы доехали до ночлега, где нам было приготовлено сносное для здешней дикой страны помещение. Все имели лица с самым натянутым, а некоторые с смешным и

даже с жалким выражением. Если бы я не был очень недоволен собою, то я всего охотнее занялся бы занесением в мой альбом этих лиц, рассматривая которые всякий порядочный человек, наверное, сказал бы: „Вот та компания, в которой не пожелаешь себя увидеть в серьезную минуту жизни!" Но мне было не до того, чтобы их срисовывать. Притом же это было бы уже крайне грубо. Я теперь имел твердое намерение немедленно же отстать от них и ехать в Америку.

Не понижая своего тона и способа держаться, я не старался и скрывать своего раздражения, — я отдалился от компании и не хотел ни есть, ни спать под одною с ними кровлей. Я отошел в сторону и лег на траве над откосом и вдруг захотел спать. Этим в моей счастливой организации обыкновенно выражается кризис моих волнений: я хочу спать, и сплю, и во сне мои досаждения проходят или по крайней мере смягчаются и представляются мне после в более сносном виде. Но я не успел разоспаться, как кто-то тронул меня за плечо, я открыл глаза и увидал герцога, который сидел тут же, возле меня, на траве и, не дозволяя мне встать, сказал:

— Простите меня, что я вас разбудил. Я не ожидал, что вы так скоро уснули, а я отыскал вас и хочу с вами говорить.

И сейчас же вслед за этим он стал горячо извиняться в своей запальчивости. На меня это страшно подействовало, и я старался его успокоить, но он с негодованием говорил о своей „проклятой привычке" не удерживаться и о ничтожестве характеров окружающих его людей. Он был так искренен и так умен и мил, что я забыл ему все неприятное и зашел в своем порыве дальше, чем думал. Может быть, я сделал большую глупость, но это уже непоправимо. Я, наверное, удивлю вас. Да! узнайте же, мои друзья, что я себе наметил место, и теперь приспело время выслать мне мои вещи, но не на мое имя, а на имя герцога, так как я, как друг его, отправляюсь с ним в его страну... Да, мои друзья, да, я называю его „другом" и еду к нему. Это решено и не может быть переменено, а решено это тут же, на этом ночлеге, среди диких скал, каплющих диким медом. Не я просился к нему и набивался с моею дружбой, а он просил меня „не оставлять его" и ехать с ним в его страну, где я встречу для себя большое поприще и, конечно, окажу услуги искусству, а вместе с тем и ему. Герцог — испорченная, но крупная натура, и я хочу быть полезен ему; его стала любить моя душа за его искренние порывы, свидетельствующие о несомненном благородстве его природы, испорченной более всего раболепною и льстивою средой. Я могу внести и, конечно, внесу в эту среду иное. А кстати, еще об этой природе и об этой среде. Среда эта удивительна, и вам трудно со-

ставить себе о ней живое понятие. Я уже писал вам, как после истории с медом на кинжале эти люди смешно от меня удалялись, но они еще смешнее опять со мною сблизились: это случилось за ужином, к которому *он* подвел меня под руку, а потом вскоре сказал:

— Удивительно, как сильно влияет на человека такой грубый прибор, как его желудок: усталость и голод в течение знойного дня довели меня до несправедливости перед нашим художественным другом, а теперь, когда я сыт и отдохнул, я ощущаю полное счастье от того, что умел заставить себя просить у него извинения.

Это произвело на всех действие магическое, а когда герцог добавил, что он уверен, что кто любит его, тот будет любить и меня, то усилиям показать мне любовь не стало предела: все лица на меня просияли, и все сердца, казалось, хотели выпрыгнуть ко мне на тарелку и смешаться с маленькими кусками особливым способом приготовленной молодой баранины. Мне говорили:

— Не тужите о родине, которая вас отвергла! У нас будет один отец и одна родина, и мы все будем любить вас, как брата!

Все это у них делается так примитивно и так просто, что не может быть названо хитростью и неспособно обмануть никого насчет их характеров, и мне кажется, что я буду жить по крайней мере с самыми бесхитростными людьми в целом свете».

Письмо кончалось лаконическою припиской, что следующие известия будут присланы уже из владений герцога. И Пик, дочитав лист, стал его многозначительно складывать и спросил Мака:

— Ну, как тебе это нравится?

— Недурно для начала, — процедил неохотно Мак и сейчас же добавил, что это напоминает ему рассказ об одном беспечном турке.

— Каком турке? — переспросил Пик.

— Которого однажды его падишах велел посадить на кол.

— Я ничего не понимаю.

— Все дело в том, что когда этого турка посадили на кол, он сказал: «Это недурно для начала», и стал опускаться.

— Что же тут сходного с положением нашего товарища?

— Фебуфис сел на кол и опускается.

— Ты отвратительно зол, Мак!

— Нет, я не зол.

— Ну, завистлив.

— Еще выдумай глупость!

— Тебе это письмо не нравится?

— Не нравится.

— Что же именно тебе в нем не нравится: мед, кинжал, сцена у скал, сцена с альбомом?

— Мне не нравится сцена с желудком!

— То есть?

— Я не люблю положений, в которых человек может чувствовать себя в зависимости от расположения желудка другого человека.

— Ну, вот!

— Да, и в особенности гадко зависеть от расположения желудка такого человека, по гримасам которого к тебе считают долгом оборачиваться лицом или спиною другие. Согласясь жить с ними, Фебуфис сел на кол, и тот, кто стал бы ему завидовать, был бы слепой и глупый человек.

— Ты, кажется, назвал меня глупцом?

Мак посмотрел на него и заметил:

— Кажется, ты ко мне хочешь придираться?

— А если бы и так!

Мак промолчал.

— Ты, наверное, желаешь этим пренебречь.

Мак молча повел плечами и хотел встать.

— Нет, в самом деле? — приставал к нему Пик, слегка заграждая ему путь рукой.

Мак тихо отвел его руку, но Пик стал ему на дороге и, покраснев в лице, настоятельно сказал:

— Нет, ты не должен отсюда уходить!

— Отчего я не могу уходить?

— Я вызываю тебя на дуэль!

Мак улыбнулся.

— За что на дуэль? — сказал он, тихо поднимая себе на плечо свою альмавиву.

— За все!.. за то, что ты мне надоедал своими насмешками, за то, что ты издеваешься над отсутствующим товарищем, который... которого... которому...

— Распутайся и скажи яснее...

— Мне все ясно... который поднимает имя и положение художника, которого я люблю и хочу защищать, потому что он сам здесь отсутствует, и которому ты... которому ты, Мак, положительно завидуешь.

— Теперь ты в самом деле глуп.

— Что же с этим делать?

— Не знаю, но я ухожу.

— Уходишь?

— Да.

— Так ты трус, и вот тебе оскорбление! — и с этим Пик бросил Маку в лицо бутылочную пробку.

Мак побледнел и, схватив Пика за шиворот, поднял его к открытому окну на улицу и сказал:

— Ты можешь видеть, что мне ничего не стоит вышвырнуть тебя на мостовую, но...

— Нет, идем сейчас в фехтовальный зал.

— Но ведь это глупо!

— Нет, идем! Я тебя зову... я требую тебя в фехтовальный зал! — кричал Пик.

— Хорошо, делать нечего, идем. Но ты знаешь что?

— Что?

— Я там непременно обрублю тебе нос.

Пик от бешенства не мог даже ответить, а через час друзья, бывшие в зале свидетелями неосторожного фехтовального урока, уводили его под руки, и Пик в самом деле держал носовой платок у своего носа. Мак в точности сдержал свое обещание и отрезал рапирой у Пика самый кончик носа, но не такой, как режут дикари, надевающие носы на вздержку, а только самый маленький кончик, как самая маленькая золотая монета папского чекана.

Честь обоих художников была удовлетворена, как требовали их понятия, все это повело к неожиданным и прекрасным последствиям. О событии с носом Пика никто не сообщал Фебуфису, но от него в непродолжительном же времени было получено письмо, в котором, к общему удивлению, встретилось и упоминание о носе. В этом письме Фебуфис уже описывал столицу своего покровителя. Он очень сдержанно говорил о ее климате и населении, не распространялся и об условиях жизни, но зато очень много и напыщенно сообщал об открытой ему деятельности и о своих широких планах.

Это должно было выражать и обхватывать что-то необъятное и светлое, как в прямом, так и в иносказательном смысле: чувствовалось, что в голове у Фебуфиса как будто распустил хвост очень большой павлин, и художник уже положительно мечтал направлять герцога и при его посредстве развить вкус в его подданных и быть для них благодетелем: «расписать их небо».

Ему были нужны помощники, и он звал к себе товарищей. Он звал всех, кто не совсем доволен своим положением и хочет более широкой деятельности (деньги на дорогу можно без всяких хлопот получать от герцогова представителя в Риме).

Особенно он рекомендовал это для Пика, про которого он каким-то удивительным образом узнал его историю с носом и имел слабость рассказать о ней герцогу (герцога все интересует в художественном мире). Правда, что нос заставил его немного посмеяться, но зато самый характер доброго Пика очень расположил герцога в его пользу. При этом Фебуфис присовокуплял, что для него самого приезд Пика был бы очень большим счастием, «потому что как ему ни хорошо на чужбине, но есть минуты...»

Пик скомкал письмо и вскрикнул:

— Вот это и есть самое главное! Я его узнаю и понимаю: как ему там ни хорошо, но тем не менее он чувствует, что «есть минуты», — я понимаю эти минуты... Это когда человеку нужна родная, вполне его понимающая душа... Я ему благодарен, что он в этих размышлениях вспомнил обо мне, и я к нему еду.

Пику советовали хорошенько подумать, но он отвечал, что ему не о чем думать.

— По крайней мере дай хорошенько зажить твоему носу.

Он вздохнул и отвечал:

— Да, хотя Мак и оскоблил мне кончик носа и мне неприятно, что мы с ним в ссоре, но я с ним помирюсь перед отъездом, и он, наверное, скажет, что мне там приставят нос.

Затем Пик без дальнейших размышлений стал собираться и, прежде чем успел окончить свои несложные сборы, как предупредительно получил сумму денег на путешествие.

Этим последним вниманием Пик был так растроган, что «хотел обнять мир» и начал это с Мака.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Он побежал к Маку, кинулся ему на шею и заговорил со слезами:

— Что же это, милый Мак, неужто мы все будем в ссоре? Я пришел к тебе, чтобы помириться с тобою и прижать тебя к моему сердцу.

— Рад и я и отвечаю тебе тем же.

— Ведь я люблю тебя по-прежнему.

— И я тоже тебя люблю.

— Ты так жесток, что не хотел сделать ко мне шага, но все равно: я сам сделал этот шаг. Для меня это даже отраднее. Не правда ли?

Я бегом бежал к тебе, чтобы сказать тебе, что... там... далеко... куда я еду...

— Ах, Пик, для чего ты туда едешь?

— Между прочим для того, чтобы ты мог шутить, что мне там приставят нос.

— Я вовсе не хочу теперь шутить и самым серьезным образом тебя спрашиваю: зачем ты едешь?

— Это не мудрено понять: я еду, чтобы жить вместе с нашим другом Фебуфисом и с ним вместе совершить службу искусству и вообще высоким идеям. Но ты опять улыбаешься. Не отрицай этого, я подстерег твою улыбку.

— Я улыбаюсь потому, что, во-первых, не верю в возможность служить высоким идеям, состоя на службе у герцогов...

— А во-вторых?.. Говори, говори все откровенно!

— Во-вторых, я ни тебя, ни твоего тамошнего друга не считаю способными служить таким идеям.

— Прекрасно! Благодарю за откровенность, благодарю! — лепетал Пик, — и даже не спорю с тобою: здесь мы не велики птицы, но там...

— Там вы будете еще менее, и я боюсь, что вас там ощиплют и слопают.

— Почему?

— О, черт возьми, — еще почему? Ну, потому, что у тамошних птиц и носы и перья — все здоровее вашего.

— Грубая сила не много значит.

— Ты думаешь?

— Я уверен.

— Дитя! А я тебе говорю: ощиплют и слопают. Это не может быть иначе: грач и ворона всегда разорвут мягкоклювую птичку, и вдобавок еще эта ваша разнузданная художественность... Вам ли перевернуть людей упрямых и крепких в своем невежестве, когда вы сами ежеминутно готовы свернуться на все стороны?

— Я прошу тебя, Мак, не разбивай меня: я решился.

— Ты просишь, чтобы я замолчал?

— Да.

— Хорошо, я молчу.

— А теперь еще одна просьба: ты не богат и я не богат... мы оба равны в том отношении, что оба бедны...

— Это и прекрасно, зато до сих пор мы оба были свободны и никому ничем не обязаны.

— Не обязаны!.. Ага! Тут опять есть шпилька: хорошо, я ее чувствую...

Ты и остаешься свободным, но я теперь уже не свободен, — я обязан, я взял деньги и обязан тому, кто мне дал эти деньги, но я их заработаю и отдам.

— Да; по крайней мере не забывай об этом и поспеши отдать долг как можно скорее.

— Я тебе даю мое слово: я буду спешить. Фебуфис пишет, что там много дела.

— Какого?.. «Расписывать небо», или писать баталии, или голых женщин на зеркалах в чертогах герцога?

— Ну, все равно, ты всегда найдешь, чем огорчить меня и над чем посмеяться, но я к тебе с такою просьбой, в которой ты мне не должен отказать при разлуке.

— Пожалуйста, говори ее скорее.

— Нет, ты дай прежде слово, что ты мне не откажешь.

— Я не могу дать такого слова.

— Видишь, как ты упрям.

— Ты, как художник, любишь славу?

— Любил.

— А теперь разве уже не любишь?

— Теперь не люблю.

— Что же это значит?

— Это значит, что я узнал нечто лучшее, чем слава.

— И любишь теперь это «нечто» лучшее более, чем известность и славу?..

Прекрасно! Я понимаю, о чем ты говоришь: это все про народные страдания и прочее, в чем ты согласен с Джузеппе... А знаешь, есть мнение... Ты не обидишься?

— Бывают всякие мнения.

— Говорят, что он авантюрист.

— Это кто?

— Твой этот Гарибальди, но я знаю, что ты его любишь, и не буду его разбирать.

Мак в это время тщательно обминал рукой стеариновый оплыв около светильни горевшей перед ними свечи и ничего не ответил. Пик продолжал:

— Я не понимаю только, как это честный человек может желать и добиваться себе полной свободы действий и отрицать такое же право за другими? Если хочешь вредить другим, то не надо сердиться и на них, когда они защищаются и тоже тебе вредят...

— Говори о чем-нибудь другом! — произнес Мак.

— Да, да; правда: это не в твоем роде, и ты уже сердишься, а я все это виляю оттого, что боюсь сказать тебе прямо: мне прислали на дорогу денег.

— Поздравляю.

— И я нахожу, что мне много присланных денег... Мак, осчастливь меня: возьми себе из них половину, чтобы иметь возможность написать свою большую картину.

— Отойди, сатана! — отвечал Мак, шутливо отстраняя от себя Пика, который вдруг выхватил из кармана бумажник и стал совать ему деньги.

— Возьми!.. Умоляю! — приставал Пик.

— Ну, перестань, оставь это.

— Отчего же? Неужто тебе весь век все откладывать произведение, которое сделает тебя славным в мире, и мазикать на скорую руку для продажи твои маленькие жанры?

— Я не вижу в этом ни малейшего горя: мои маленькие жанры делают дело, которое лучше самой большой картины.

— Ну, мой друг! что обольщаться напрасно?

— Я не обольщаюсь.

— Посмотри, сколько твоих жанров висят по тавернам: их и не видит лучшее общество.

— Лучшее общество! А черт его побери, это лучшее общество! Оно для меня ничего не делает, а мои жанры меня кормят и шевелят кое-чью совесть. Особенно радуюсь, что они есть по тавернам. Нет, мне чужих денег не нужно, а если у тебя так много денег, что они тебе в тягость, то толкнись в домик к Марчелле и спроси: нет ли ей в них надобности?

— Марчелла! Ах, добрый Мак, это правда. Я ему, однако, напомню о ней... я заставлю его о ней подумать...

— Нет, не напоминай! Найдется такой, который напомнит! Пойдем в таверну и будем лучше пить на прощанье. Ни о чем грустном больше ни слова.

Друзья надели шляпы и пошли в таверну, где собрались их другие товарищи, и всю ночь шло пированье, а на другой день Пика усадили в почтовую карету и проводили опять до той же станции, до которой провожали Фебуфиса.

Карета умчалась, и Пик под звук почтальонского рожка прокричал друзьям последнее обещание: «писать все и обо всем», но сдержал свое обещание только отчасти, и то в течение очень непродолжительного времени.

Мак видел в этом дурной признак: наивный, но честный и прямодушный Пик, без сомнения, в чем-нибудь был серьезно разочарован, и, не умея лгать, он молчал. Спустя некоторое время, однако, Пик начал писать, и письма его в одно и то же время подкрепляли подозрения Мака и приносили вести сколько интересные, столько же и забавные.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Для начала он, разумеется, описывал в них только свою встречу с Фебуфисом и как они оба в первую же ночь «напились по-старинному, вспоминая всех далеких оставшихся в Риме друзей», а потом писал о столице герцога, о ее дорого сто́ящих, но не очень важных по монтировке музеях, о состоянии искусства, о его технике и направлении и о предъявляемых к нему здесь требованиях. Все это, в настоящем художественном смысле, для людей, понимающих дело, было жалко и ничтожно, но затем содержание писем изменялось, и Пик скоро забредил о женщинах. Он неустанно распространялся о женщинах, в изучении которых вдруг обнаружил поразившие Мака разносторонние успехи. По его описаниям выходило, что в этой стране всего лучше женщины.

Особенно он превозносил их милую женственность и их удивительную скромность. «Самый амур здесь совершает свой полет не иначе, как благословясь и в тихом безмолвии, на бесшумных крылышках, — писал Пик. — Кто чувствует склонность к семейной жизни и желает выбрать себе верную и достойную подругу, тот должен ехать сюда, и здесь он, наверное, найдет ее. Сам герцог — образцовый супруг, и, любя семейную жизнь, он покровительствует бракам. Это дает патриархальный тон и направление жизни. Случается, что герцог сам даже бывает сватом и после заботится о новобрачных, которых устроил. Девушки в хороших семействах здесь так тщательно оберегаются от всего, что может вредить их целомудрию, что иногда не знают самых обыкновенных вещей, — словом, они наивны и милы, как дети. Очень скромны и взрослые. Такова жизнь. Что везде считается вполне позволительным, как, например, обедать в ресторанах или ходить и ездить одной женщине по городу, — здесь все это почитают за неприличие. Ни одной сколько-нибудь порядочной женщины не встретишь в наемном экипаже и не увидишь в самом лучшем ресторане. Если бы женщина пренебрегла этим, то ее сочли бы падшею, и перед нею не только закрылись бы

навсегда все двери знакомых домов, но и мужчины из прежних знакомых позволили бы себе с нею раскланяться разве только в густые сумерки. О девушках нечего и говорить: они под постоянною опекой. Я часто сравниваю все это с тем, что видел раньше среди римлянок и наезжих в ваш „вечный город" иностранок, и мне здесь и странно и нравится, я чувствую себя тут точно в девственном лесу, где все свежо, полно сил и... странная вещь! — но я вспоминаю тебя, Мак, и начинаю размышлять социально и политически. А почему? А вот почему: ты все любишь размышлять об упадке нравов и об общих бедствиях и ищешь от них спасения...

Ах, друг! может быть, спасение-то именно здесь, где стоит воле захотеть, чтобы что-нибудь сделалось, и оно сейчас же становится возможным, а не захотеть — все станет невозможно? И все это оттого, что жизнь удержана в удобной форме».

Дочитав письмо до этого места, Мак положил листок и стал собирать на него мастихином загустевшие на палитре краски. Соображения Пика его более не интересовали, а на вопросы товарищей о том, что пишет Пик, он отвечал:

— Пик пишет, что он живет в таком любопытном городе, где женщины целомудренны до того, что не знают, отчего у них рождаются дети.

— Вот так раз!

— Что же? Этим ведь, пожалуй, можно быть довольным, — заметили другие и стали делать по этому случаю различные предположения.

— Да, — отвечал Мак, — и он этим очень доволен.

— По-моему, он там может неожиданно и скоро жениться.

— А отчего и нет, если там это выгодно?

— В таких местах что больше и делать! — заключил Мак, — или учиться или жениться. Учиться трудно — жениться занятнее.

На письмо же то, о которое Мак вытер свой мастихин, он вовсе не отвечал Пику, но, вспоминая иногда о приятеле, в самом деле думал, что он может жениться.

— Отчего, в самом деле, нет? Ведь несомненно, что есть такой сорт деятелей, которые прежде начала исполнения всяких своих планов надевают себе на шею эту расписанную колодку. Почему же не сделать этого и Пику, или даже они оба там с этого начнут и, пожалуй, на этом и кончат.

И подозрение еще усиливалось тем, что в новом письме Пик писал уже не о женщинах вообще, а особенно об одной избраннице, которую

он в шаловливом восторге называл именем старинной повести: «Прелестная Пеллегрина, или Несравненная жемчужина». Он о ней много рассказывал. Мак должен был узнать из этого письма, что «прелестная Пеллегрина» была дочь заслуженного воина, покрытого самыми почтенными сединами, ранами и орденами. Пеллегрина получила от природы милое, исполненное невинности лицо, осененное золотыми кудрями, а герцог дал ей за заслуги отца на свой счет самое лучшее образование в монастыре, укрывавшем ее от всяких соблазнов во все годы отрочества. Пик увидал ее первый раз на выпускном экзамене, где она пела, как Пери, одетая в белое платье, и, рыдая, прощалась с подругами детства, а потом произошла вторая, по-видимому, очень значительная встреча на летнем празднике в загородном герцогском замке, где Пеллегрина в скромном уборе страдала от надменности богато убранных подруг, которые как только переоделись дома, так и переменились друг к другу. Тут зато Пеллегрина показала ум и характер: она все видела и поняла, но совсем не дала заметить, что страдает от окружающей кичливости, и тем до того заинтересовала маленького Пика, что он познакомился с их домом и стал здесь как родственник. Он то играет в шахматы с воином, покрытым сединами, то ходит по лесам и полям с Пеллегриною. Отец Пеллегрины — добродушный простяк, бесконечно ему верит и только посылает с ними заслуженную и верную служанку (он сам давно вдов и на войне храбр, но дома, в недрах своего семейства, кротче агнца). Впрочем, Пик и Пеллегрина пока только собирают бабочек и букашек, причем наивность Пеллегрины доходит до того, что она иногда говорит Пику: «Послушайте, вы художник, посмотрите, пожалуйста, — вы должны знать — это букан или букашка?»

Мак не стал отвечать и на это письмо, а затем от Пика пришел только листочек с описанием маскарадов, которые ему казались верхом жизненного великолепия, и с возвещением о большом путешествии, которое он и Фебуфис намеревались сделать летом с художественною целью внутрь страны. На том переписка друзей оборвалась.

В Риме если не совсем позабыли о Фебуфисе и о Пике, то во всяком случае к ним охладели и весь случай с Фебуфисом вспоминали как странность, как каприз или аристократическую прихоть герцога.

— В самом деле, для чего этому отдаленному властителю Фебуфис? Чего он с ним возится? Неужто он в самом деле так страстно любит искусство, или он не видал лучшего художника? Не следует ли видеть в этом сначала каприз и желание сделать колкость черным королям Рима? Неужто, в самом деле, в девятнадцатом веке станут повторяться Иоанн с Лукой Кранахом? Вздор! Совсем не те времена, ничто не мо-

жет их долго связывать, и, без сомнения, фавор скоро отойдет, и герцог его бросит.

— А может быть, его немножко удержит трусость.

— Перед кем и перед чем?

— Перед талантливым художником, который всегда может найти средство отплатить за дурное с собою обращение.

— Какие глупости! Какие наивные, детские глупости! Что вы о себе и о них думаете? Какое это средство? — спросил Мак.

— Полотно, на котором можно все увековечить. А Февуфис всегда останется талантом.

Мак махнул рукою и сказал:

— Вы дети! Поверьте, что тому, кому вверил себя упоминаемый вами «талант», никакой стыд не страшен. Он, я думаю, почел бы за стыд знать, что такое есть боязнь стыда; а что касается «таланта», то с ним расправа коротка: ничто не помешает оставить этот талант и без полотна, и без красок, и даже без божьего света. Да и без того... этот талант выцветет... Не забывайте, что птицы с яркоцветным оперением, перелиняв раз в клетке, утрачивают свою красивую окраску.

— Но зато они выигрывают в некоторых других отношениях.

— Да, они обыкновенно жиреют, перестают дичиться, утрачивают легкость и подвижность — вообще становятся, что называется, ручными.

Но нам время оставить теперь этих пессимистов и оптимистов и последовать за Февуфисом и Пиком, с которыми, в их новой обстановке, произошли события, имевшие для них роковое значение.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

По прибытии в столицу своего покровителя Февуфис не был им покинут и позабыт. Напротив, он тотчас же был прекрасно устроен во всех отношениях и не лишался даже знаков дружбы и внимания, которыми пользовался во время путешествия. Конечно, теперь они виделись реже и беседовали при других условиях, но все-таки положение Февуфиса было прекрасное и возбуждало зависть в местном обществе, и особенно среди приближенных герцога.

Повелитель, которого боялись и трепетали все его подданные, держал себя с привезенным художником запросто, и Февуфис этой линии

не портил. К чести его, он значительно изменился и, вкусив мало меду на кинжале, посбавил с себя заносчивости, а держался так скромно, как этого требовало положение.

Участие в придворной жизни его не тяготило: сначала это ему было любопытно само по себе, а потом стало интересно и начало втягивать как в пучину... Еще позже это стало ему нравиться... Как никак, но это была жизнь: здесь все-таки шла беспрестанная борьба, и кипели страсти, и шевелились умы, созидавшие планы интриг. Все это похоже на игру живыми шашками и при пустоте жизни делает интерес. Фебуфис стал чувствовать этот интерес.

Такою вовсе не рассчитанною и не умышленною переменой в своем поведении Фебуфис чрезвычайно утешил своего покровителя, и герцог стал изливать на него еще большие милости. Художнику дали отличное помещение, усвоили ему почетное звание и учредили для него особенную должность с большим содержанием и с подчинением ему прямым или косвенным образом всех художественных учреждений. Положение Фебуфиса в самом деле как будто готовилось напоминать некоторым образом положение Луки Кранаха. Правда, не все смотрели на это серьезно, но, по мнению многих, Фебуфис будто мог уже оказывать влияние на отношение своего могущественного протектора к людям разнообразных положений, и у него явились ласкатели и искатели. Когда герцог посещал его мастерскую, он в самом деле говорил не об одном искусстве, а и о многом другом, о чем не все смели надеяться иметь с ним беседы. Человека с таким положением привечали лица, занимающие самые высокие и почетные должности. Фебуфис быстро очутился в так называемом лучшем обществе и здесь тоже держал себя с большим достоинством. Для приобретения веса и значения в этом обществе ему не нужно было употреблять никаких усилий, все давалось ему даром, но все это ему скоро прискучило. Герцог тотчас заметил это и сказал ему: «Ты не в своей компании» — и предложил ему выписать к себе кого-нибудь из его римских друзей, причем сам же и назвал Пика.

Пик, сколь известно, был выписан и представлен герцогу, но он ему не понравился, — герцог нашел, что «он очень смешон», и велел назначить его преподавателем искусств в избранном воспитательном женском заведении, что и погубило Пика, сблизив его с златокудрою дочерью покрытого сединами воина.

С прибытием Пика Фебуфису стало веселее; они работали и понемножку предавались кутежам, в которых, впрочем, находили здесь только хмельной чад, но не веселье. Оба они чувствовали себя здесь не по

себе, и оба друг от друга это скрывали. Иногда они собирались оказать какое-то большое влияние на что-то в искусстве, но всякий раз это кончалось ничем. Обо всем надо спрашиваться у герцога, а он не любил не им задуманных перемен. Фебуфис скоро понял, что шнурок, на котором он ходит, довольно короток, а Пик в пределах своей деятельности попробовал быть смелее: он дал девицам рисовать торсы, вместо рыцарей в шлемах, и за это, совершенно для него неожиданно, был посажен на военную гауптвахту «без объяснений». Это его так обидело, что он тотчас же хотел бросить все и уехать в Рим, но вместо того, отечески прощенный герцогом, тоже «без объяснений», почел эту неприятность за неважное и остался.

— Что делать, если это здесь бывает со всеми!

Работать друзья могли только по заказам герцога, и он же был и ценителем их произведений. В искусстве все зависело от него, как и во всем прочем: он осматривал все произведения учеников с мелом в руке и писал своею рукой на картине свое безапелляционное решение. Фебуфис — их главный руководитель — при этом только стоял и молчал. Пик говорил ему: «Для чего ты не возразишь?» — но тот не возражал. Без сомнения, он понимал, что находится здесь только для вида и для парада. Программы допускались только старые, совсем не отвечавшие новым живым стремлениям, обозначавшимся уже в других европейских школах. В Риме слышали об этом «академизме» и смеялись над ним.

Фебуфису по-настоящему надо было сознаться, что его положение несносно, и уйти от него, но в нем жила фальшивая гордость: он не хотел быть синицею, которая летала нагревать шилом море. Он решался лучше кое-что перенести и пошел по этой дороге уступок, чувствуя, что она вьется куда-то, все понижаясь, под гору, но раздражительно отрицал это, коль скоро то же самое замечали другие. В таких борениях ему был тяжек и Пик, и еще более некоторые умные люди из местных, и особенно главный начальник внутреннего управления, по фамилии Шер, который сам слыл за художника и в самом деле разумел в искусстве больше, чем герцог. Этот, как его называли, «внутренний Шер», был умен, пьян и бесстыден и допускал со всеми очень странное, фамильярное обращение, близко граничившее с наглостью. Фебуфиса он, по-видимому, считал ниже, чем бы тому хотелось, и называл его «величайшим мастером по утвержденному герцогом образцу».

Это приводило Фебуфиса в досаду, но тем не менее кличка плотно к нему пристала.

И директор был не один, который смотрел на привезенного герцогом фаворитного артиста как на что-то полусмешное-полужалкое, из чего, может быть, где-то, пожалуй, и сделали бы что-нибудь ценное, но из чего здесь ничего выйти не должно и не выйдет. Все это, однако, нимало не помешало Фебуфису прогреметь в стране, сделавшейся его новым отечеством, за величайшего мастера, который понял, что чистое искусство гибнет от тлетворного давления социальных тенденций, и, чтобы сохранить святую чашу неприкосновенною, он принес ее и поставил к ногам герцога. Герцог ее не оттолкнул, как он не отталкивает ничего, что можно спасти. Приезжие мастера заставляли будто завидовать столице герцога все те страны, где искусство падало, нисходя до служебной роли гражданским и социальным идеям. И за то они отблагодарят герцога, — они в угоду ему распишут небо. Пика это не испортило, потому что при ограниченности его дарования он оставался только тем, чем был, но Фебуфис скоро стал замечать свою отсталость в виду произведений художников, трудившихся без покровителей, но на свободе, и он стал ревновать их к славе, а сам поощрял в своей школе «непосредственное творчество», из которого, впрочем, выходило подряд все только одно очень посредственное. Общий европейский восторг при появлении картины Каульбаха «Сражение гуннов с римлянами», наконец, был нестерпимым ударом для его самолюбия. Фебуфис почувствовал, что вот пришел в мир новый великий мастер, который повлечет за собою последователей в идейном служении искусству. Тогда Фебуфис решительно стал на сторону противоположного направления, а герцог это одобрил и поручил ему «произвести что-нибудь более значительное, чем картина Каульбаха».

Внутренний Шер его расцеловал и сказал ему за обедом в клубе на «ты»:

— Пришло твое время прославиться!

По герцогскому приказу Фебуфис начал записывать огромное полотно, на котором хотел воспроизвести сюжет еще более величественный и смелый, чем сюжет Каульбаха, — сюжет, «где человеческие характеры были бы выражены в борьбе с силой стихии», — поместив там и себя и других, и, вместо поражения Каульбаху, воспроизвел какое-то смешение псевдоклассицизма с псевдонатурализмом. В Европе он этим не удивил никого, но герцогу угодил как нельзя более.

— Тебе это удалось, — сказал герцог, — но всего более похвально твое усердие, и оно должно быть награждено.

Ему отпустили большие деньги и велели газетам напечатать ему похвалы.

Те сделали свое дело. Была попытка поддержать его и в Риме, но она оказалась неудачною, и суждения Рима пришлось презирать.

— Они не хотят видеть ничего, что явилось не у них; чужое их не трогает, — объяснял герцогу Фебуфис.

— Ты это прекрасно говоришь: да, ты им чужой.

— С тех пор как я уехал сюда...

— Ну да!.. ты мой!

— Им кажется, что я здесь переродился.

— Это и прекрасно. Ты мой!

— Нет, они думают, что я все позабыл...

— Забыл глупости!

— Нет — разучился.

— А вот пусть они приедут и посмотрят. Это все зависть!

— Не одна зависть, — я знаю, что они мне не прощают...

— Что же это такое?

— Измену.

— Чему?

— Задачам искусства.

— Задачи искусства — это героизм и пастораль, вера, семья и мирная буколика, без всякого сованья носа в общественные вопросы — вот ваша область, где вы цари и можете делать что хотите. Возможно и историческое, я не отрицаю исторического, но только с нашей, верной точки зрения, а не с ихней. Общественные вопросы искусства не касаются. Художник должен стоять выше этого. Такие нам нужны! Ищи таких людей, которые в этом роде могут быть полезны для искусства, и зови их. Обеспечить их — мое дело. Можно будет даже дать им чины и форму. У меня они могут творить, ничем не стесняясь, потому что у меня ведь нет никаких тревог, ни треволнений. Только трудись. Я хочу, чтобы наша школа сохранила настоящие, чистые художественные предания и дала тон всем прочим. Обновить искусство — это наше призвание.

Фебуфис понимал, что все это несбыточный вздор, и ничего не хотел делать, а между тем из-за границы его уязвляла критика. Один из лучших тогдашних судей искусства написал о нем, что «во всей его картине достоин похвалы только правильный и твердый рисунок, но что ее мертвый сюжет представляет что-то окаменевшее, что идея если и есть, то она рутинна и бесплодна, ибо она не поднимает выше ум и не облагораживает чувства зрителя, — она не трогает его души и не стыдит его за эгоизм и за холодность к общему страданию. Художник будто спал где-то в каком-то заколдованном царстве и не заметил, что в ис-

кусстве уже началось живое веяние, и здравый ум просвещенного человека отказывается высоко ценить художественные произведения, ласкающие одно зрение, не имеющие возвышающей или порицающей идеи. Теперь чем такие бедные смыслом произведения совершеннее в своем техническом исполнении, тем они укоризненнее и тем большее негодование должны поднимать против художника». А потому критик решительно не хотел признать никаких замечательных достоинств в произведении, которым Фебуфис должен был прославить свою школу, и вдобавок унизил его тем, что стал объяснять овладевшее им направление его несвободным положением, всегда зависящим от страха и фавора; он называл дальнейшее служение искусству в таком направлении «вредным», «ставил над художником крест» и давал ему совет, как самое лучшее по степени безвредности, «изображать по-старому голых женщин, которыми он открыл себе фортуну».

Фебуфис был страшно уязвлен этим «артиклем». Он никак не ожидал видеть себя смещенным и развенчанным так скоро и так решительно. Он ощутил в себе неудержимый позыв дать горделивый отпор, в котором не намерен был вступаться за свое произведение, но хотел сказать критику, что не он может укорять в несвободности художника за то, что он не запрягает свою музу в ярмо и не заставляет ее двигать топчак на молотилке; что не им, слугам посторонних искусству идей, судить о свободе, когда они не признают свободы за каждым делать что ему угодно; что он, Фебуфис, не только вольней их, но что он совсем волен, как птица, и свободен даже от предрассудка, желающего запрячь свободное искусство в плуг и подчинить музу служению пользам того или другого порядка под полицейским надзором деспотической критики. И многое еще в этом же задорно-сконфуженном роде собрал Фебуфис, не замечая, что сквозь каждое слово его отповеди звучало сознание, что он на чем-то пойман и в споре своем желает только возбудить шумиху слов, чтобы запутать понятия ясные, как солнце. У него кстати оказался и стиль, благодаря чему в отповеди очень сносно доказывалось, что «для искусства безразличны учреждения и порядки и что оно может процветать и идти в гору при всяком положении и при всяких порядках».

Лучше написать это, как написал Фебуфис, даже не требовалось, но Пик, которому он читал свои громы, говорил, что он все это уже как будто раньше где-то читал или где-то слышал. И Фебуфис сердился, но сознавал, что это, однако, правда. Да ведь нового и нет на свете... Все уже когда-нибудь было сказано, но почему это же самое опять не повторить, когда это уместно?

Впрочем, чтобы отвечать от лица школы целой страны, надо, чтобы дело имело надлежащую санкцию, и потому автор решил представить свой труд самому герцогу. Это ему внушало спокойствие и дало всему действительно самое лучшее направление.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Выбрав удобный случай, чтобы представить свою рукопись герцогу, Фебуфис волновался в ожидании его ответа, а тот не отвечал очень долго, но, наконец, в один прекрасный день перед наступлением нового года художник получил приглашение от директора иностранных сношений — того самого искусного и ласкового дипломата, который некогда посетил вместе с герцогом его студию в Риме.

Годы не изменили мягких манер этого сановника: он встретил Фебуфиса чрезвычайно радушно и весело поздравил его с большим успехом у герцога.

— Ваш ответ вашим озлобленным завистникам привел в совершенный восторг герцога, — начал он, усаживая перед собою художника. — Его светлость изволил поручить мне выразить вам его полное сочувствие вашим прекрасным мыслям, и если при этом могут иметь какое-нибудь значение мои мнения, то я позволю себе сказать, что и я вам вполне сочувствую. Я прочитал ваше сочинение.

Герцог желал этого, и я был должен прочесть и исполнился радости за вас и скорби за себя... Да, в числе моих помощников нет ни одного, который имел бы такие ясные взгляды и умел бы так хорошо их отстаивать.

Фебуфис поклонился, а сановник пожал его руку и сказал, что если бы он не был великим художником, то он ни на кого бы смелее, чем на него, не решился указать как на способнейшего дипломата.

— Значит, я теперь могу выпустить написанное в свет?

— Нет. И это не нужно. Это само по себе так светло, что не нуждается во внешнем свете. Герцог на вашей стороне. Вам сейчас предстоит удовольствие увидать, что именно его светлость начертал наверху ваших верноподданных слов своею собственною бестрепетною рукой.

Произнеся с горделивым достоинством эти слова, сановник взял на колени малиновый бархатный портфель с золотым выпуклым вензелем и таким же золотым замком, помещенным в поле орденской звезды. За-

тем он бережно ввел внутрь портфеля длинную кисть своей старческой руки и еще бережнее извлек оттуда рукопись Фебуфиса, на верхнем краю которой шли три строки, написанные карандашом, довольно красивым, кругловатым почерком, с твердыми нажимами.

Положив бумагу на папку посреди стола, сановник поднялся с своего места и попросил художника сесть в кресло, а сам стал и поднял вверх лицо, как будто он готовился слушать лично ему отдаваемое распоряжение герцога.

Фебуфис прочитал: «Одобряю и вполне согласен».

— Вот! — прошептал с придыханием и наклоняя голову, вельможа.

«Но», — продолжал Фебуфис.

Сановник опять поднял лицо и опять застыл в позе.

«Имея в виду всеобщее растление, которое теперь господствует в умах, нахожу несообразным говорить с этими людьми словами верноподданного убеждения».

Фебуфис вспыхнул и взглянул вопросительно на вельможу.

Тот тоже посмотрел на него выразительным взглядом и произнес:

— Он неотразим! — и затем протянул руку к бумаге с тем, чтобы взять и вложить ее снова бережно в малиновый портфель.

— Разве вы мне не возвратите и мою бумагу?

— Конечно, нет. С этим начертанием герцога она отныне составляет достояние истории... Она исторический документ, который переживет нас и будет храниться века в архиве, но вы вместо этой бумаги получите другую, и вот она.

Он дал художнику небольшой листок бристоля, на котором назначалось дать ему высокий чин и соединенные с ним потомственные права и имение в живописном уголке герцогства.

Пока Фебуфис смотрел удивленными глазами на эти строки, значение которых ему казалось и невероятно, и непонятно, и, наконец, даже щекотливо и обидно, директор поправлял свой нос и, наконец, спросил:

— Мне кажется, что вы как будто удивляетесь.

— Да, граф, — ответил Фебуфис.

Граф качнул головою, улыбнулся и ответил:

— Да, это обыкновенно бывает с теми, кто не привык к характеру герцога.

Редко кто знает, как он щедр и как он умеет награждать.

— Да, герцог щедр, но в числе его наград есть одна, которая, мне кажется, соединена с переменою подданства... Я уважаю герцога, но я никогда не просил об этом.

— Неужто?.. Впрочем, я до вещей внутреннего управления не касаюсь... на это у нас есть господин Шер. Правда, что у него в ведомстве все идет черт знает как, но зато по вдохновению... У нас это любят. Впрочем, если это неудобно, то вы сами можете говорить об этом с герцогом... вам завтра надо ему представиться и благодарить его светлость. Поцелуйте руку... Это так принято... Adieu![1]

Граф повернулся и послал рукою поцелуй Фебуфису.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Фебуфис возвратился от обласкавшего его дипломата в самом дурном расположении духа: он переходил беспрестанно от угнетенности к бешенству и не знал, чему дать более хода. Дары, возвещенные ему маленькою записочкой на бристоле, были очень щедры, но при всем том он чувствовал, что потерял нечто более важное и существенное, чем то, что получает. Во всяком случае, он трактован слишком ниже того, до чего положил себе предельною метой, и внутренний Шер имеет основание шутить над его «головным павлином», а граф внешних сношений может посылать ему на прощание детские поцелуи. Все они, в самом деле, значительные канальи, но крепче его наступают людям на ноги, меж тем как он колеблется и не умеет быть притворщиком, тогда как, в сущности, это неотразимо требуется. Он все дышит и томится. А потом стекло, сквозь которое он смотрит, как будто задышится и потемнеет, и ничего не станет видно, и тогда он примет решение, какого не думал. Так и теперь: простой и ясный смысл говорит ему, что он должен поблагодарить герцога сразу за все и сразу же от всего отказаться. Недаром дух его возмущается и он чувствует в себе полный достаток сил все это сделать, но как только он начинает соображать: что́ для этого нужно разрушить и в чем повиниться, так его практический смысл угнетается целою массой представлений, для успокоения которых выходит из завешенного угла на ходулях софизм: «Не все ли равно, такой или другой деспотизм?.. И этот и те — все гнут — не парят, и сломят — не тужат... Этот по крайней мере... Да нет — все гадость, все несносно...»

Тут проходит какая-то полусонная глупость: один получает преимущество перед другим, потому что он один, а в существе потому, что с

[1] Прощайте! (*фр.*)

ним уже сделка сделана, а из одного закрома брать корм удобнее, чем собирать его по пустым токам. Головной павлин, дойдя досюда, складывает хвост и садится на насест.

Так это было и теперь. Фебуфис вздыхал, скреб грудь и даже, отправляясь утром другого дня в герцогский замок для принесения благодарности его светлости, еще не знал, что он сделает, но с ним был его практический гений, и органически в нем уже сложилось то, что надо делать.

Увидав его издали, герцог кивнул ему головою и, прервав речь с тем, с кем разговаривал, громко спросил:

— Ты доволен?

Это была пренеудобная форма для начала объяснений; художник почти столько же волею, сколько и неволею уронил тихо, что он доволен, но осмелится нечто объяснить.

Ответ показался герцогу невнятен, и он переспросил:

— Что?!

— Я благодарю вашу светлость за ваши милости, но...

— То-то!

Художник было почтительно начал о своей отповеди, которую он желал сделать гласною, но герцог нахмурился и сказал:

— Оставь это: искусство, как и все, должно быть национально. А чтобы различные толки не портили дела, я велел принять меры, чтобы сюда не доходили никакие толки. Ты очень впечатлителен. Пора тебе перестать вести одинокую жизнь. Я тебе советую выбрать хорошую, добрую девушку по сердцу и жениться.

Фебуфис благодарил за милостивое внимание и заботливость, но не выразил желания жениться.

Герцог сдвинул брови и сказал:

— А знаешь, мне это очень противно! Семейная жизнь всего лучше успокаивает, и ты это, наверное, увидишь на своем товарище, которого, кстати, поздравь от меня. Он сделал превосходный выбор и, вероятно, будет счастлив.

— Мой товарищ?.. О ком, ваша светлость, изволите говорить?

— Ну, разумеется, о маленьком Пике. Чтобы не забыть — о нем теперь надо лучше позаботиться, так как он женится, то я велю дать ему должность с двойным окладом. Его будущая жена — дочь очень достойного человека и моего верного слуги. Храбр... и глуп, как сто тысяч братьев. Будто ты ничего об этом не знаешь?

— Ничего, ваша светлость.

— Маленький Пик, значит, в любовных делах осторожен. Это, впрочем, так и следует: девушка очень молода и наивна, как настоящая

монастырка, но он очень скоро победил ее застенчивость. Представь, он нашел способ разъяснить ей, чем отличается букан от букашки... За это его тюк на крюк! Это довольно смешной случай, но пусть он сам тебе о нем расскажет. Кстати, он зовет ее «прелестная Пеллегрина». Ей это идет... Ты ее не видал?

— Нет.

— Очень интересна: она в миньонном роде.

Фебуфис выслушал новость о Пике как бы в забытьи: его не интересовало теперь ничто, даже и то, что и с самим с ним происходило: все ему представлялось тяжелым сновидением, от которого он хотел бы отряхнуться, только это казалось невозможным. Он чувствовал, что как будто ушел далеко в какой-то дремучий лес, из которого не найти выхода. Да и куда выходить? И зачем? Здесь он все-таки значительная величина, хоть по герцогскому распоряжению, а во всяком другом месте он станет наравне со всеми судим свободным судом критики, и... он знает, какое она отведет ему место...

Тяжкое унижение! Здесь он ничего этого не испытает... Сюда ничто ему неприятное не проникнет — против этого велено принять меры. Он в этом не виноват, а между тем ему от этого спокойно, и он лег на диван, покрыл ноги.

Фебуфис встал несколько мрачный и серьезный, молчал в продолжение всего стола, но при конце обеда прямо, без всяких предисловий, спросил Пика:

— Я слышал, ты женишься?

— Кто тебе это сказал?

— Герцог.

— На ком же, смею спросить?

— Ну, что за глупость: будто ты не знаешь.

— До сих пор не знаю.

— На какой-то милой девушке, невинной монастырке, которую ты прозвал «прелестною Пеллегриной». Зачем ты покорил ее сердце и научил ее, как узнавать букана от букашки?

Пик расхохотался.

— И герцог это знает?

— Он говорил мне об этом.

— Боже мой, какая противность! Чего он только не знает? Кажется, все, кроме нужд своего народа!

— Так это правда или нет?

— Что я женюсь?.. Конечно, неправда!

И Пик опять расхохотался. Он, такая маленькая крошка, чья незаметная фигура во всех возбуждала смех и шутливость, как он мог быть

любим милою девушкой, которая ему чрезвычайно нравилась? И он женится! Это самому ему только и могло казаться слишком грубою и слишком неотделанного насмешкой, но тем не менее через несколько дней он сказал Фебуфису:

— Знаешь, я в самом деле, кажется, женюсь!

— Отчего же тебе это вдруг стало казаться?

— Оттого, что я сделал Пеллегриночке предложение, и объяснился с ее отцом, и от обоих от них получил согласие.

— Вот те черт! В таком случае я поздравляю тебя, — ты, значит, наверное женишься.

— Да, вообрази, женюсь! Это случилось как-то внезапно... У нее есть кузен, молодой офицер, мерзкий шалун, который выдал мою тайну, и я был должен объяснить мои намерения... Конечно, не Бог знает что: мы с нею просто ходили и гуляли, но этот достопочтенный старик, ее отец... он наивен так же, как сама Пеллегрина, и это неудивительно, потому что он женился на матери Пеллегрины, когда ему было всего двадцать лет, и его покойная жена держала его в строгих руках до самой смерти... Она умерла год тому назад.

— Он, верно, рад, что она умерла.

— М... ну — не знаю. Его племянник говорил, будто она ставила его на колени, и за то старичок теперь желает будто компенсации и, как только выдаст дочь замуж, так сам опять женится. Но этому хотят помешать.

Фебуфис уловил вполне ясно только последнее слово и повторил вяло:

— Жениться! Это значительный ресурс при большой скуке.

— Так ты против женитьбы?

— Как можно! Особенно при настоящем случае, когда кое-что может перепасть и на мою холостяцкую долю.

— Да ведь, признайся, и тебе здесь скучно... Ты скучаешь?

— Очень скучаю, мой милый Пик, и потому я был бы очень счастлив, если бы ты и твоя будущая жена не отогнали меня, старика, от своего обеденного стола и от вашей вечерней лампы. А уж потом я буду желать вам спокойной ночи.

— О, конечно, это так и будет! Это непременно так и будет! Мы с тобой не расстанемся и будем жить все вместе. Мы уже об этом говорили.

Пеллегриночка тебя очень почитает. Она пренаивное дитя: она сказала, что она меня «любит», а тебя «уважает», и сейчас же вскрикнула: «Ах, боже мой! я не знаю, что больше!» Я ей сказал, что ува-

жение значит больше, потому что оно заслуживается, и указал на ее чувства к отцу, но она пренаивно замахала руками и говорит: «Что вы, что вы, я папу и не люблю и не уважаю!» Я удивился и говорю: «За что же?» А она говорит: «Я к нему никак не могу привыкнуть». — «В каком смысле?» — «Я не могу переносить, для чего от него бобковою мазью пахнет». — «Какие пустяки!» — «Нет, говорит, это не пустяки; мать тоже никак не могла привыкнуть: она правду ему говорила, что он „не мужчина"». — «Что же он такое?» — «Мама его называла: губка! Фуй!» — «Чем же это порок?» — «Да фуй!.. мне о нем стыдно думать!» Ты вообрази себе этакую своего рода быстроту и бойкость в нераздельном слитии с монастырскою наивностью... Это что-то детское, что-то как будто игрушечное и чертопхайское... и, главное, эти неожиданные сюрпризы и переходы, начиная от букана до мужчины и до не-мужчины... Ведь все это видеть, все это самому вызвать и наблюдать все эти переходы...

— Что и говорить! — перебил Фебуфис. — Во всем этом, без сомнения, чувствуется биение жизненного пульса.

— Да, вот именно, биение жизненного пульса.

И ему было дано вволю испытать на себе в разной степени биение жизненного пульса. Одно из высших удовольствий в этом роде он узнал в самый блаженный миг, когда после свадебных церемоний остался вдвоем с прелестною Пеллегриной. Случай был такой, что Пик совершенно потерялся, убежал в холодный зал и, прислонясь лбом к покрытому изморозью оконному стеклу, проплакал всю ночь. В этом же положении спасла его утром его молоденькая жена: она подошла к нему с своим невинным детским взглядом в утреннем капоте новобрачной дамы, положила ему на плечи свои миниатюрные ручки и, повернув к себе этими ручками его лицо, сказала:

— Мой друг, ведь я не раздевалась...

— Мне все равно! — ответил спешно Пик.

— Нет... не все равно.

У Пика кипела досада, и он ответил:

— Я говорю вам: это мне все равно!

— А я... я себе этого даже и объяснить не могу...

— Себе!

— Да.

— Даже себе не можете объяснить?!

— Вот именно!

— Это становится интересно.

— Я помню одно, что я дежурила в комнате у начальницы, и он неслышно взошел по мягким коврам, и... он взял меня очень сильно за пояс...

— Черт бы вас взял с ним вместе!

— Но я не раздевалась и только была совсем измучена... и я больше ничего не знаю... я ничего не помню...

— Не помните!

— Да, я затрепетала...

— Затрепетала!

— Да, затрепетала... мы так воспитаны.

— Вы очень оригинально воспитаны... Ничего не понимаете...

— Да... не понимала, а теперь мне дурно.

Пик хотел ее оттолкнуть, но вместо того принял жену под руки, отвел ее в спальню, помог ей раздеться и сказал:

— Раз все было так, то это предается забвению.

Она в полузабытьи, с глазами, закрытыми веками, слабо пожала его руку.

— Но только мы уедем отсюда. Здесь им везде уж слишком полно.

— Как ты хочешь, букан, — прошептали милые, детские уста Пеллегрины.

Пик улыбнулся и стал целовать их и повторял:

— Мы от него уедем, уедем, букашка!

— Да, уедем, буканчик, — отвечала Пеллегрина, — только не надо ничем тревожить папу.

Пик все позабыл и растаял в объятиях своей наивной жены.

Букан и букашка были счастливы. Равновесие в их жизни нарушалось только одним сторонним обстоятельством: отец Пеллегрины, с двадцати лет состоявший при своем семействе, с выходом дочери замуж вдруг заскучал и начал страстно молиться Богу, но он совсем не обнаруживал стремления жениться, а показал другую удивительную слабость: он поддался влиянию своего племянника и с особенным удовольствием начал искать веселой компании; чего он не успел сделать в юности, то все хотел восполнить теперь: он завил на голове остаток волос, купил трубку с дамским портретом, стал пить вино и начал ездить смотреть, как танцуют веселые женщины. Спустя малое время он не выдержал и сам принял участие в танцах.

По его значению в военном мире, внутренний Шер довел об этом до сведения герцога, а герцог, встретя его в парке, спросил:

— Ты танцуешь?

— Виноват, — отвечал генерал.

— Отчего ты это вздумал?

— Рано женился и ничего не испытал в молодости, ваша светлость.

— То-то! Смотри, чтоб этого не было.

Почтенный воин дал слово своему повелителю, но не в силах был этого слова выдержать: молодая компания опять увлекла его в опасное сообщество, где он нарушил свое обещание: он пил и танцевал, и, делая ронд в фигуре, вдруг увидал перед собою внутреннего Шера... Генерал сейчас же упал и переломил себе хребет, а когда пришел на мгновение в себя и сообразил, что об этом узнает герцог, то тотчас же тут и умер на месте преступления.

Внутренний Шер тихо перенес героя ночью в его жилище и утром доложил герцогу. Герцог слушал начало доклада в гневе, но потом был тронут поступком генерала и сказал:

— Он хорошо кончил!

Затем вышло распоряжение, чтобы молодых людей посадить под арест, танцорок высечь, а усопшему сделать погребальный церемониал по его заслугам и произнести над его гробом глубоко прочувствованное слово.

Все это было исполнено, и герцог сам был тут, сам окинул взором церемонию, сам выслушал слово и даже приткнулся рукою ко гробу некогда храброго человека, а потом с чувством пожал руку его дочери. Факт этот целиком перешел в историю народа.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Траур, который надела по отце Пеллегрина, до того шел к ее грациозной, легкой фигурке и пепельной головке, что Фебуфис, пребывавший долгое время в тяжелой и беспросветной хандре, увидав ее, просветлел и сказал:

— Знаете ли, я очень хочу написать ваш портрет.

Пеллегрина, как женщина, с удовольствием чувствовала обаяние, которое ее красота произвела на знаменитого, по общему мнению, друга ее мужа, и ничего не имела против осуществления его артистического желания. Пик одобрял это еще более.

— Это тебе пришла счастливейшая мысль, — восклицал он, — это обоих вас займет, и тебя и ее заставит прогнать от себя тяжелые мысли.

Портрет был начат во весь рост на большом холсте, где нашли место для своего расположения все любимые вещи в будуаре Миньоны.

Фебуфис после продолжительной апатии и бездействия взялся за работу с большим рвением, и портрет Пеллегрины обещал превзойти портрет, написанный Фебуфисом с герцогини для кабинета герцога. Это обстоятельство заключало в себе даже нечто щекотливое и заставляло Фебуфиса производить работу не в мастерской, а в будуаре Пеллегрины. Он приходил к ней в своем рабочем легком костюме — в туфлях, сереньких широких панталонах и коричневой бархатной куртке. Она позировала перед ним стоя и, утомясь, отдыхала на широкой оттоманке, а он переносил ее девственные черты на полотно и нечто занес нечаянно в свое сердце, начавшее гнать кровь в присутствии жены друга с увеличенною силой. Он стал неровен и нервен, — она это, кажется, замечала, но оставалась во всегдашнем своем беспечном, младенческом настроении, и даже когда он однажды сказал ей, что не может глядеть на нее издали, она и тогда промолчала. Но уж тогда он бросил кисть и палитру и, кинувшись к ней, обнял ее колени и овладел ею так бурно, что она совсем потерялась, закрыла лицо руками и прошептала не раз, а два раза:

— Бога ради, Бога ради!

Он, кажется, не разобрал, как это следовало понять, и последствия этого недоразумения совершенно не отвечали программе сеанса.

Дела могли идти таким порядком очень долго, но раз Пик вошел домой не в счастливый час и не в урочное время и услыхал это же странно произнесенное «Бога ради!» Он понял это не так, как следовало: ему показалось, что его жене дурно, и он бросился к ней на помощь, но, спешно войдя в комнату, он застал Пеллегрину и Фебуфиса сидящими на диване, слишком тихими и в слишком далеком друг от друга расстоянии.

Он посмотрел на них, они на него, и все трое не сказали друг другу ни слова.

И Пик стоял, а те двое продолжали сидеть друг от друга слишком далеко, в противоположных концах дивана, и везде, по всей комнате, слышно было, как у них у всех у трех в груди бьются сердца, а Пик прошипел: «Как все глупо!» — и вышел вон, ошеломленный, быть может, одною мечтой своего воображения, но зато он сию минуту опомнился и, сделав два шага по ковру, покрывавшему пол соседней гостиной, остановился. Его так колыхало, что он схватился одною рукой за мебель, а другою за сердце... Вокруг была несколько минут жуткая тишина, и только потом до слуха Пика долетел тихий шепот:

— Для чего вам было садиться так далеко?

Это говорила букашка, и говорила с укоризною... Фебуфис в роли букана был сильнее потерян и молчал.

Ее это еще больше рассердило. Пик слышал, как она встала с дивана и подошла к столику и как обручальное колечко на миниатюрном пальце ее руки тихо звякнуло о граненый флакон с одеколоном. Пик узнавал ее по всем этим мелким приметам.

Она, очевидно, входила в себя и держала себя на уровне своих привычек, между тем как ее сообщник был недвижим и едва мог произнести:

— Было бы все равно.

— Совсем не равно, — отвечала наставительно Пеллегрина, уже повышая тон до полуголоса. — Люди, которые просто разговаривают, никогда так далеко не сидят.

Он тоже хотел ободриться и с улыбкою, слышною в шепоте, спросил:

— Здесь это не принято?

Но она совсем уже полным голосом повторила:

— Не принято!.. Гораздо важнее — это не то, что здесь «не принято», а то, что это везде неестественно!

И с этим она поставила на уборный стол флакон и, вероятно, хотела идти вслед за мужем в те самые двери, в которые он вышел, но Пик предупредил ее: он бросился вперед, схватил в передней свой плащ и шляпу и выбежал на улицу.

На дворе уже темнело и лил проливной дождь. Пик ничего этого не замечал; он шел и свистал, останавливался у углов, не зная, за который из них поворотить, и потом опять шел и свистал, и вдруг расхохотался.

— И это я ей говорил. Я ей объяснял, что букашка и что букан! И это она уверяла меня, как она не понимала, что с нею делают, и затрепетала! И это я писал Маку о здешних женщинах, как они наивны!.. Что мог я понять в этом омуте, в этой поголовной лжи?.. Что я могу понять даже теперь? Впрочем, теперь я понимаю то, что я не хочу здесь оставаться ни дня, ни часа, ни минуты!

И с этих пор он исчез бесследно.

Внутренний Шер доложил герцогу об исчезновении Пика в числе обыкновенных полицейских событий. Все, что предшествовало этому загадочному исчезновению и что было его настоящей причиной, осталось для всех посторонних неизвестным. Когда же все розыски Пика в пределах герцогства оказались безуспешными, герцог призвал Фебуфиса и спросил:

— Что ты знаешь о своем товарище?

— Ничего, ваша светлость.

— А в каком положении его жена? Она, может быть, уже вдова, и у нее нет права на пенсию?

— Если, ваша светлость, повелите, — вкрадчиво вставил Шер.

— Да, — отвечал герцог, — я повелеваю. И, кстати, пусть ее тоже определят воспитательницей там, где она сама училась. Это будет приятно герцогине.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Исчезновение Пика, однако, чувствительно ударило по сердцу Фебуфиса, и Пеллегрина перестала ему больше нравиться, а притом совершилось еще другое.

Сопровождая герцога, он посетил один богатый торговый город, в ратуше которого им был дан роскошный бал. На этом бале, в числе многих красивых женщин, появилась молодая девушка классически строгой и поразительной красоты. Ее звали Гелия. Она была дочь местного богатого негоцианта, имевшего дела со всею Европой. Красота ее бросилась всем в глаза и сразу Фебуфиса пленила. Это заметил герцог и тут же спросил его:

— Что ты о ней скажешь?

— Ваша светлость, — отвечал Фебуфис, — о ней можно сказать только, как говорят на востоке: «Глаз смертного не может видеть такое совершенство без готовности умереть за него».

Герцогу понравилась восточная фраза: он, почитавший себя покровителем веры, сам любил иногда пустить в ход что-нибудь в библейском роде, и в данном случае он тоже скомпоновал что мог: он похлопал Фебуфиса по плечу и сказал:

— Эге, смертный, я вижу, ты еси уже уязвлен сею красою. Бойся заболеть, но, впрочем, при мне и сия болезнь может оборотиться не к смерти, а к славе... сумей только ей понравиться.

— Ваша светлость, смертный не дерзает и думать о том, чтобы понравиться такой красавице.

— Прекрасно сказано: может быть, ей даже и нельзя понравиться, потому что она, как единственная дочь богатого отца, избалована и хватила хваленой цивилизации за границею. Говорят, она холодна, как Диана.

— Вот изволите видеть!

— Да, да, — Диана, и даже ходит одна с огромным псом. И притом, она умна... и даже, кажется, что-то пишет... И вот именно об искусстве... Она тоже живописец и училась у Каульбаха. Но, главное, отец в ней не слышит души, и она очень своевольна. Но, надеюсь, я здесь хозяин и могу кое-что сделать. Хочешь, я ее за тебя посватаю?

— Пощадите, ваша светлость!

— А вот же посватаю и высватаю: это дело мое, а ты знай сам средство, как с нею обходиться, — и с этим он прямо с места направился к отцу красавицы, взял его под руку в сторону и стал просить у него руки дочери для жениха, которого он рекомендует.

Фебуфис был как на иголках, но около него был Шер; он его успокоивал и шептал ему:

— Ничего не выйдет; у ее отца, у этого старого Фрица, в голове преогромный павлин: он собит дочке мужа миллионера или маркграфа.

Отец красавицы, которую звали Гелия, был сытый и рослый бюргер с надменным лицом, напоминающим лицо герцога Веллингтона, слыл за страшного богача и жил роскошно. Однако, обращаясь в стороне от дворских обычаев и притом в торговом кружке, в котором он имел первенствующее значение, он не отличался находчивостью и был взят врасплох; он слыхал, что таким сватам не отказывают, и не успел сказать ни да, ни нет, как «сват» уже поманул к себе жениха. Это обещало дрянную игру: два головные павлина сшибались: отец отца Фебуфиса был приказчиком у отца старого Фрица, Фриц не мог желать себе такого зятя, но тем не менее сухое и даже немножко надменное согласие было дано. Герцог поднял бокал за здоровье жениха и невесты, и они были помолвлены. Негоцианты порта были этим удивлены и обижены, — на всех лицах было заметно неудовольствие, а Шер, принеся свое поздравление отцу невесты, отошел в амбразуру окна и, достав из кармана агенду, написал nota bene,[1] по которой тайной агентуре следовало пошарить везде, где возможно: все ли благополучно в делах почитаемого в миллионерах Фрица?

Его уступчивость казалась Шеру подозрительною. Девушка не протестовала нимало, но с первых же минут показала своему жениху холодное презрение, а тем не менее вскоре же с царственною пышностью была отпразднована их свадьба. Невесту, которая все продолжала держать себя в строгом чине, подвел к алтарю сам герцог и оставался пер-

[1] обрати внимание — букв.: заметь хорошо (*лат.*)

вым гостем на пире, где присутствовала вся знать столицы, но присутствовала также незримо и Немезида...

Негоциант ничего не определил дочери, но можно было думать, что он даст большое приданое, а герцог, который «любил награждать», конечно, доставит многосторонние другие выгоды, — вышло, однако, так, что все это было вдруг испорчено на первых порах. Недобрым предвестием всего было письмо, которое Фебуфис нашел у себя на столе в то время, когда привез к себе молодую супругу и оставил ее на короткое время в ее художественно отделанной половине. Письмо было написано какою-то злою и мстительною женщиной: в нем извещали Фебуфиса, что он великолепно надут, что он получил жену с большими претензиями и без всяких средств; что тесть его, слывущий за миллионера, на самом деле готовый банкрот, ищущий спасения в дорого ценимой им уступке; что брак этот со стороны Гелии есть жертва для спасения отца, а Фебуфис от всего этого получит право ужинать всегда без последнего блюда.

Фебуфису показалось, что это писала Пеллегрина. Он знал, что букашка чертовски скрытна, ловка и мстительна, а притом она, кажется, успела стать слишком знакома с внутренним Шером и умела узнавать у него кое-что из его ежедневных упражнений в подпечатывании и чтении писем, вверяемых почтовой пересылке.

Маленькая изящная Пеллегрина могла знать тайности, но ей также ничто не мешало и лгать и клеветать на людей. Эта женщина — живое и мерзкое воспоминание, при котором является укол в сердце и мелькает перед глазами тень маленького Пика.

Теперь это случилось как нельзя больше не вовремя. Теперь это надо решительно прочь.

Он наскоро сунул смутившее его на минуту письмо в карман изящного спального жакета из мягкой восточной материи и в легких восточных туфлях спустился из мастерской вниз к жене, спальня и уборная которой были устроены в тех самых покоях, которые занимал в этом казенном доме Пик и его Пеллегрина. Спальня Гелии приходилась именно в той самой комнате, где Фебуфис писал портрет с Пеллегрины и скомпрометировал ее, севши слишком далеко от нее на диване.

Это все опять ему ненадлежаще вспомнилось, когда он с изящною ночною лампочкой в руке проходил по мягкому ковру той комнаты, где стоял Пик, держась рукою за сердце и выслушивая из собственных уст жены сознание в ее поступке и в ее чертовской опытности и органической любви к обману.

Фебуфис тряхнул своими поредевшими кудрями, как бы отгоняя воспоминания, и положил руку на массивную бронзовую фигуру дракона, служившую ручкою двери в женину спальню.

Сию минуту он увидит свою великолепную Гелию...

Сердце его усиленно билось, но дверь не подавалась... она была заперта.

Быть может, это ему так только кажется; быть может, он неловко берется. Он надавил ручку сильнее и теперь несомненно убедился, что дверь заперта изнутри на ключ. Значит, полученное неизвестным путем письмо предупреждало его кое о чем верно... свадебный пир его кончен, и он, как дитя, оставлен «без последнего блюда».

Он был в нерешимости, что ему делать: встряхнуть дверь и звать жену так, чтобы она должна была откликнуться, или выдержать себя и на первых же порах наказать ее ни с чем несообразный каприз пренебрежительною холодностью?

Первое угрожало шумом и скандалом, который мог дойти до ушей прислуги и сделать его смешным в передней, на кухне и в мелочных лавках, откуда потом придет слух и в гостиные... Второе... еще может к чему-нибудь вывести.

Он предпочел второе и возвратился спать в свою мастерскую.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Утро второго дня было для Фебуфиса тяжело неимоверно. Начало семейной жизни его не радовало, и он встал, ощущая никогда ему до сих пор не известный страх перед женщиной... прекрасною, строгою и чертовски холодною женщиной, избалованности и капризам которой, очевидно, нет меры, точно так же, как не видно меры ее упорству и самообладанию, которых совсем нет у Фебуфиса.

Но обстоятельства требовали, чтобы он показал некоторое самообладание, и он решился сделать над собою твердые усилия. Он сошел в столовую, где имел привычку пить свой утренний кофе, и, к удивлению своему, застал здесь за столом совершенно одетую жену, перед которой была английская книга, а у ног ее лежала ее огромная черная собака Рапо. Супруги повидались холодно, как знакомые. Гелия не обнаружила ни малейшего замешательства и даже не дала заметить мужу, что она его некоторое время ожидала за кофе. Он хотел разразиться, но вместо

того извинился, сделал несколько незначительных вопросов и несколько раз посмотрел на черного Рапо. Его занимало: когда и кто привел в его дом эту собаку, имевшую чрезвычайную привязанность к Гелии, а к нему возымевшую с первой встречи глухое личное неудовольствие, способное при всяком удобном поводе перейти в открытую неприязненность? Фебуфис даже не вытерпел и полюбопытствовал:

— Когда сюда перебрался Рапо?

Гелия отвечала, что Рапо пришел вчера с ее верною служанкой.

«Рапо и верная служанка!.. Недурненькие штучки для начала», — подумал Фебуфис и затем спросил:

— А где вы нашли для него здесь помещение?

— Его помещение, как всегда, при мне.

— Нет, где он спал?

— На ковре, в ногах у моей постели.

«Какова штучка!» — подумал Фебуфис и встал, чтобы приветствовать двух близких родных жены, приехавших сделать ей обычный визит на другое утро после брака.

Фебуфис был рад их приходу, чтобы избавиться от сообщества, в котором ему становилось тяжело, и в то же время показать первое проявление и своего равнодушия и своего самообладания.

Он мало поговорил и, встав, направился к себе в мастерскую; но при повороте на ковре наткнулся на Рапо и чуть не упал.

Он видел, что гости и его жена сделали над собою усилие, чтобы не засмеяться его полету и смешному взмаху, который он сделал руками.

Один Рапо поглядел на него серьезно и грустно, без унизительной иронии, и, звучно вздохнув из глубины своей собачьей души, точно хотел сказать: «Ах, уйди, тебе здесь не место!»

Фебуфис с своей стороны подумал: «Я эту собаку непременно убью», — и затем он пришел к себе в мастерскую, одновременно чувствуя и бешенство и неотразимую потребность удерживаться, и вдруг он схватил кисти и начал работать.

С этих пор мастерская, этажом выше жилья, сделалась его постоянным приютом. Он точно вышел из дому без спора и без боя, сам не заметив, как это случилось.

Он делал с женой визиты; был с нею на завтраке в замке у герцога, причем герцог, поздравляя Гелию, поцеловал у ней руку в присутствии герцогини. Потом у них был родственный обед, за которым Фебуфис убедился, что отец его жены не даст дочери ничего, а что все прочие ее родственники совсем даже и не намерены почитать его за замечательного человека. Они нимало не скрывают, что смотрят на него просто как

на герцогского фаворита, до которого они снизошли случайно, по обстоятельствам, о которых он поймет в свое время и для которых обязан будет поработать. Вообще со временем ему скажут, что делать. За обедом последовал бал, на котором в блестящей свите прошел герцог, и опять уже не раз, а два раза поцеловал руку Гелии, — здороваясь и прощаясь, — и сидел с ней одной пять минут в уединенной маленькой гостиной, из которой, по принятому этикету, в эти минуты все вышли. Потом он подарил, по старине, вниманием и Фебуфиса. Он спросил его:

— Счастлив?

Фебуфис поблагодарил за внимание.

— То-то! — пошутил герцог и, улыбаясь, шепнул ему на ухо: — Будь терпелив и уповай на Бога.

«Что за дьявольщина! — подумал, провожая герцога, Фебуфис. — Во что, в самом деле, он не вмешивается, чего он только не знает и о чем он не говорит!.. Как его много! Как его везде чертовски много!»

И вдруг он остановился на месте и зашатался. Он вдруг ясно увидел, что его жена — любовница герцога.

С Фебуфисом сделался обморок, и довольно странный обморок, в котором продолжалось сознание.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Этого, может быть, только не видят другие, или, наоборот, это видели и видят все, кроме его. Он, настоящий, форменный муж, который узнает о своем позоре самый последний и потом смиряется и сносит это из ложного стыда или выгод, но вот тут уж ошибка, — этого одного уж ни за что не будет с Фебуфисом. Этого он не снесет ни за какие выгоды в мире. Он это разъяснит и разрубит все сейчас, сию минуту. И все условия ему благоприятствовали — обморок сокрыл от него разъезд гостей и окончание бала. Придя окончательно в чувство, Фебуфис увидел себя в полумраке, на кушетке, в будуаре жены. Сюда перенесли его гости, при которых он упал в дурноте, проводивши герцога.

Гелия стояла перед ним, возле нее была ее «верная служанка», и невдалеке от нее, глядя ей в глаза, лежал не менее верный Рапо. Огни во всех апартаментах были потушены, и в доме была тишина; сквозь

складки оконных занавесок виднелась звезда, меркнувшая в предрассветной синеве неба.

Фебуфис остановил взгляд на служанке и сказал:

— Зачем она здесь?

Гелия сделала легкое движение головой, и женщина вышла.

— Могу ли я сделать вам один вопрос? — сказал Фебуфис.

— Конечно, — отвечала Гелия.

— О чем с вами говорил наедине герцог?

Гелия сдвинула брови и покраснела. Фебуфис мгновенно сорвался с места и вскрикнул:

— Я хочу это знать!

— Он говорил со мной об одном деле моего отца.

— О каком деле?

— Я не должна этого никому сказать.

— Это неправда!.. это ложь!.. Вы его любовница!

Краска мгновенно сбежала с лица Гелии и заменилась болезненною бледностью.

— Да, — продолжал Фебуфис, — я вас поймал... я вас открыл, я теперь понимаю ваше поведение, и вот... вот...

— Что вы хотите?

— Ничего!.. От вас ничего... Поняли?

— Поняла.

— Прекрасно!.. Мне не нужна герцогская любовница!

— Да?

— Да. Вы должны были по крайней мере раньше мне сознаться в этом.

— Идите ж вон отсюда!.. Сейчас же вон, или... эта собака перекусит вам горло!

— Я вон... я?!

— Да, вы... Вон, сын приказчика моего деда!

— О, — протянул Фебуфис, в голове которого его собственный павлин вдруг распустил все свои перья, — так вы вот как на меня смотрите! Я вам покажу, кто я!

И он, задыхаясь и колеблясь от гнева на ногах, пошел в свою мастерскую, но он не лег спать, — его пожирала простая физическая жажда мщения, — он сошел опять вниз, взял из буфета две бутылки шампанского и обе их выпил, во все время беспрестанно волнуясь и то так, то иначе соображая свое положение.

Он непременно хотел что-то сделать, и не знал, что ему делать. В этом уплыл остаток ночи, и в окнах серел рассвет непогожего дня.

Фебуфис стал приходить в другое, мирное настроение: он чувствовал теперь потребность сказать жене — холодно и не роняя своего достоинства, — что они навсегда будут чужды друг другу, и решить сообща с нею, как им держать себя, пока они найдут наименее скандалезный выход. Это будет холодное, деловое объяснение, но его надо сделать немедленно, сейчас, чтобы ни он, ни она не предприняли ничего несоответственного порознь и чтобы с сердца разом скорее сбросить то, что так тяжело и гадко.

Но двери ее спальни, конечно, опять уже заперты, и если она их опять не отопрет?.. Ему надо было просто, уходя, вынуть ключ, но он не догадался. Но он ее заставит отпереться. Он не будет стучать и ломиться, как ревнивый портной, а он ее убедит... он ее образумит. Так или иначе, она ему отопрет и его выслушает... А иначе... он сделает черт знает что!

Он выпил еще залпом, один за другим, два стакана шампанского, взял с камина флакон со скипидаром и стал спускаться с лестницы. Он не чувствовал себя пьяным, и в самом деле он не был пьян. Он ни скоро, ни тихо подошел к жениной спальне, которая действительно оказалась запертою, спокойно тронул ручку двери и произнес спокойным голосом:

— Я прошу вас меня извинить и не отказать мне выйти ко мне в эту комнату: мы должны сейчас объясниться.

Гелия не отвечала.

— Я хочу знать, слышите ли вы, что я вам говорю?

— Слышу.

— Оденьтесь и выйдите. Это важно для моей и вашей жизни.

Молчание.

— Я вам даю слово, что вы не услышите ни одного грубого слова. Не бойтесь меня.

Ему слышалось, что она как будто ходит и что-то делает, но на его слова не отвечает.

— Я вам даю слово, что вам меня не должно бояться.

Она ответила: «я не боюсь», и опять слышались ее шаги и движение.

«Она ждет служанку и хочет уйти другим ходом!»

Это его взбесило.

— Вы не отворите?! — вскричал он, после нескольких слов, оставленных ею без ответа.

Гелия снова молчала.

— А, в таком случае я сейчас сожгу вас в вашем затворе.

С этим он плеснул скипидаром на портьеры и зажег их и в полном безумии бросился к другому выходу из спальни, но в это же мгновение осажденная повернула ключ и, открыв двери, предстала в пылающей раме горящих портьер.

Она была в мантилье и в платье, с головой, покрытой кружевною косынкой.

Этого Фебуфис не ожидал и вскрикнул:

— Куда вы?

Она только смерила его глазами и сделала шаг вперед.

Тогда он, забыв все, кинулся, чтобы остановить ее, но она на все это была готова: она вынула из-под мантильи руку и подняла прямо против его лица маленький щегольский пистолет.

— Я этого не боюсь! — вскричал Фебуфис.

— А я требую только, чтобы вы до меня не касались.

Из отуманенной бешенством и, может быть, отчасти вином головы Фебуфиса выскочил сразу весь план его мирных и благородных действий. Не успела его жена пройти через залу, как он догнал ее у второй двери и схватил ее сзади за мантилью. Гелия ударилась виском о резной шпингалет и, вскрикнув от боли, рванулась и убежала... В руках Фебуфиса осталась только ее мантилья. Жена ушла... стало пусто: на полу лежала большая золотая шпилька, вершка в четыре длиной, какие носили по тогдашней моде, и на узорчатом шпингалете двери веялись, тихо колеблясь, несколько длинных и тонких шелковистых черных волос.

Гелия выбежала из мужнина дома, как из разбойничьего вертепа, в одном платье, и безотчетно пошла, как некогда шел куда-то обиженный Пик. Она не замечала ни окружавшей ее стужи, ни ветра, который трепал ее прекрасные волосы и бил в ее красивое негодующее лицо мелкими искрами леденистого снега.

В уме Гелии было идти прямо к герцогу и сказать ему:

— Защитите меня от обиды и, если вы рыцарь, — как о вас говорят, — скажите, что я не была вашею любовницей, и отмстите за мою честь.

Она верила, что она должна и может это сказать, что она это непременно скажет и что он защитит ее, как рыцарь.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Не давая себе отчета, хорошо или дурно она думает, Гелия очутилась у герцогского замка. Выросши в торговом городе, жившем более во внешних политических сношениях с Европой, чем с своим правительственным центром, Гелия имела очень недостаточные понятия о том, как можно и как нельзя говорить с герцогом; но это и послужило ей в пользу, или, быть может, во вред, как мы увидим потом, при развитии нашего повествования.

В замке и вокруг замка герцога жизнь начиналась по-военному, то есть очень рано, и в тот ранний час, когда Гелия показалась у подъезда герцога, там уже стояла запряженная для него лошадь.

Гелия пошла прямо к подъезду и стала у колонны. Дежуривший у подъезда офицер настоятельно просил ее удалиться и особенно указал ей на сопровождавшую ее собаку.

Гелия слабо понимала речь того языка, на котором говорили в столице герцогства, но поняла указания на Рапо и нетерпеливо взглянула на него глазами.

Тяжелый и сильный зверь поднялся и пошел прочь за угол главной площадки замка.

— И вы сами тоже должны удалиться, — сказал офицер; но прежде чем он успел настоять на этом, массивная дверь быстро распахнулась, и появился герцог. Гелия к нему бросилась, как дитя, и в то же время как уверенная в своем достоинстве женщина.

Герцог остановился: ветер сильно перебивал ее лепет.

Она говорила, но он не понимал ее и... не узнавал ее.

Она в отчаянии закрыла лицо руками.

Герцог еще отодвинулся и приложил ладонь над глазами.

Гелия упала на колени и на этот раз твердо сказала:

— Молю вас, спасите!

— Что нужно? — спросил грозно герцог.

И в этот же миг он узнал Гелию и ужаснулся.

— Это вы, Гелия! Что с вами случилось?

И он подался к ней ближе и закрыл ее от ветра и снега полою своего плаща.

— Ваша светлость! — простонала она, — была ли я вашею любовницей? — и, зарыдав, она не могла продолжать далее.

Герцог заметил, что она шатается, и подхватил ее под руки.

— Кто смел сказать это?

— Вы меня выдали замуж, — произнесла Гелия.

— Ну да!.. Что ж дальше?

Гелия протянула к герцогу руку, в которой был пистолет, и сказала:

— Прикажите скорее взять меня в тюрьму.

— За что?

— Я сейчас хотела убить моего мужа.

— За что?

Она плакала.

— Говорите скорее, за что?

— Он хотел меня сжечь, — он обращается со мною как разбойник!

И, произнося каждое слово, она колебалась на ногах и вдруг совсем пошатнулась в сторону.

Герцог плотнее прикрыл ее плащом и сказал:

— Смотрите... правда ли это?

Вместо ответа Гелия взяла холодною рукой руку герцога и приблизила ее к своей голове.

На белой замшевой перчатке герцога остались капля крови и несколько глянцевитых и тонких черных волос.

Из груди его вырвался звук ужаса и негодования.

— Злодей! — вскричал герцог, — он будет страшно наказан!

С этими словами, задыхаясь и сверкая глазами, разгневанный герцог всхлипнул и потом отечески обнял молодую красавицу и, почувствовав, что она падает, поднял ее, как дитя, на руки, поцеловал в темя и с этою ношей возвратился назад в двери замка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Черновая редакция

Фебуфис, отпустив жену, выдерживал характер и не обнаруживал никакой о ней заботливости. Он хотел показать ей, что она немного для него значит. Пожар, зажженный им в квартире, был погашен домашними средствами и испортил только обстановку одной комнаты, смежной со спальней бежавшей прекрасной хозяйки... Он никак не ожидал того, что случилось, и когда присланный к нему дворцовый офицер потребовал, чтобы он сейчас же ехал с ним к герцогу, Фебуфис пришел в удивление, которое тотчас же угрожало перейти в бешенство, но, однако, на том только и остановилось. Фебуфис был уже не тот, что в Риме, когда он язвил кардинала или отвечал дерзостями своему прирожденному государю. Он боялся герцога, и это ему было обидно, больно и противно чувствовать, но он должен был ехать и, может быть, сносить самое крутое обращение... И он на это был готов и одевался с решимостью выдержать натиск гнева герцога и тотчас же просить увольнения от здешних служебных обязанностей и оставить государство: но прежде чем пришло время это исполнить, явился новый посол от герцога с указанием — удержать Фебуфиса в его квартире до особых приказаний герцога. Это было еще неприятнее, чем бурная сцена. Это было уже наказание за жену: Фебуфис сидел под домашним арестом.

Прошел час, другой и третий, Фебуфис все еще ждал и был один в ее опустевшей квартире. Он не пил и не ел целый день, и все сочинял в уме красивые объяснения перед герцогом, который, по его мнению, вмешался не в свое дело, но Фебуфиса не звали. Он спросил вина, выпил много и совершенно пьяный пришел в спальню жены, разбил ногою ее табуретку и уснул на ее неубранной постели...

На следующий день он проснулся с головной болью и едва понял, что его требует к себе сановник, имевший почетное начальство над художественным учреждением, при котором Фебуфис состоял на службе. Он явился по требованию и провел здесь один-одинешенек целый день в ожидании герцога, который хотел сюда приехать и здесь видеть навлекшего его гнев Фебуфиса. Ожидание было томительно. В течение целого дня Фебуфис не видал никого, кроме лакеев, которые приносили ему кушанья и снова безмолвно удалялись, но в сумерки его посетила жена президента, пожилая и чопорная дама, имевшая высокую репутацию благочестивой женщины строгих правил и пользовавшаяся большим значением в обществе. Она села у окна и, пригласив Фебуфиса занять вблизи ее место, сказала:

— В вашем положении, которое казалось непоправимым, произошел счастливый перелом. Я сейчас из замка и видела вашу жену... Она столь же добра и мила сердцем, как прекрасна наружностью... Это ангел. Весь день вчера и сегодня она провела у баронессы Нелли, которая о ней заботилась. Ночью, говорят, она много плакала. Герцог очень тронут ее положением и сам старался ее успокоить. Он умеет это сделать как никакой другой мужчина в свете. Это и понятно, — его сан и его простота и сердечность вместе производят обаяние... Жена ваша спокойна за себя, и все, что ее еще беспокоило, — это была участь, ожидавшая вас... Нелли и я — мы не могли ничего сделать для того, чтобы дать этому благоприятный оборот, но все это сделалось само собою. Герцог навестил Помону после обеда и сейчас, когда он выходил из комнаты, где вдвоем с нею беседовал, она упала перед ним на колени и, схватив его руку, покрыла ее поцелуями и со слезами просила, чтобы вам не было сделано никакого зла. Герцог поднял ее, сам поцеловал у нее руку и сказал ей, что он вас прощает. Приготовьтесь его встретить и будьте умны: он вскоре сюда приедет.

Наконец он и в самом деле приехал. Это было час за полночь, когда его уже не ожидали. Герцог был один, без всякой свиты, суровый и грозный, но с сдержанностию, которой Фебуфис не ожидал. Герцог взошел и предложил Фебуфису несколько вопросов, касавшихся порученных ему работ, а потом, смерив его с головы до ног глазами, сказал:

— Теперь ты можешь отправляться домой. У тебя дома все снова в порядке... Это сделал я!.. Я сейчас сам проводил твою жену... Она слаба, и я потребую, чтобы ты ее поберег.

Фебуфис хотел сказать какую-то довольно значительную из приготовленных им фраз и сказал только:

— Вы слишком милостивы.

— Да, и очень сожалею, что я много тебя старше: иначе ты мог бы иметь во мне очень предприимчивого соперника... Твоя жена прелестна. Спеши к ней и старайся загладить умным поведением все, что случилось!

Фебуфису оставалось откланяться и следовать по указанию. Из всех красивых положений, о которых он думал, не вышло ровно ничего: ему оставалось только «заглаживать умным поведением то, что случилось».

Но что же такое, собственно, случилось! Фебуфис был недоволен своим положением, он вспылил, обошелся с женою невежливо, даже грубо... Даже непростительно грубо. Он достоин строгого осуждения. Она с ним не объяснилась, не сделала ни малейшей попытки его успокоить, а обнаружила ту же строптивость, угрожала ему и выдала его головою... Теперь какая она жена! И притом Фебуфис достоверно знал только о своем поведении, но ему совсем неизвестно, как все это представила его жена? И как она сама себя держала?.. Ведь это важно... Она женщина... Семейная жизнь погибла навсегда... Мир к ним в дом не может возвратиться... Фебуфис это отлично понимает... Он человек падший, испорченный и расслабленный фаворитизмом, — у него нет ни прежней силы, ни энергии; он отвык ничем не дорожить, но тем не менее он все-таки не служебной, не чиновной натуры, у него душа художественная, он человек с чувством и с воображением... Он горд и понимает, как он унижен... Не станет он ничего заглаживать, — он с нею объяснится и кончит... Никакая власть не может насильно принудить человека оставаться под одною кровлею с женою, которая оболгала своего мужа и призывала на него кару...

Но это все ли «что случилось»? Все ли здесь то, что Фебуфис как муж призван загладить благоразумным поведением? Через него пробежал ледяной ток, как перед теми, кто подвергается опасности видимой смерти, нередко в одном мгновении ока проносятся воспоминания целой жизни, так перед Фебуфисом вдруг промелькнули все, кого сочла нужным вспомянуть ему Немезида: в их числе были Пик и Марчелла... и в груди Фебуфиса упало сердце, и он почувствовал боль, какой еще не знавал... Ведь Помона и он соединены и в славе и в бесславии. Он никогда не знал, что это так тесно и так плотно одно с другим сцеплено...

Он ли обидел ее больше меры, или... быть может... теперь не он в долгу у нее, а напротив — он оскорблен ею свыше терпения... Двое суток в замке...

Под одною с ним кровлей... Быть может, в покоях Нелли... баронессы Нелли, имеющей отставную и подставную роль... Она была фаворитка герцога и осталась ему полезной и нужной в сношениях с дру-

гими... Правда, что Помона есть воплощенное целомудрие и притом она была в слезах и горе... Не могло же все это сделаться так скоро... Не мог он быть так бесстыден и груб... Нет: это вздор! Это вздор!

Фебуфис в этих размышлениях дошел до дверей жениной спальни... Теперь он сейчас объяснится и увидит, «что такое случилось». Но на дверях вместо прежних опаленных драпировок висел перекинутый через золоченую стрелу китайский ковер с красным драконом на лучистом фоне. Это был ковер, который изготовляли на ковровых фабриках герцога по рисунку Фебуфиса и под его наблюдением.

Кранах загораждал вход Фебуфису. Тот тронул за ручку двери, но дверь была неподвижней, чем позавчера, и вдобавок оттуда из-за дверей слышно глухое и страшное рычание, вероятно, огромного пса.

Герцог распоряжается в моем доме, как саксонский король в доме Козель, но я еще не его подданный, и он это увидит.

Фебуфис еще налегнул на дверь, но к нему в ту же минуту подошел его слуга и сказал:

— Мой милостивый господин, не делайте себе неприятностей: я должен сию минуту бежать и известить о том, что вы делаете.

Фебуфис вместо ответа ударил его по лицу. Тот закрыл щеку рукою и удалился.

Фебуфис ушел наверх в свою мастерскую и решил, что завтра он прежде всего убьет собаку, которою обзавелась его жена, а потом прогонит наглого лакея. На то и на другое он, конечно, имел полное право.[1]

Поступок этот, способный вызвать гнев против человека, позволяющего себе такое обращение, тогда ценился гораздо снисходительнее, — особенно в стране, управляемой герцогом, где царило резкое разграничение сословных положений и слуги пользовались самыми меньшими человеческими правами, мало чем отличавшими их от домашних животных. Деморализация в этом отношении была тогда общею для всех привилегированных туземцев и довольно легко входила в нравы и обычаи попадавших сюда иностранцев.

Фебуфис, несмотря на свой бред демократизмом, который не сказывался в нем ровно ничем серьезным, не избег общего растления и, нанеся удар слуге, не придал этому никакого особенного значения. Лакей получил то, чего был достоин за свою наглость, и Фебуфису более не было до него дела. Он имел слишком много настоящего горя и досад, чтобы останавливаться еще на этой мелочи. Лакей чуть не осмелился

[1] Далее следует вставка в текст (см. об этом во вступительной статье к публикации. — *А. Ш.*).

вмешаться в его семейные дела — защищать от него его жену... Он завтра же выгонит этого негодяя и только... А теперь он его не хочет видеть и обойдется без его помощи.

Фебуфис второй раз был отлучен от своего супружеского ложа, и он тяжело чувствовал это унижение... Ему оставалось брать приступом свою спальню или снова идти наверх в свою мастерскую...

Он мог бы, конечно, избрать первое, но... он вспомнил, какую решительность обнаружила его жена, и предпочел второе. Он взял горевшую на столе свечу и стал подниматься по дубовой спиральной лестнице наверх и едва преступил порог мастерской, как остановился в изумлении... Комната была переформирована без его ведома, и Фебуфису не было нужды проводить ночь на оттомане: здесь... была поставлена его кровать из резного ореха и отгорожена его же половинкою китайских ширм. Постель была постлана, на стене повешен ковер, а в средину подушки воткнута большая золотая шпилька, вырванная им три дня тому назад из прически его жены...

Это был, конечно, символ его вины и его изгнания... Но кто же всем этим смел так распорядиться? Помона!.. Или даже, может быть... Нет, это именно и не может быть! Как ни любит герцог патриархальность, не может быть, чтобы он доходил до такой патриархальности, чтобы размещать по своему усмотрению супружеские спальни... и в таком разе зачем же он не оставил ее у себя?.. Зачем он ее сюда привез? Зачем говорил о том, чтобы что-то загладить? Разве это ведет к миру и к... заглаживанию... того, что случилось... Случилось?.. Это скорее похоже на то, что случившееся еще должно не раз случиться, если Фебуфис не станет за свои права и не даст всему иного оборота... Но в том-то и дело, что он его даст... он не покорится, — он бросит к черту все, — все герцогские милости и все выгоды своего положения, но не уступит... О, эта женщина над ним не будет смеяться, и если это она воткнула свою золотую булавку в его изголовье, то он переместит ее на другое место...

Фебуфис выхватил булавку из подушки и со злостью воткнул ее в портрет Помоны на том месте, где приходилось сердце, и сам лег не раздеваясь в приготовленную постель.

Но сон долго бежал от него: он то думал о том, как он уедет из владений герцога, то о том, как Помона увидит свой проколотый портрет, то самая мысль и забота об этом начинали представляться ему недостойным и унизительным для взрослого человека ребячеством, и он хотел сомневаться в том, что все происходящее действительно происходит, что все это не дурной, тяжелый сон, что он так низко пал, допустив

себя до невозможного положения в доме и в обществе, где от него теперь, конечно, все отвернутся... О Мак, Мак! Как он был справедлив, когда говорил, чтобы не заводить ничего близкого с великими мира... И как теперь знать, что случилось? Что именно случилось? До чего дошло или доходило... или еще должно дойти... Но ведь он муж, а не любовник Помоны, — он имеет на нее все права... Он никому не намерен уступить этих прав, и он их не уступит... не уступит всем назло и не уступит и потому, что Помона прекрасна и она ему нравится... Да! она нравится! И именно теперь она ему так нравится, как не нравилась до сей поры, когда ее у него никто не оспоривал и никто не смел мешаться в их отношения... И это прекрасно: он этому рад, — он рад, что она ему так нравится, и если бы дверь ее спальни не была так твердо закрыта, он бы, кажется, сейчас же встал и пошел к ней... Он бы с ней объяснился кротко... он бы говорил с ней ласково и с терпением слушал бы ее жалобы и укоры... Или даже не так: он бы совсем ничего не сказал ей, а только обнял бы ее... Нет, — она бы этим возмутилась, но он бы упал к ее ногам, обнял бы эти прелестные ноги и целовал бы их без ума и без памяти, пока бы она над ним сжалилась... простила его... и возвратила ему ласки, отринутые им из-за капризов и денежной обиды, в которой она не повинна...

Он так и сделает! Прочь гордость! Прочь самолюбие! Много уже из-за них пожертвовано! Какая гордость перед тем, кого страстно любишь! Надо спешить, надо спасать свою честь, спасать чистоту бедной Помоны, пока все держится только в пределах опасного подозрения... Он уверен, что в настоящем могут иметь место только одни подозрения, но если это оставить... если это длить... Правда, что он потеряет господствующее положение в глазах Помоны... но это ничего! Он идет, он будет стоять у дверей ее спальни и звать ее, пока она не откроет.

Фебуфис так решил и тотчас же встал с постели и, не зажигая огня, начал тихими и осторожными шагами спускаться с дубовой спиральной лестницы.

Но ад и смерть!.. нижняя дубовая дверь лестницы была заперта и так же неподвижно тверда, как дверь в спальню Помоны. Что это такое? Кто мог ее запереть? Что надо сделать?.. Шуметь, стучать, звать людей или молчать и возвратиться наверх и завтра притвориться, что все это ему неизвестно. У Фебуфиса все завертелось в голове, и на мыслях у него появилось: не запер ли он сам за собою эту дверь? Ему что-то помнится, как будто он имел намерение запереть эту дверь за собою, — вот он ее и запер. Но где же ключ... Ах, зачем он погасил свет!.. Или, может быть, дверь просто слишком плотно затворена. Фе-

буфис налег на нее плечом и остановился... Он понял, что делает глупость и что ему изменяют все чувства и над его разумом берет верх призрачная фантазия: ему слышатся тихие шаги, шепот, поцелуй и опять шепот, и тихий скрип двери, а затем тишь...

Но почему же это только фантазия? Почему не такова была и есть в самом деле действительность?.. Если только возможно совершиться всему такому в такое скорое время, то почему оно не могло быть в действительности? Но все это еще условно, а несомненно то, что Фебуфис доведен всем предшествовавшим до такого нервного возбуждения, которое близко граничит с безумием.

Фебуфис испугался. Ему было страшно сойти с ума: он схватил руками свою голову, взбежал назад и бросился в постель и в ту же минуту впал в состояние, менее похожее на сон, чем на транс или каталепсию: по нем струями пробегали ощущения ревности, истомы и сладострастия. Он ощущал свою жену, чувствовал ее ласки и засыпал, мгновенно переносясь в улетевшее прошлое, — видел Рим, таверну, Мака и Пика, голубую ночь у окна, в которое дышит прохлада, и в глаза ему смотрят с легким укором большие черные глаза Марчеллы... Она обнимает его, но он вспоминает другую, которую обнимает кто-то другой... и он просыпается и снова опять засыпает, чтобы снова увидать то же самое с небольшим изменением... Во всех узорах проходит одна нить — ее обнимают. Он хотел бы уснуть глубже, крепче, надолго, чтобы все позабыть... ничего не видеть. Он знает, что это для него самое лучшее, самое спокойное и желанное, и он делает в этом направлении самое старательное усилие и... просыпается окончательно с тяжелой головой и подавленным состоянием всего тела...

Совсем светло на дворе, должно быть, давно белый день... Слышен шум жизни, движение... Ему кажется, будто его будили... Но кто его может будить? Нет, это ему только казалось... У него в доме разгром, разлад, беспорядок, в котором расстроен склад жизни, — нет ни трудолюбивого утра, ни сладкого отдыха ночи... Он не хозяин, не господин в своем доме, он какой-то азартный, безумный игрок, который вел игру с шулерами и проиграл все свое счастие.

Стук! Настойчивый стук в его дверь... Значит, ему не казалось, — его, значит, будили. Кто? Он вспоминает, что слуга его прогнан, и, конечно, это не он смеет стучаться...

Это, значит, она — Помона!

Она сама хочет с ним объясниться. Что же?.. тем лучше. Теперь он гораздо спокойней, чем был вечером. Какой ни есть, сон все-таки освежил его, а самое утро более способствует ясности суждений, чем вечер.

Фебуфис только не хочет говорить с ней, лежа в постели. Она, конечно, совсем одета, и он тоже встретит ее на ногах.

Он вскочил, поправил на себе свое платье и, проведя рукою по лицу и по волосам, повернул ключ в замке двери.

Перед ним стоял начальник полиции в герцогской столице, — пожилой, веселый человек, хорошо знакомый художнику по множеству разнообразных встреч.

Фебуфис никак не ожидал такого гостя и был до того удивлен его появлением, что не встретил его ни гневом, ни приветом, а полициант вошел к нему с ласковою и очень простодушною улыбкою и, пожав ему руку, сказал:

— Заспались, любезный maestro,[1] и спите докуда хотите: вот преимущество всех вас, людей свободных профессий, меж тем как мы, презренные ищейки, на ногах спозаранок и все не успеваем переделать дела. Ну, да мы и не стоим иного и не должны вам завидовать, а должны вам служить. Я знаю, что вам нагрубил ваш слуга и еще пришел на вас жаловаться. Мы его отделали, и вам нечего о нем думать. К счастью, я могу радоваться, что имею возможность дать вам другого слугу.

И он рассказал историю о случайно известном ему превосходном слуге, которого счел себя вправе рекомендовать, чтобы доставить спокойствие Фебуфису и его супруге. С нею он уже виделся.

— Она лучше вас пользуется дружелюбием природы: она встала рано, и я еще на заре встретил ее в парке между гуляющими, которые пьют воды. От чего ей лечиться? Она свежа и чиста, как цветущая роза... Э, да, впрочем, и вообще эти воды пьют больше для удовольствия, особенно в нынешнем году, когда пьет их герцог... Все его любят, и все хотят видеть. И в самом деле его нельзя не обожать... Удивительный человек: какая страшная масса вопросов и сложных забот ежедневно проходят в его голове, а, меж тем, он находит еще досуг и возможность быть любезным, и, надо признаться, — когда он хочет быть любезным, он достигает этого чертовски ловко... или — я, кажется, некстати выразился — он достигает этого в совершенстве. Сегодня он приехал не в лучшем настроении, и я только непременно ждал каких-нибудь неприятностей, но едва он прошелся и взглянул в лицо Авроры, как расположение его изменилось, он стал подходить к дамам и два раза кряду обошел музыкальный круг под руку с вашей супругой... Она была сама красота, как, впрочем, и прилично супруге великого художника... Хе-хе-хе!.. Она у нас королева красоты вне всякого спора, и все

[1] мастер (*итал.*)

это чувствуют — все вам завидуют... Едва герцог посадил ее на место против оркестра, как к ней спешили подходить один за другим все... Ее пригласила на завтрак на свою половину баронесса Недда; сегодня рождение Недды. Как же, да ей сегодня должно быть стукнуло что-нибудь много... может быть, сорок два, сорок три... но как она еще прекрасна! Эти породистые дамы чертовски долго держатся, а она породиста... о, породиста... Вы как ее находите?

— Я, право, не знаю, о чем вы говорите, — отвечал Фебуфис.

— Я говорю о баронессе Недде, об этой чудной и чудесной женщине, которая имеет такое сильное и такое благодетельное влияние на нашего обожаемого герцога, и никогда, никогда не пользуется им для того, чтобы сделать какое-нибудь зло.

— А для чего ей делать зло?

— Да, совершенно не для чего, — вы правы, — совершенно не для чего, но ее положение тоже трудно: у герцогини есть свои приближенные, и лавировать между теми и другими требует много ума... Но я вам, однако, не говорю самого главного: супруга ваша ни за что не хотела ехать прямо из парка на кофе к Недде. Она непременно хотела заехать домой и переодеться, но ее не пустили. Баронесса имела предубеждение, чтобы супруга ваша исполнила эту ее просьбу, потому что это ее первая просьба в новом году ее жизни, — и они спорили. Герцог подошел и, узнав, в чем дело, решил процесс...

— В пользу баронессы?

— Вы отгадали. «Первое желание в новом году жизни» — это в самом деле может иметь значение для женской впечатлительности, а наш добрый герцог — ведь его достает на все: он не только воин и политик, но он и артист и художник и еще более, чем все, — самый лучший знаток женщин... Женщины ведь все больше или меньше суеверны, и даже очень умные из них не прочь думать, что такие события, как их рождение, отмечаются на знаках зодиака. И зачем их в этом разуверять? Герцог сказал, что ваша супруга должна пить кофе у Недды, и если она боится этим огорчить вас, то он сейчас же пошлет вас известить, чтобы вы не ждали ее к завтраку, а чтобы сравниться с нею в готовности пожертвовать этим днем Недде — он и сам не будет кушать кофе с герцогиней, а придет к ним на половину Недды. Посторонних не будет — кроме племянников Недды, которые не составляют никакого персонажа, и супруга ваша не имела поводов далее отказываться. Ведь приглашенье герцога есть приказанье. И так она там, а я здесь, и притом не один и не с пустыми руками. Я прислал вам на пробу слугу, который есть в то же время и превосходный повар.

— И шпион?

— Что? — Фебуфис промолчал.

— Я не расслышал, что вы сказали, — продолжал полицеймейстер, — но все равно: это человек на все руки, и вы его можете повернуть на какую вам угодно службу. Он бывал на охотах с герцогом и прославился отличным умением делать кашу из зайца, а герцог вчера затравил много зайцев. Я прислал с моим поваром всю провизию и захватил тоже на пробу две-три старые бутылки... Вы на меня не рассердитесь: завтрак готов, и вот у меня в руке мой особый маленький штопор, который бережно вынимает самую старую истлевшую пробку, не накрошит в вино ни одной пылинки. Это мое изобретение. Умойтесь холодной водой и пойдем есть заячью кашу, которая в этом виде, признаться сказать, тоже есть мое изобретение. Делайте туалет при мне — я не выйду.

— Да вы, однако, изобретательны! — отвечал Фебуфис с маленькой иронией, но без злобы, и, начав поливать себе лицо свежею водою у умывального столика, раздумался и сам над собою посмеивался самому себе в пригоршни.

— Не в самом ли деле самое серьезное и важное для человека не слишком ли близко с смешным, и как оно незаметно одно в другое врезывается и незаметно так крепко сцепляется и спутывается, что становится нельзя разделить: где теперь его заносчивая гордость и как в нее врезалось и с нею сцепилось и спуталось нынешнее его положение, в котором от него во все стороны летят и с чем-то перемешиваются какие-то хлопья и шматочки, и в общем это выходит совсем не резко и не страшно, — в общем тут даже как будто все обстоит благополучно. Даже более того, будто снизошла какая-то нежданная радость. И в самом деле нельзя сказать, чтобы не было неожиданно приятной радостной перемены. Какие томительные и пресыщенные терзаниями дни, — какие мерзкие события и какие мучительные ожидания унизительнейшего положения испытывал он минувшею проклятою ночью, когда приходил в себя и когда забывал себя в полусне. Казалось, что ожидаемый день принесет с собой окончательный ужас и срам от смешения расстройства, мук и скандала, и вдруг все это кончается заячьей кашей... Правда, нет дома жены, и неизвестно, как еще с нею все обойдется, но и то это неизвестно только наверное, но приблизительно можно думать, что и с нею выйдет лучше, чем думалось ночью...

И этот неожиданный гость — дружелюбный, простой и веселый собеседник, полицейский директор — сколько он обнаруживает такта и понимания и как он умно и смело поступает.

Когда Фебуфис вытирает свое мокрое лицо и вытрепывает полотенцем свои мокрые кудри, тот уже стоит возле него и, поправляя дружески ворот его расстегнутой рубашки, говорит ему:

— Она в прекрасном обществе... Половина графини Недды — это вход в большой свет...

Фебуфис хотел послать к черту весь этот большой свет, но директор читает и это в его уме, — он продолжает:

— Этому нельзя быть иначе.

— Почему?

— Ну, как вы хотите — такая женщина, как ваша жена, должна блистать, — это ее назначенье... Покои Недды — это высшая школа всего... Не придавайте значенья тому, что случилось, — это все сгладят... Мало ли с кем ни бывало. Недда все сгладит, и вы будете жить для славы искусства... Вам надо покой, и вы его будете иметь, да... уж вы это увидите!.. Мы об этом позаботимся...

— Вы очень заботливы.

— Да-а!.. Бросьте свои печальные мысли... Все хорошо, все то хорошо, что становится хорошо... И у нас теперь все уже хорошо, лицо ваше много лучше, чем когда я увидал вас, когда взошел в это святилище музы... Идемте, идемте есть кашу.

Гость и хозяин в несколько смешанных ролях и положениях сошли вниз, где новый слуга, сменивший вчерашнего грубияна, прекрасно сервировал стол и прекрасно подал прекрасно изготовленный завтрак и погребец с дюжиною бутылок прекрасного вина.

Директор полиции сам отпер ключом погребец и сам очень скоро доставал и очень ловко откупоривал штопором своего изобретения дорогие вина, не уронив ни в одну из бутылок ни одной пылинки из их старой укупорки.

Все это приправлялось беспечным и живым балагурством в смешанном тоне военной веселости с довольно занимательным уклонением в область житейской философии и даже политических обобщений и юмора.

Бравый полицейский директор держал себя чрезвычайно дружелюбно и говорил так, как будто он заговаривал зубную боль в сердце. Фебуфис чувствовал к нему отвращение и в то же время находил своего рода удовольствие его слушать.

— Черт знает это что? — проходило в его голове, — по какому случаю он тут вертится и хозяйничает, и для чего он говорит, а я его слушаю, и потом тут же наносилось на мысль: — А черт его возьми, пусть его возится и говорит!.. Это меня удаляет, или это гонит от меня

что-то такое, что, если вообразить себе во всей настоящей сущности и начать в это погружаться, то нельзя оставаться в покое и, быть может, не следует владеть самим собою. А ведь он не имеет никакого понятия о том, что же ему надо бы сделать в эти минуты, чтобы остановить что-то происходящее где-то наперекор всей его воле и вредоносное всему его счастью, всей судьбе его жизни!.. Он ненаходчив, он просто глуп — он напрасно когда-то много о себе думал и был смел и боек в сношениях с людьми более или менее деликатных натур, — он умел с отвагой скрещивать острие шпаги с клинком другой шпаги, но с людьми, которые бьют обухом топора, он бессилен... Раз он к ним подошел на удобное для них расстояние, и один их удар упал ему на темя — под ним в голове все помутилось... Теперь уже врывается страх и забота не о том, как уберечь свое достоинство, но... приходит на мысль что-то о своей свободе жить и дышать... что-то до сих пор незнакомое и в то же время страшное и противное...

Полицейский директор представляется близко всего этого, но если ему не противоречить, если с ним не спорить, а сидеть с ним и кушать и не засматривать, что там у него за спиною, то... черт возьми, — он даже удобен, — именно он удобен для того, чтобы не видать, что закрывает собою показная сторона его дружелюбия и ласки...

Все это скверно, но уж если человек на это пошел, если он только пошевельнул умом в этом предусмотрительном и благоразумном направлении, так он пошел... пошел... и пошел... И не останавливайся, и ступай дальше!

Пошел! пошел!

Шпоры сломались, — а жарь клячу нагайкой! Ничего! Ничего! не для чего ее жалеть, — ее это не оскорбит... Она ничего больше не стоит, а меж тем она все-таки доковыляет до того, что ты станешь над ее яслями.

Февуфис в полнейшем благополучии совершал эту скачку и находил удовольствие слушать сопутствовавшего ему товарища, слегка над ним подсмеиваясь в своем уме и слегка поддерживая его словоохотливость короткими замечаниями и вопросами. Речь любезного гостя текла как ручей, имеющий подземные ходы: не видно было, где его настоящий исток, и течение его вдруг неожиданно терялось, лишь только Февуфис вспоминал о себе и сердце его сжималось от сознания унизительных сторон его положения, но лишь это на мгновение отходило, как ручей опять вытекал из-под земли и разливался широко и светло, и по берегам его шли разнообразные пейзажи, на которых происходили ориги-

нальные и живые сцены, частию буколически невинного, частию исполненного драматизма содержания. И все это то выскакивало, то пропадало, как гуськи, наклеенные на передвижную тесьму в детской игрушке. Фебуфис точно то засыпал, то просыпался, и довольно было ему сказать впросонках одно слово, чтобы из уст его собеседника полилась целая повесть.

— Вы настоящая Шахерезада, — говорил он директору, — я никогда до сих пор не знал, что вы такой философ, и рассказчик, и изобретатель!

— О, милый друг, вы еще очень многого не знаете! — отвечал директор. — Все вы, приезжающие к нам из дальних столиц и так называемых «важных центров цивилизации», очень жалки.

— Вот как!

— Конечно. В вас всех слишком много самомнения: вы думаете, что, имея перед нами преимущества в образовании, вы можете сделаться у нас нашими руководителями и учителями. Это ужасная и страшная ошибка, за которую вы часто и платитесь. Нас одолеть нельзя... да... да... Пока мы то, что мы есть, нас никто не раскусит и не одолеет. Образование делает людей нервными и чувствительными, а необразованность сохраняет грубость, а в грубости своего рода сила. Нервный и нежно чувствующий человек никогда не устоит против дикаря, особенно против сильного и самодовольного дикаря. Это аксиома. Припомните прежних людей того времени, когда были пытки, — какие мучения они переносили, а теперь изнывают и убивают себя от душевных страданий. А что такое душевные страдания?

— Однако!

— Э, полноте! Возможно ли сравнивать! Уж поверьте, что сатана не глупей нас, а он, как ни добирался с божьего позволения до Иова, все-таки самым действительным средством признал добраться до его кожи!.. Кожа человеку всегда ближе всего отвлеченного. Чувствительней тела нет ничего, а все нравственные вещи зависят от того, как мы их себе представляем. Вы с своей цивилизацией уже не имеете средств наблюдать это так живо и ясно, как мы: у вас людей уже давно не бьют и наказывают больше нравственно, а мы еще удержали старый обычай, и это дает силу... Да, да, нечего вам улыбаться, — это дает силу, какой нет у вас. Я сам уже испорчен этим так называемым образованием и принадлежу к привилегированному классу людей, которых не бьют, но я по своей службе часто присутствую при том, как бьют, и всегда удивляюсь, как это переносят. Человек просит только дать ему какую-нибудь монетку в рот и все.

— Зачем?

— Зачем монетку-то?

— А он ее грызет, пока его бьют.

— Ну?

— И терпит... Ему легче. Его бьют, а он кусает так, что иногда зубы трещат, кровь изо рта идет... зуб или два выломает и стерпит... Одну боль отвлекает другою.

— Вы рассказываете ужасы.

— Ужасы, да! Я их для того и рассказываю, что они ужасы, а нравственные страдания — это дребедень, это зависит от того, как и что человек себе представляет. От представления зависит все — даже самое понимание вещи. Даже и наши столичные жители, они слабее и жиже тех, которые живут в маленьких городках и в деревнях, и даже они меньше понимают. Там ведь труднее жить. Здесь больше выбор, — тут вы не сходитесь с одним, так можете сойтись с другим. От этого вы небрежнее в ваших сношениях, не боитесь остаться одни среди общего отчуждения, а там не из кого выбирать, и оттого человек научается ладить с другими, чтобы не остаться совсем одиноким, как волк на садке. Отсюда уживчивость и снисходительность.

— То есть равнодушие к добру и злу?

— Если хотите... да.

— И никакого движения, никакого прогресса.

— Да и черт с ним! Он нам и не нужен.

— Браво!

— Браво!.. И выпьем еще эту бутылку.

— Это будет вторая.

— А что за беда! Мы ведь одни, в холостой компании. А я вам расскажу и о прогрессе. Это курьезно и касается отчасти знаете кого?

— Нет, не знаю.

— Это касается самого нашего герцога... Он тогда был еще молод, — его отец, старый герцог, был жив и управлял страною. Он держал сына крепенько, в ежовых рукавицах, но потом, овдовев, попал под влияние одной иностранки, которая внушала ему гуманные идеи... И он стал поддаваться. Она недолюбливала нашего нынешнего герцога, и он ее тоже. У них вышла сцена, и старый герцог послал сына попутешествовать по стране. Это было зимою. Я был тогда молодым офицером и находился в его свите. Я вам потом расскажу, как я в это попал. Это тоже изобретательная история.

Дело было зимою: мы ехали на лошадях, посещая разные города, и принц — нынешний герцог — из всякого места, где мы останавлива-

лись, посылал отцу подробные описания всего, что он видел. Этого требовал старый герцог, может быть, по внушению той же иностранки, которая отнюдь не была зла и действительно была образованна и считала полезным отвлечь принца от однообразия придворной жизни и ознакомить его с страною, которою он будет управлять. Разумеется, из нас, сопровождавших принца, никто не знал, что такое он пишет отцу, а он написал ему такие ужасные вещи, от которых мы испытали жесточайшие страдания. Я открываю еще бутылку.

— Это будет третья.

— Что за беда. — Мы одни, а то, что я вам сейчас расскажу, хотя и давно прошло, но подирает меня холодом и дрожью. Это была настоящая политическая история. Пейте залпом этот стакан за минувшее мое бедствие. Спасибо. Я продолжаю.

Едва мы перевалили все лежавшие у нас на пути дорожные сугробы и, натерпевшись много на неудобных ночлегах, достигли большого города, где нам надо было прожить до получения дальнейших приказаний герцога, как губернатор того города посетил старшего из лиц, сопровождавших герцога, и в величайшей тревоге стал нас спрашивать, где именно мы видели у жителей гранитные столбы. А мы слушаем и даже вопроса не понимаем, про какие-такие столбы? Мы нигде никаких гранитных столбов не видали.

— Как не видали?!

— Так, не видели, да и кончено!

Губернатор на нас глаза выпучил, а мы на него.

— Что же это такое?

— Не знаем!

— Его светлость принц изволил писать герцогу... он сам самолично видел гранитные столбы.

Недоразумение настало общее и поразительное, но тем не менее все мы, к кому ни обращался губернатор, ничего ему уяснить не можем, по одним и тем же местам с принцем ехали и одни и те же пейзажи смотрели, а гранитные столбы, возведенные у каждого дома, просмотрели... Губернатор не верит и очень обиделся, что он и его чиновники это проморгали и мы не заметили, а вот принц заметил и описал... И какие же подлые люди, эти жители: как они это выдумали, чтобы при каждом доме громоздить гранитный столб... и для чего это им?.. и ведь привезти всюду гранит — это сколько надо хлопот и расходов! Какая же цель!.. Какая цель? Чтобы все это проделать, надо иметь цель! Герцог так именно это и понимает, — он на это и обратил внимание и спраши-

вает с нарочным: «Немедленно доложить: с чьего дозволения и с какою целью возникли вышеупомянутые гранитные возведения, усмотренные принцем».

Все, сколько было при губернаторе нарочных и курьеров, — все заскакали во всех направлениях, чтобы видеть гранитные столбы, и возвращаются назад, говорят: ехали без отдыха, ночей не спали, коней позагоняли и себя измучили, а гранитных столбов не нашли. Губернатор закричал, затопал и начал неслыханно браниться: «Ах, вы такие-сякие, прохвосты этакие! Все вы хитрите, все продаете начальство, — ни Бога, ни начальства не боитесь — все заодно с крамольниками и покрываете их — не хотите сказать, зачем они гранитные столбы выстроили! Сами же будете за это наказаны! Это на нашу же голову... на наш же конец, лиходеи вы этакие и мздоимники... Но я теперь сам во все концы поеду и сам увижу и все узнаю...» И действительно, сейчас же почтенный старичок собрался и поехал и метался во все концы, как верная собака, которая потеряла в толпе хозяина, а однако, и он сам нигде гранитных столбов не нашел... Вернулся этакий исхудалый и тихонький и говорит: «Действительно нет. Канальи жители их, вероятно, убрали и не признаются, где спрятали... Таят это, таят... Очевидно, умысел... умысел очевиден! А для чего? к чему? И главное против кого?.. Конечно, против нас... Сделать несколько обысков и арестов!»

Поскакали люди: где могли, все перешарили и, кто не мило в глаза взглянул, всех заарестовали, так что и сажать стало некуда, а гранитных столбов нет как нет, и все арестованные клянутся и божатся, что никогда их и не было. — «Что же принц врал, что ли? Кто это смеет сказать?» — «Да этого никто и не говорит, а только мы столбов не видали». — «А если не видали, так губернатор приказал попарить их...» Такое техническое выражение... Но только парили не всех, то есть не каждого, а из десяти человек одного... Девять отсчитают и прочь, а десятого парили... и жарко парили, но ничего от них не узнали... Закусит монетку зубами, да и оттерпится, будто ни в чем не бывало. Тогда...

— Однако здесь, мне кажется, жарко стало?..

— Тепло.

— А так как мы сейчас еще открываем бутылку, то... я думаю, нам можно себя облегчить и снять сюртуки долой.

— Пожалуйста, пожалуйста!

— Жду примера хозяина. Вот так!.. Прекрасно, — теперь легко. А эта бутылочка будет всем прежним сестрам старшая.

— Она будет уж пятая.

— Ну, может быть, и четвертая... Все равно: она идет за благополучное окончание с гранитными столбами.

— Да, они интересны, — сказал, пробуя вино, Фебуфис.

— Нет, вы еще подождите, они разъяснятся!

— Больше того, что было сделано, — нечего уже было и делать. Знаете, что Вольтер говорил про самую хорошенькую девушку?..

Фебуфис кивнул головою.

— Ну, да! — продолжал директор. — Нечего и говорить: более того, что есть, никто ни у кого не добьется. Притом же время подходило к весне, — надо было обрабатывать поля, и жители стали просить принца, чтобы велел их отпустить. Принц в это вмешался и спросил: за что их взяли и держат. Губернатор отвечал, что за известные его милости гранитные столбы, которых теперь нет, и, куда они делись, никто не сказывает. Принц говорит:

— Да, я видел гранитные столбы и удивлялся, для чего они поставлены у домов.

— Ну вот, — говорят ему, — а теперь их нет.

Принц удивился: «Сам я своими глазами видел, говорит, а вы все лжете: отпустите их, пусть едут к себе землю пахать и собирать подати, а я назад поеду, сам вам столбы покажу». Людей распустили, а губернатора за несмотрение сместили и прислали нового, строгого-престрогого, чтобы смотрел, как бы птица не пролетела, а зверь не прорыскнул, а принца отец домой позвал, чтобы помириться с ним и все от него лично узнать о столбах и о других непорядках. Мы и поехали назад в столицу: путь веселый, весна, все зелено, все расковалось от снега и льда, леса зеленеют, сады цветут, реки струятся и блещут, — блеяние стад, пение птичек, благоухание лугов... просто прелесть... Одно только всех нас смущает, что принц наш невесел! Что бы тому за причина! А принц сам объяснил нам эту причину: «Что же это значит, — говорит, — отчего так весь пейзаж переменился, и я не вижу тех гранитных столбов, что под окнами у домов стояли?» И мы их тоже не видим и не знаем, что ответить.

Принц приказывает: «Обратитесь из-под руки, узнайте, куда их девали». Обращаемся и так и этак — никто ничего не открывает. Принц рассердился и говорит: «Вы ничего не умеете, — я сам узнаю. Это надо лаской». Увидал в одном селе в самом крайнем доме старик старый-престарый в старой же шубе сидит у порожка на скамеечке, греется. Приказал остановить лошадей и подзывает его к себе:

— Скажи, — говорит, — старичок, сколько тебе лет?

— Ох, ваша милость, — отвечает, — очень уж много я лет прожил, так что и жить больше не хочется.

— Что же, будет тебе от роду лет восемьдесят?

— Чего там, говорит, восемьдесят, моему сыну теперь уже восемьдесят, а мне и все сто пятнадцать годов.

— А память у тебя еще свежа?

— Что видел в свою жизнь — все и теперь как на ладонке вижу.

— И не солжешь?

— Я и сроду не лгал, а уж теперь зачем лгать-то стану перед могилой?

— Ну, хорошо, — говорит принц, — я тебе верю и во всем, что ты мне скажешь, поверю; скажи ты мне только, сделай милость, правду — что это такое значит: ехал я этою самою дорогою зимней порою по этим самым местам...

— Ну, хорошо, — отвечает старик, — помню, как ты ехал, — у нас тогда серого мерина загнали.

— Хорошо, я тебе за мерина деньги отдам, а ты мне скажи, что это значит, что я в ту пору видал возле каждого дома перед пустым окном стояли столбы каменные, и когда солнце на них ударяло, то был блеск от них. Отчего я нынче их не вижу? Какие они такие были и куда вы их убрали? Только отвечай мне, сделай милость, как старый человек, по чистой по совести, — ничего не бойся.

А старик отвечал:

— Мне, сударь, тебя бояться и нечего, и о чем ты говоришь, на то тебе дам весь ответ по чистой по совести. Дома-то у нас, как видишь ты, деревянные, в два этажика: наверху сами живем, а внизу держим скотинушку, а пустое окошечко без рамы, под которым тебе столб зрелся, у каждого в сеничках, и что наши бабы-нехи метут, скребут и с гребней стряхивают, все, не прогневайся, — за то, за пустое окно наземь мечут и сюда из лоханок и помойцы льют... Летом тут и курка, и ворона ходят, лапами копают, и свинья рылом роет, а как морозцы пойдут, им рыть неудобь станет, и кучки-то обледенеют, да все вверх растут да растут, да где пониже, а где и повыше, до самого окошка вырастут... Кто едет мимо большою дорогою да смотрит без толку, тому и кажет, будто стоят столбы каменные и на солнце блещут, а они совсем и не каменные, а из домашнего сметья да из помой смерзлися. Когда ты оглядел их в студеной зиме, не дива, что они тебе в ту пору каменною глыбою зрелися, а как ныне Бог нам послал ближе солнышко — кучки те на угреве — не прогневайся — и растаяли, и разрыли их вороны и куры со свиньями, а что осталось, то талой водой в ручьи снесло.

Принц и губы вперед вытянул, швырнул старику денег на мерина, а других запряженных меринов плетерком побуждать велел, потому что

дело это с столбами ему не понравилось, и он очень на солнце рассердился, и не хотел этот случай отцу пространно рассказывать, а все поправил тем, что губернатору высший ранг достал, да и нас не забыл, а иностранку отставили.

— За что?

— Не умела держаться как следует.

— Что же она сделала особенного?

— Особенного ничего, но непрактична — слишком брала на бескорыстие. Ее припятнали и спустили.

— Попросту сказать — она прискучила герцогу, и он пожелал ее заменить иною.

— То-то что нет, а его заставили... ее припятнали.

— Как же это у вас припятнывают?

— Ах, друг мой, как же это враз рассказать? — это целое искусство, или даже культ, и притом наш оригинальный и непосредственный культ, развитый на нашей почве. Вы ведь к нам так жестоко несправедливы, что отрицаете наше значение в культуре, а это невозможно. Мы возьмем свое, да и непременно возьмем. И вы будете наказаны, если не нами и не нашей хитростью, потому что мы очень добры, то Богом, который всегда за нас заступается, потому что Он любит простоту, а мы несомненно просты и разрешаем себе самые сложные и самые деликатные проблемы, как никто иной на свете. Вы спрашиваете, в чем оригинальность культа? Да вот хоть в самом важном и в самом щекотливом, возьмем хоть семейное положение — отношения между мужчиною и женщиною... Позвольте, — в других странах на этот счет построено множество теорий и делаются постоянные опыты, а ведь все чистейший вздор и ни к чему основательному не пришли.

— А вы пришли?

— Конечно!.. Мы не *пришли*, а мы всех *превзошли*... Да, да именно превзошли, и это не теориями, не рассуждениями, а одним превосходством натуры и такою умственною одаренностью наших женщин, за которые им нет равных, и им будет принадлежать первое имя в решении вопроса, который до сих пор еще не решен нигде.

— Что это за вопрос?

— Хотите знать?

— Да... отчего же нет? Ваши рассказы любопытны.

— Любопытны! И только?! Они, мой милый, назидательны и полезны! И то, до чего я теперь дошел и чего намерен коснуться, то всего прежде сказанного и любопытнее, и назидательнее, и полезнее, и это так и должно быть, и даже не может быть иначе, потому что касается

венца творения, женщин, этих милых, всесовершеннейших существ, этих душек, дающих своею красотою и своими ласками смысл жизни мужчины:

Мы живем, пока нас любят,
Мы любимы быть хотим!

Хорошая, черт возьми, песня, но я уж разучился петь и лучше просто открою новую бутылку и выпьем ее за наших милых очаровательниц и губительниц...

— Это будет четвертая бутылка.

— А черт с ней, хоть бы она была и шестая. Зато я тебе (при этом слове Фебуфис тихо вздрогнул и сдвинул брови, директор продолжал, не обращая на это никакого внимания), я тебе теперь действительно покажу нечто такое, чему ты нигде не встретишь достойных сравнений. Оросим вином площадь наслаждения.

Они чокнулись стаканами, налитыми из новой бутылки, и оросили площадь наслаждения, а потом директор сбросил даже жилет, закатал вверх рукава и, выставив вперед на столе локти своих покрытых волосатою порослью рук, начал сказание, глядя в упор в глаза Фебуфису.

Фебуфис же находился под двойным и притом усиленным давлением: его грузило и туманило выпитое вино, и он еще продолжал его пить и чувствовал, что в эту минуту и в этой обстановке это для него не вредно, а даже годно и хорошо. Он знал гораздо более хороших песен, чем полицейский директор, — и одну он знал такую, которая была нова в то время, когда он уезжал из Рима, ее написал его соотечественник на его родном языке, и ее пели все веселые парни... Ему приходят на память эти слова:

Диким разгулом потешьте,
Дикий разгул веселит,
С диким разгулом возможно
Горе любви позабыть!

Отлично, отлично, и притом — совершенная правда! Но только какое же «горе любви»? В чем, собственно, сокрыто жало его для Фебуфиса?.. Это уже куда-то уплыло и где-то качается, как пробочный поплавок на водной зыби, а тут, близь самой души, что-то жмется, вьется и вспомнить не дается, а между этими призрачными и туманными видениями тяжело в самую затишь души въезжает волосатый полицейский директор. Он качается, стоя на толстой, плоскодонной черной лодке,

под которою хлещет вино, и сама лодка качается и шуршит не то по песку, не то по тине и осоке, а он выставил обнаженные локти острыми углами вперед и входит ими вперед, внутрь самой души, чтобы разъединить и разорвать в ней все, что еще цело и сцеплено с сердцем.

Он то шуршит, то умолкает, тогда слышно, как льется вино, и Фебуфис все слушает, а тот говорит.

— Философы врут, да и все врут, будто женщины какие-то особенные существа, а не такие же точно люди, как мы. Это вздор, и притом вредный. У французов завелась мода помогать женщинам литературным путем. Пустяки! Надо не тем. Теперь звонят про Жорж Занд. Появилась, и, правда, пишет, а что же такое? «Rose et Blanche», «Indiane», «Valentine»... Что же такое? Лучше бы продолжала рисовать позабористее картинки на табакерках. Госпожа Дюдеван!.. Не госпожа Дюдеван, а у нас есть женщины, которые лучше ее решили, что женщина так же точно способна ко всему, как и мужчина. Говорят, что мужчина может изменить жене и потом опять к ней возвратиться, и семейная жизнь его не понесет никакого ущерба, потому что он, хотя и изменит жене, а все-таки ее любит, меж тем как женщина, если уж отдалась другому, то она первого не любит, и муж ее должен быть несчастлив, и дети несчастливы, и дом, и семья, и сама она — все пропало и дома, и на поле. Погибель всего!.. Госпожа Дюдеван против этого что-то немует!.. да все это не то, все не то, — все с драмами и с трагедиями... Боже мой! Так ли это важно, как говорят? А? А у нас это понято гораздо ясней. Я сейчас расскажу: вообразите тоже пейзаж — муж — храбрый моряк средних лет, доброго рода, в порядочном чине... Жена — молодая дама ему совершенно под стать, лет в двадцать восемь и красоты непомерной. Ум такой, что на двух министров довольно, а добродетель насаждена на адаманте. К мужу любовь самая нежная и страстная, — к детям сугубо. Замужем десять лет. Детей пять человек, — воспитания и выдержки идеальной. Приказаний словесных не ожидают, а взгляда материного слушаются. Что ни пожелают сделать — прежде в лицо ей посмотрят и в лице читают. Не в глазах, а просто в лице. Она может смотреть в сторону, может с кем хотите разговаривать, а они взглянут на нее и весь приговор свой прочтут — что можно и что нельзя. Она на часы посмотрит — значит, идти спать: встают и прощаются; она на вещь взглянет — а они уже знают, куда отнести или что подать. Словом, не дети, а музыка и идеал. И сами, разумеется, счастливы и спокойны, и здоровы, и родители тоже. Хозяйство таким же манером: сытое, достаточное — всем хорошо и без шума, без жалоб, без малейшего упоминания о прислуге. Муж — счастливейший из смертных: он у нее

всегда и в сердце, и в голове, и в объятьях... Натура живая, чуткая и быстрая. Глаза слегка жмурит, тон лица горячий, матовый и бледный... Не искрится и не играет, а сшибет с ног, как замороженное шампанское. Немножко большерота, но линия губ удивительная. При маленьких ртах такой влекущей линии и не бывает. Те как-то свертываются фунтиком. Сердце открытое, смелое, честное и верное... Вы обращайте внимание на этот портрет.

— Я обращаю.

— А я продолжаю. Пленительность такая, что всё к ней всех влечет и тянет, и всё, что к ней приближается, получает от нее отблеск, отделку... всё становится лучше и совершеннее. Что в древности были в Элладе философы, то была она для окружающего общества... Разумеется, в своем роде. К ней возили молодых людей, чтобы они набирались хорошего тона и учились держать себя в обществе. Дом ее был настоящею, хорошею светскою школою, где прививалась не одна внешность, а и настоящие благородные идеи. Именно она всего более и велика была в сфере идей... Она даже была немножко того... на нее посматривали и следили за ней, но это было напрасно: ко всему, что она не оправдывала, она относилась только отрицательно — как будто это ее не касалось, или, по крайней мере, не интересовало, хотя на самом деле и интересовало. Она будировала на особый манер: ни о самом герцоге, ни о лицах герцогской семьи в ее гостиной не говорили, и знали, что такой разговор там невозможен. А если кто-нибудь ошибался и по неосторожности хоть как-нибудь заводил такую речь, от которой открывался свободный переход к вопросам, касающимся «запрещенных лиц», то такого гостя больше не приглашали. То же самое наблюдалось в вопросах веры и набожности: баронесса считала эти вопросы «слишком серьезными для разговоров в гостиной». Нравственно она была безупречна, но свободна. Герцог одно время очень сильно искал ее снисхождения, но достиг только того, что целовал ее руку и говорил о ней с нескрываемым удивлением и называл ее Мимозой. Муж ее, барон, был счастливейший муж, а предосторожность ее к сохранению неприкосновенности его и своей чести была так велика, что, когда герцог назначил его в морское кругосветное путешествие на три года, баронесса, проводив мужа, сейчас же оставила столицу и уехала в свое деревенское поместье, находившееся в отдаленной лесной местности герцогства. Она уезжала туда, чтобы избегнуть всяких толков и время своего невольного и тяжкого вдовства при живом муже посвятить исключительно воспитанию детей. Это всем казалось ужасным — «похоронить себя заживо на целые три года в дремучих лесных дебрях», но ее это нимало не ужасало. Ей гово-

рили, что она трех лет одиночества не выдержит и вернется в столицу, «где все-таки есть люди», а она не спорила, но говорила, что «и в деревне есть люди». — «Ну, какие там люди?» — А она улыбалась и говорила: «какие мне теперь нужны». Над нею смеялись, называли ее Пенелопою, сам герцог, шутя, угрожал ей «приехать к ней охотиться в ее дебри и перепутать там ее пряжу». Она отшучивалась, говорила, что это «слишком далеко» и снисходительно улыбалась, вероятно, потому, что она никогда не смеялась.

Эту ее особенность я, кстати, забыл сказать, что она имела веселый ум и веселый взгляд на все, но никогда не смеялась, как все прочие, а только улыбалась, но улыбалась так, как будто небо... или мы не знаем, что такое небо, а как будто самая суть жизни из нее вам улыбалась...

— Вы говорите об этой баронессе слишком с большим восторгом!

— Непременно! Она этого и стоит. Вы меня оскорбите, если сейчас же не выпьете разом целого стакана за ее здоровье.

— А она еще здравствует?

— Да, и вы, может быть, увидите ее прелестные черты, которые были бы достойны вашей кисти.

— Но в ней, по вашим словам, есть немножко синий чулок?

— Синий чулок!.. Ха, ха, ха! Ты отгадчик... ты такая же премудрая крыса Онуфрий, как все, и в том-то и дело, что она одна всех умнее и выше. Пей до дна твой стакан. Пейзаж сейчас изменяет характер.

Лесистая, дикая местность. Сосны и ели до облак, ароматические испарения смолы, бальзамический воздух, цветы на полянах, закрывающие зелень травы. У корней прохлада и ягоды разных цветов и разного вкуса... грибы как эмалью покрыты. У пригорков ключи чистой родниковой воды, от которых вьются в ложбинках и тихо журчат кристальные ручьи. Пение множества птичек. Дятел где-то стучит, кукушка кукует... заяц прячется от орла и попадает к лисице... Можно видеть, как идет вся эта жизнь, но нехорошо заходить далеко: в оврагах есть волки, в хворостниках медведи, а в лужинах, в которые местами разливаются лесные ручьи,— лежат и скрываются от жаров кабаны... У них страшные клыки и бока покрыты толстым слоем смолы, в которую влипли и кора и сосновые иглы... Люди встречаются редко, и это всегда жалкие люди, мелкие, робкие, бледнолицые, с бесцветными и мутными маленькими и слезящимися глазами, босые или с больными ногами, обернутыми в кору, и сами завернутые в бесцветное тряпье и лохмотья. Они не поют, а едва стонут, и не говорят, а только в случаях крайней необходимости тянут из себя какое-то подобие звуков, для которых нет ни сло-

варя и никаких фонетических законов... Несмотря на мою тогдашнюю молодость, я понимал всю настоящую дикость этой обстановки. Зато дом, или château,[1] который построили себе сто или более лет тому назад владельцы здешних гор, лесов, озер и ручьев, и оврагов, резко выделялся от нищеты местных крестьянских хижин, рассеянных по предгорьям и укрытых так, как будто их надо стыдиться. Замок был не очень большой и не очень красивый, но стильный, напоминавший рыцарство и средние века: фасад был ровный со всех сторон — ромбоидальный ящик, вокруг всего здания ров, во рву осока и тростник, потому что там есть ключи и есть всегдашняя влага, над воротами башня, до половины которой можно всходить, а дальше нельзя...

— Пот...

— Что?

— Пот-шему? — спросил Фебуфис.

— Ах, ты спрашиваешь, почему нельзя дальше всходить на башню?

— Дда.

— А потому что лестницы нет... Крыша башни обрушилась и обвалила потолок, и обрушило лестницу... Так это и заглохло и одичало, и на самом верху этой башни, между зубцами росла тощая, но длинная рябина, которая Бог ее знает на чем держалась, но во все три года, которые мы там прожили, приносила свои плоды. Они краснели долго-долго во всю ненастную осень и оставались бы на зиму, если бы их не обирали дрозды, по которым баронесса не позволяла стрелять по чувству отвращения к ненужному убийству.

Замок этот был построен для одной несчастной королевы, державный супруг которой находил удобство держать ее здесь, в отдалении от веселого двора, с которым она не гармонировала, а потом, когда она здесь умерла или была задушена, замок был приспособлен к охотничьим надобностям овдовевшего супруга, но в первое же его посещение умершая королева явилась ему во сне или в самом деле, и у них произошло что-то такое неприятное, что король не захотел более ни охотиться на здешних кабанов и медведей, ни оставаться ужинать и ночевать в этом замке с тощей рябиной на башне.

И черт бы побрал эту рябину: говорят, будто она произошла таким образом, что скорбная королева, скучая несносно, бросила вверх семечко, а ветер его подхватил и занес к зубцу, где было несколько пыли. Отсюда и пошло это деревцо, которое называли «тень королевы»... Но все это, разумеется, было уже давно: больше полустолетия замок этот

---

[1] за́мок (*фр.*)

после коловращений судьбы по щедрости завоевателя и его милости к предку наших баронов составил теперь их фамильную собственность.

Дом, или, точнее сказать, замок, был давно не обитаем никем, кроме глухого старика сторожа Иохима, который в цветущую пору своей жизни, будучи солдатом, участвовал во взятии этого замка у инсургентов и теперь здесь же доживал свой век с больною дочерью, подслеповатою, золотушною девушкою лет восемнадцати. Жена этого сторожа и мать этой девушки давно умерла, упав по своей неосторожности внутрь башни, на гребне которой росло рябиновое деревцо. Но, несмотря на долгую необитаемость замка и его отдаленность от всякого человеческого жилья, а также на окружающую его дикую лесную местность, — он не производил никакого страшного, или отталкивающего, или унылого впечатления. Напротив, он смотрел очень гостеприимно, как укрытый в лесу сказочный замок доброй лесной феи, и, благодаря чистоплотности и рачительности старого Иохима, весь содержался в отменном порядке. Мебель старинная вся в чистоте и стоит вдоль стен, окна к приезду баронессы вымыли... Помещения множество, и комнаты все большие с редкими окнами. Во многих окнах стрельчатые верхи забраны разноцветными стеклами, двор маленький, мощеный камнем, вокруг всего здания коридор с окнами на этот дворик. Посреди двора колодезь с каменной обкладкой, — ворота дубовые с массивными железными петлями и замком, который запирался тяжелым ключом в пол-аршина длины. Все постройки из дикого камня, снаружи ничем не отделанного, но внутри покои оштукатурены и раскрашены густыми, как будто цельными красками. На стенах чьи-то старинные портреты и другие старинные вещи. Разместились удобно и очень просторно: баронесса взяла себе спальню и готический зал с окнами на север, чтобы ей удобно было заниматься живописью, в которой она была искусна так же, как в музыке, потом шла «тронная зала», — не знаю уже, чей там был прежде трон и почему она так называлась. В ней баронесса играла на фортепиано и на арфе, на другом фортепиано играла воспитательница детей и друг баронессы, строгая-престрогая особа Камилла, одних с баронессою лет. Они были большие друзья, и Камилла обладала такими разнообразными знаниями, что могла учить всему не только маленьких детей, но даже могла дать образование и существу взрослому. Это и открыло удобство к тому, чтобы взять для старшего сына баронессы молодого человека, который мог обучать мальчика отечественному языку. Он сам тогда был еще очень молод и собственное его образование было не окончено, но он имел слабое здоровье, и для поправления его груди ему нужны были тихая жизнь и лесной воздух. К тому же, он был отлично рекомендован

баронессе с нравственной стороны, и она хотела оказать ему пользу и взяла его для занятий с сыном. Родители юноши считали это и за величайшее счастье и за непомерную честь, так как имя баронессы стояло, как я сказал, чрезвычайно высоко, и молодой человек в ее доме при постоянном с нею общении непременно должен был пришлифовать к себе и все лучшие манеры бонтона, и все добродетели, и даже познания, так как Камилла заключала в себе целый магазин знаний. Он будет учить мальчика отечественному языку, а его воспитают на все руки и привьют ему все добродетели.

— И вдруг... что же случилось?.. догадаешься ты или нет, что случилось? — Фебуфис недоуменно покачал головой.

— Итак, ты не очень догадлив... Во мне, я вижу, больше художественных дарований, чем в тебе дипломатических или полицейских. Но все равно: пьем за здоровье Камиллы!.. Да, за здоровье многоуважаемой и строгой Камиллы.

В противуположность или в контраст с баронессой Камилла была нехороша, и даже очень нехороша. Она была учена, как мужчина, и в ее наружности было много мужского и потому отталкивающего. Это была массивная, широкоплечая и полная фигура с широкою, но неразвитою в известных очертаниях грудью, смуглолицая, с карими глазами, большим чувственным ртом и необыкновенно сильною волосною растительностью. На голове у нее была целая туча густых и толстых коричневых волос без всякого блеска, на верхней губе черные усы, как у юнкера, на щеках темный пушок, а на подбородке пучки... пучки... Кентавр!.. Ты понимаешь — он погибал! Цвет робкой юности, нежные листки asperula odorata[1] должны были довременно увять под сению махрового tulipa silvestris.[2] Я, кажется, недурно и для щекотливого места живо рассказываю?..

— Да.

— Но я не погиб, мой друг, не погиб, а, напротив, все это послужило мне в пользу и привело меня в то состояние, в котором ты меня видишь, которому многие напрасно завидуют. Но... он много вынес...

— Почему один раз говорится «я», а в другой раз «он»?

— Разве я сказал где-нибудь «я»?

— И даже не раз.

---

[1] подмаренник душистый (*лат.*); народные названия: ясменник, майский цвет, чайная трава

[2] тюльпан лесной (*лат.*)

— Ну, это потому, что я пью вино... А ты меня крепче!.. Итак, позабудь «я» — это lapsus linguae[1] — читать должно «он» — безвестный бледно-розовый юноша asperula odorata и tulipa silvestris, или лесной тюльпан. Юноша сделался жертвой ее неукротимой любви... Это было слишком удобно и слишком соблазнительно... мы ведь все жили в лесу, в непроходимой дебре, отдаленные на огромное пространство от всего образованного мира... Дети и мы... нас трое людей, которые могли вместе сидеть, беседовать, заниматься музыкой, науками, чтением и... сюда же подкралась любовь... с одной стороны, именно со стороны мужчины, любовь робкая, ничего не смеющая и покорная, — любовь невольницы, любовь одалиски, а с другой — с женской — отвага, смелость и натиск и... оригинальность... оригинальность. Пьем за здоровье обеих! Вот так. Я продолжаю.

Не было слов о любви. Она пришла немая, как nympha silvestris[2] и овладела. Я это помню... О! Я этого никогда не могу забыть. Какая это была ночь! В лесу бушевала гроза, страшная гроза и буря, могучие сосны трещали и многие валилися с корня, испугался сам леший и уселся наверху, в зубцах башни — уселся и стал посвистывать. И сейчас жутко вспомнить... Это случилось после страшно жаркого дня... Гроза пронеслась, но воздух освежался нескоро... показалась луна, но ветер все еще с силою дул и шибко гнал облака. Было душно под сводами старинных покоев... Юноша встал, поправил маленькую ночную лампу, которая горела в узенькой нише в стене его спальни, и вышел в коридор. Здесь было свежее, вероятно потому, что старинные двери у входов неплотно сидели на своих высоких окованных медью порогах... Даже было чувствительно приятное течение воздуха. Удалявшиеся молнии еще изредка сверкали и освещали длинную нить коридоров, которые на мгновенье вытягивались при свете и мгновенно же вдруг исчезали во тьме. Рябина на верху башни трепалась по гребню мерно, как маятник, и секла ветвями... Лунное освещение, заменявшее блеск молоньи, было прекрасно... Я хотел им любоваться как можно больше и дольше, — хотел им насладиться, потому что мне было тяжело и невыносимо скучно... Я уже давно устал от этого ужасного уединения и едва ли бы не сошел с ума, если бы в жизнь мою не ворвались новые ощущения, переполнившие для меня все последующее время постоянным страхом, не оставлявшим места ни для каких размышлений. Ску-

[1] обмолвка, оговорка (*лат.*)
[2] лесная нимфа (*лат.*)

ка была позабыта за леденящим страхом, который начался с событий этой ночи.

Роковым шагом я должен признать то, что я взлез в коридоре на высокое стрельчатое окно. В самом деле, я и теперь еще не знаю, как это случилось, или, лучше сказать, как я мог сделать это восхождение, не будучи отменным гимнастом. Стена была ровна, как все ровные стены в хороших постройках, и выкрашена масляною краскою, от которой ее поверхность сделалась еще глаже, а время и трение, которое она претерпевала когда-то от прикосновений.[1] Каменные подоконники приходились в уровень с головою рослого человека, и при этом они были положены не прямо и ровно, а скошенною плоскостью вниз... Они были гладко сполированы, и на них невозможно было устоять иначе, как крепко держась руками за оконную раму. И я именно очутился в этом положении. Повторяю — я не могу вспомнить и не могу понять, как я взлез на одно из этих окон... Я помню только, что мне было невыносимо душно, что меня гнала ужасная, удушливая тоска и мне хотелось видеть что-то дальше стен и дальше кивающей с башни рябины, и я тут очутился и стал хвататься руками за гладкие переплеты дубовой рамы, которые у меня выскользали из рук, и я едва хватался, как сейчас же опять их упускал и стучал по свинцовой оправе разноцветных стекол и, вероятно, производил значительный шум, потому что сначала в двух противуположных концах коридора показались две белые фигуры с горящими свечами, огонь которых мгновенно был погашен порывом сквозного ветра, потянувшего в открытые двери, и что затем дальше произошло — я не помню. Или мною овладел испуг при виде белых привидений, или я был предрасположен к какому-то болезненному забытью. В определенном роде я только помню, что будто кто-то говорил обо мне, будто я лунатик...

— ...Те!.. лунатик!

— Ай, лунатик!

Потом руки мои сомлели, колена подкосились, подошвы соскользнули с каменного откоса, но я не расшибся, я не страдал, я все позабыл, и жизнь моя пролилась, как вода из опрокинутого на жадную землю сосуда... Только где-то будто вдалеке, будто не наяву, а во сне, не словами, а вздохом кто-то кому-то шептал все одно: «Бога ради! Бога ради!». И в этом шепоте было все: и страх, и просьба, и моленье, и что-то такое, чего я не знал и что мне становилось знакомо впервые...

— О, Бога ради! Бога ради!

---

[1] Так в автографе (примеч. сост.).

Без сомнения, со мною что-то происходило вне порядка, но я ничего не помню и, ох, зачем я этого не помню!

I

На другой день все шло обычным чередом. Я проснулся сам в свое время, но не начинал дня с того, чтобы погасить свою лампу. Она была уже погашена. Из этого одного я мог получить удостоверение, что не все представлявшиеся мне происшествия минувшей ночи были галлюцинацией или иллюзией. Очевидно, был момент, когда мой светоч погас, — огонь, уныло обливавший слабым светом высокий покой, под сводами которого неслись и сгорали мои юношеские мечтания, был задут, и я остался во тьме... в непроглядной тьме... Да, это было так! Мне стало не то воспоминаться, не то представляться, что я даже будто видел лицо и как на этот огонь дунули... какие-то большие губы... Ах, именно это были воспоминания, и они понеслись — и поплыли одно за другим, одно за другим, одно вызывая другое, и одно другим застилая... Самый опытный человек, может быть, не разобрался бы в том, как вести себя после такого случая, в котором мечту нельзя было отделить от действительности, а что мог изобрести для своего положения бедный юноша, воспитанный под крылом нежной матери и непричастный ни к каким опытам жизни? О, мой друг, пожалеем его и выпьем, чтобы поддать ему больше смелости, которой у него совсем не оказалось до того, что он взошел к завтраку в столовую на колеблющихся ногах и не смел поднять глаз ни на баронессу Зою, ни на Камиллу. Он знал только одно, что если баронесса станет ему делать выговор, то он упадет перед нею на колени, будет умолять ее простить его безумное поведение и потом завяжет свои вещи в носовой платок, взденет этот узелок на конец палочки, закатает панталоны выше колен, чтобы переходить лесные ручьи, и пойдет в изгнание...

У него уже была приготовлена и палка, с которою он должен был уйти, и был и план, что он будет с собою делать. Назад в столицу он ни за что не пойдет. Это и далеко, и не отвечает более его положению. С одной стороны, он будет не в состоянии рассказать ни своим, ни чужим, за что он изгнан из замка ранее трехлетнего срока, а с другой — он имел совесть, которая не позволяла ему легко усыпить себя за все, что ему представлялось с того момента, когда огонь погас... Нет, он ре-

шил с собою не церемониться и ни на какой компромисс не пойдет: он уйдет в лес, выроет себе где-нибудь в сухом холме землянку и станет жить один, читая назидательную книгу и разводя на грядках горох, лук и огурцы... Со временем, через много лет, когда все, что было, позабудется, и он достигнет святости, — тогда что-нибудь переменится, — ему будут представляться видения не только в кофтах, но даже и без кофточек, но тогда ничто такое ему не будет опасно. Он будет знать, что стоит не обратить на это внимание, и покой нимало не будет нарушен.

Но вот в чем вопрос жизни: может быть, все это — и стена, и покатый откос, и удушливый воздух, и яркие молоньи, а с тем вместе и обе фигуры — все это было мечта, потому что дамы ему не говорят ничего! Да, да, — ровно ничего!.. Ни намека, ни звука, ни мины, ни выражения... С чего же он может начать?.. С чего?.. Мой Создатель!.. да смилостивитесь же вы, господа, над положением бедного ребенка. Ведь он иначе заплачет и кто-нибудь должен будет его утешать.

Это так и случилось. Он насилу высидел за завтраком и потом плакал под деревом; обед ему не принес ничего нового, и он опять поплакал в своей комнате, а перед вечером играл в зале с обеими дамами в волан и ушел к себе усталый, тщательно осмотрел свой ночник в зеленой стенной впадине и заслонил его бронзовым щитком, и лег, не зная, что приведет ему будущность, и... опять видел сон или виденье, и опять его огонь погас, и щиток, поставленный с вечера как следует, лежал теперь брошенный возле угашенной плошки... И затем опять день покоя, и опять огонь погас ночью.

Это было что-то вроде «Происшествий в замке Мадзини» или вроде какого-то иного из романов леди Радклиф... Бьет полночь, и через пять минут в коридорах тихое движение, на железную ручку двери спальни юноши надавливает осторожная рука, дверь открывается и входит белое привидение... и оно направляется прямо к впадине, где стоит ночной огонек... одно дуновение уст — и нет его: огонь погас, и довольно нежные, но очень сильные руки удостоверяются, не подвергся ли он опять несчастному припадку лунатизма... И так шло постоянно в течение довольно долгого времени и никогда не разъяснялось никакими разговорами ни на каком языке, кроме языка лобзаний... страшных, сильных лобзаний, при которых осязательны были крупные лакированные зубы...

Вот что сделалось постоянным правилом жизни несчастного молодого человека, которого, пожалуй, можно было бы спросить; почему же он не запирал свою дверь изнутри; но ведь я вам, кажется, уже доклады-

вал, что по роковому стечению обстоятельств в старинных дверях отведенного ему покоя не было внутреннего запора, а прилаживать что-нибудь подобное после лунатического припадка на подоконнике молодой человек не считал удобным. Он раз заставил было дверь креслом, но это не помогло: кресло было отодвинуто и... огонь погас! Это делалось смело, потому что за несчастным ведь надо было наблюдать... он ведь был лунатик... А потом он наконец и сам привык к своему положению, и, черт возьми, — ведь надо же иногда говорить правду, — а правда теперь была в том, что юноша уже и не видел нужды баррикадироваться и не искал разъяснений. Он имел настолько сметливости, что один раз подкараулил входящее привидение и, усмотрев в нем что-то как будто знакомое, открыл уста и прошептал:

— Бога ради!..

Но теплая ладонь полной руки накрыла его лицо, и в ответ ему пронесся тоже тихий шепот:

— Бога ради!

На том все объяснения кончились, и бедняжка после того чувствовал себя совершенно свободным от всякого сверхъестественного страха, но зато страх простого естественного свойства мучил его беспрестанно. Он никак не мог узнать, внимание Камиллы к его лунатизму известно или неизвестно баронессе Зое, но не сомневался, что есть нечто такое в этом внимании, есть нечто такое, о чем Камилла, наверно, ничего не сообщает Зое. И он тоже не хочет и не может этого сообщить по множеству причин и между прочим потому, что его никто об этом и не спрашивает и что ни одна из дам не дает своим обхождением с ним ни малейшего намека на его лунатизм. Напротив, все мило, все хорошо по-прежнему: дни идут своим порядком, дети уходят спать в девять часов, а он еще час читает обеим дамам, которые в это время работают, и затем все они прощаются: Камилла идет делать домашние распоряжения, а баронесса Зоя удаляется писать письма мужу, а он — к себе в свою комнату, где ложится спать и ждет, когда погаснет огонь...

Этак могло идти очень долго, и слушателю было бы несносно слушать дальнейшее повторение этой истории, если бы в нее вдруг не ворвались другие, посторонние и еще более беспокойные течения.

Я уже привык к моему положению и начинал думать, что все, составляющее в нем его таинственность, останется навсегда тайною для всех, но я жестоко обманулся. Один раз, когда я ожидал в моем уединении, что огонь мой погаснет, я услышал вдали по коридору обычный

для меня шелест приближающихся шагов и... вдруг — тревожное восклицание...

Я испугался, вскочил с постели, задул сам мой огонь и стал к двери, прислонив к ней мое ухо. Там, в самом деле, был разговор. Он был короток. Я уловил только слова:

— Я увидала, что ты идешь, и мне пришла мысль, что ты лунатик...

— Представь, что я то же самое подумала о тебе, — отвечал другой шепот, после чего мне показалось, что обе встретившиеся рассмеялись.

Если им обеим было весело, то я не находил, чего мне огорчаться, но днем, когда я входил в кабинет баронессы, чтобы подать ей отметки о дневных успехах ее сына, я услыхал снова другой разговор, в котором уловил опять краткие, но много меня удивившие и напугавшие реплики.

Баронесса Зоя тихо говорила:

— Но на какой же все это конец?

— Ах, Бога ради! — отвечала довольно спокойно, отстраняя продолжение разговора, Камилла, — все на свете как-нибудь кончится.

— Как-нибудь! А твои обеты?

— Они до тебя не касаются, и притом... — Она замолчала и как будто тихо засмеялась.

— Меня интересует, что еще «притом»?

— Притом... я не знаю, так ли все это важно!

— Вот твое слово!

— Да, но Бога ради!.. Я слышу, он входит...

Итак, я не имел никакой возможности сомневаться, что я имел в этом разговоре свое место и что, кроме слов «Бога ради», есть еще фраза: «Так ли это важно?». Но я был бы рад провалиться тут же у дверей баронессы и хотел уже бежать, как услыхал звучный голос Камиллы, которая твердо приказывала мне:

— Войдите!

Я вошел, робко тупя глаза в землю.

— Баронесса вас ждет, подайте ей ваши отметки.

Я подал тетрадку дрожащими руками. Я видел сам, как листки трепетали в моих руках, и нимало не сомневался, что это не могло остаться незамеченным баронессою, но она не подала мне ни малейшего вида, — пересмотрела отметки, сделала мне несколько дельных замечаний и вопросов и потом, возвращая назад журнал, взглянула мне в лицо и сказала, чтобы я передал ее приказание давать кушать.

Я пошел отдавать это приказание, и пока шел, мне казалось, будто, несмотря на спокойный тон, которым говорила баронесса, — рука ее немножко дрожала.

Черт знает почему, обстоятельство это мне было очень приятно и даже чрезвычайно мне льстило. Рассуждая основательно, я должен бы понять, что она была взволнована негодованием к сделанному ею открытию в замке, но я рассуждал как раз неосновательно и стал покрывать поцелуями листки, которых касалась милая и прелестная рука баронессы.

О, у нее была чудесная, красивая рука, — не такая большая и пухлая, как у Камиллы, а нежная, тонкая, удивительно изящной, миниатюрной формы.

Я зацеловал этот листок, отдал приказание и опять вернулся в кабинет баронессы, держа журнальчик в моей руке, вместо того, чтобы занести и оставить его в нашей классной комнате.

Камилла мне это заметила, но, когда я, сконфузясь, сделал движение, чтобы пойти и поправить свою ошибку, она сказала:

— Не надо, оставьте это здесь, — я пойду туда и отнесу сама.

При этом она взяла журнал и... мне показалось, что она почувствовала или увидала на нем мои поцелуи.

По крайней мере, мне так казалось, или я это чувствовал с прозорливостью влюбленного, — потому что я с этого дня был влюблен в баронессу... Да, я был влюблен, я был в нее влюблен, мой друг, со всею страстною глупостью девятнадцатилетнего мальчика. Я ничего не соображал, ни на что не рассчитывал и не надеялся — да и на что мог я надеяться; но я и не забывал, что у нее есть муж, что она его глубоко и верно любит, с замиранием и муками ждет его писем, и сама пишет ему чуть не в каждую свободную минуту. Я все это знал — все помнил, даже очень соболезновал и — право — больше, чем сама она, терзался, если посланный в город не привозил ей письма от мужа, и тем не менее — я ее страстно любил и считал бы высочайшим счастием за нее пострадать и умереть, — лишь бы только это было хоть на что-нибудь для нее пригодно, — пригодно хоть на то, чтобы она немножко меньше скучала, если когда-нибудь запоздает почта с письмом от ее мужа.

Это не только может, но даже должно показаться смешным для таких взрослых людей, каковы мы теперь, но взрослые люди, которые умеют помнить свою молодость, конечно, должны помнить и то, что тогда любят не соображая и глупо, но зато женщины с тонким вкусом и воображением находят в этого рода любви свой — черт возьми — толк и интерес.

И я был открыт, изобличен и стал предметом насмешек. С этих пор мне не раз при входе случалося слышать, что Камилла говорила: «Как он смешон!». И я всякий раз знал, что это касается меня. Я старался

быть как можно спокойнее и сдержаннее и, вероятно, становился еще смешнее. По крайней мере, когда Камилла глядела на меня, я чувствовал, что ее глаза смеются, а когда я выходил из комнаты, то вслед мне нередко слышался настоящий смех, а баронесса всегда это останавливала коротким словом или движением, которого я не видал, но — представьте себе, — я его чувствовал.

О, юная любовь! Сколько у тебя горя, какое у тебя ясновидение и до какого ты достигаешь прозрения!

И как я ее благословлял за то, что она не хотела надо мною смеяться! Каким пламенем я сгорал, чтобы ей хоть чем-нибудь воздать за это!.. О, если бы ей от меня было что-нибудь нужно! Я бы мог совершить для нее всякий подвиг, — подвиг самоотвержения, рыцарства, подвиг жизни, кинутой ей под ноги для самого малого ее удовольствия. И представь ты себе, что все это мне ниспослала судьба! Да, она ниспослала мне случай совершить подвиг, какого желал я, и отсюда опять открываются новые пейзажи.

Мы прожили зиму в нашем лесу. Приближалась весна. Снега оседали, и от их оседания часто слышались громкие выстрелы, как будто по нашему замку палили из пушек. Дороги расстроились надолго. Молодой парень, посланный в город верхом, чтобы отдать на почту письма, написанные баронессою, и привезти оттуда ей письма от мужа, возвратился с половины дороги и объявил, что ни переезд, ни переход через реку невозможны. Баронесса томилась и приходила в отчаяние и дошла до поступка, которого нельзя оправдать и еще менее поставить ей в честь. Она послала на деревню объявить всем крестьянам, что даст большую сумму тому, кто решится перебраться по льду через реку и привезти ей ожидаемые из-за моря письма. Это, конечно, нехорошо — пользоваться бедностью людей и подкупать их рисковать своею жизнью, но всякая любящая жена в положении баронессы, пожалуй, поступила бы точно так же.

Однако, несмотря на большой соблазн для крестьян, дело не выходило. Два смелые молодые парня пускались на отвагу, но возвращались от реки, говоря, что перейти через нее невозможно.

К чести баронессы должно сказать, что им за их неудачные опыты заплатили отлично. Она не жалела ничего, но зато она и себя тоже не жалела: несмотря на свою выдержанность и самообладание, она впала в отчаяние и не могла этого скрыть. Камилла употребляла все силы своего трезвого благоразумия, чтобы ее утешить или успокоить, но это было тщетно, и вот в одну ночь, когда до слуха моего доходили стоны баро-

нессы, я вышел потихоньку из замка, прошел в деревню, нанял там у одного из крестьян лошадь и поскакал на ней в город, отстоявший от нас на шесть часов езды. Большая река, через которую никто не решался теперь перейти, находилась в конце этого пути, так что с ее песчаного берега город был уже виден.

Я доехал до реки, слез с коня, привязал его у избы стражника и с удивительным для самого меня хладнокровием пошел по темному льду. Лед весь покрылся снежною грязью и дал во многих местах широкие трещины, но это меня нимало не смущало: я шел, меся ногами снег, и перескакивал через трещины с помощью длинного шеста, который взял у стражника. Когда же лед трещал и ноги мои начинали просовываться, я полз на животе, подвигая шест перед собою, и таким образом перебрался через реку, достиг до города, взял два полученные на имя баронессы письма и, ни минуты не медля, отправился в обратный путь. Это все было сверх сил моих и вообще сверх сил человеческих, но я ничего не чувствовал, — я только спешил перебраться назад, за реку, до наступления сумерек, и я перебрался, но уже в темноте, и решительно не знаю как, потому что я ничего перед собою не видал и бесконечное число раз просовывался и погружался в воду и опять как-то выскакивал и полз и переполз, но далее ничего не помню.

Я не скакал назад верхом на моей кляче, меня в беспамятстве, или в бесчувствии, взяли на береге, когда я до него дотащился и упал. Тут меня переодели в сухое крестьянское платье и положили на санки, которые с величайшим трудом тянули по заторам, а голова моя лежала на коленях сострадательной Камиллы, которая пустилась за мною в погоню, когда в замке было открыто мое бегство. Она меня взяла и привезла ничего не помнившего в замок и окружила меня всеми нежнейшими попечениями, к каким только была способна ее милосердная и добрая душа, а баронесса разделяла с нею ее заботы, которых им со мною было очень много, потому что в замке не было доктора, а со мною сделалась продолжительная горячка с долгим и сильным бредом, которого обе дамы должны были опасаться, так как я в бреду произносил их имена, чаще, впрочем, согрешая именем баронессы Зои, чем именем Камиллы. А потому они обе сменялись у моей постели и никогда меня не оставляли. Это была очень большая и очень серьезная жертва при их многосложных обязанностях с детьми, домом и посторонними больными, которых, конечно, не забывала за мною Камилла. Обыкновенно она выходила в селение навещать своих больных перед вечером, и тогда со мною оставалась баронесса, и я это знал и, как величайшего счастия, ждал этих минут, когда мы оставались с нею вдвоем в комнате, и я ле-

жал закрывши глаза, потому что не смел на нее смотреть, боясь выдать наполняющие меня чувства всепожирающей преступной любви...

Когда возвращалась Камилла, я продолжал притворяться спящим, потому что мне не хотелось видеть, что нас уже трое.

В такой счастливой обстановке я выздоровел, и время моего обмогания от этой любви было счастливейшим временем моей жизни. Баронесса считала себя много виновною передо мною в том, что не умела скрыть своей тоски по мужу, и сказала однажды:

— Я не знала, что вы такой... восторженный и преданный. — Я молчал и кусал свои пересохшие губы.

— Иначе, — продолжала она, — я бы себя не выдала...

— О, для чего же! — прошептал я, — я был так счастлив...

— Счастлив!.. Ребенок!.. Вы могли умереть...

— Ничего.

— Как «ничего»? Это осталось бы у меня на совести и отравило бы мне всю жизнь.

В этих словах, кажется, прорвалась наружу достаточная доля эгоизма, но я сквозь очки влюбленности не увидал его и отлично ответил:

— Да, вот это только жаль!

Этим ответом я взял большой приз... Повторяю вам, что баронесса Зоя ведь была умна и благородна и таила в себе нежную и страстную душу, и, когда я ответил приведенными здесь словами, она сейчас же остро отметила разницу моей беззаветной ей преданности с осторожным эгоизмом, который был в ее словах, и она взяла мою руку своею рукою немножко выше кисти, где берет доктор, и, слегка пожав ее, произнесла с большою сердечностью:

— В вас прекрасное сердце, за которое вас будут любить. — Я отлично понимал, что все это выражение чего-то материнского, — что меня «будут любить» кто-то и где-то вдалеке и неопределенном будущем, но — ад и смерть, — самое слово «любить» в ее устах было уже для меня общею, хотя безотносительною отравою, поразившею во мне сразу ум, сердце и все мои нервы...

Я не схватил и не покрыл ее руки поцелуями только потому, что я еще был слаб, а она так особенно неловко или особенно ловко держала мою руку выше кисти, что я не мог сделать удобного движения, чтобы сейчас же овладеть ее рукою. Но ведь ее нежные, прелестные пальцы касались своими розовыми концами моего пульса, и рука моя все-таки моментально вздрогнула, как бы под толчком электрической искры, а вместе с тем отпрянула, и на то же мгновение и рука баронессы остановилась на воздухе в положении, какое принимает рука виртуозки, под-

нятая над клавиатурою перед тем, когда предстоит взять эффектный пассаж... Хуже же всего было то, что вслед за этим мы оба долго молчали... Это значит, что мы оба были одним и тем же поражены или удивлены и сконфужены, или обрадованы, и оба, несмотря на неравенство лет, были еще совершенно одинаково неопытны...

Неравенство лет!.. Но какое? Мне было двадцать один, а ей двадцать восемь... Это неравенство ни от чего не сдерживает, а увлекает... Опасное неравенство. Она умна, сдержанна и осторожна, но неопытна, но это, конечно, потому, что она не кокетка, а скромная и целомудренная женщина, любящая одного своего мужа и желающая ему одному нравиться...

Несмотря на всю свою зеленую юность, я, кажется, был даже опытнее, чем она: я имел понятие об этом сорте женщин, к которым она принадлежала, и понятие это было мною почерпнуто у одного из классиков и было свежо в моей памяти. Дело шло об одном философе, который издавал от себя такой неприятный запах, что ему должны были об этом заметить. Он имел жену замечательной красоты и, придя к ней, стал укорять ее: зачем она не сказала ему о его недостатке. «Прости мне это, — отвечала жена, — я думала, что все мужчины так отвратительно пахнут».

К сожалению, классик, сохранивший этот пример невинности жены философа, на этом и обрывал свой рассказ, и я не знал: не изменился ли характер философской жены и ее отношение к мужу с тех пор, как ей стало известно, что не все мужчины так гадко пахнут, как ее философ...

Школьный классицизм мне пригодился и сослужил свою службу... Я не знаю, о чем именно думала баронесса Зоя, но я сам думал, что жене философа после ее открытия открывалось новое поле для борьбы... Опять новый пейзаж и опять при новом освещении...

Распаленное горячечное воображение при расстройстве нерв и ослабевшей дисциплине ума так и махало во все стороны, рисуя самыми широкими штрихами самые смелые картины, и, когда среди этого творческого процесса дверь отворилась и на пороге появилась Камилла, — мы все трое вдруг оробели, чего-то испугались и вскрикнули...

Первая нашлась, как должно, Камилла, она сказала:

— Чего же?.. чего, Бога ради!..

Ни я, ни баронесса ничего не ответили.

— Как же вы не замечаете, что уже так темно... и не велите подать огонь!.. — продолжала Камилла и сама зажгла во впадине ту самую мою лампу, к которой до сих пор касалась только затем, чтобы ее погасить.

И вообразите себе, что, когда в ее руке обгорела сине-красным огнем неуклюжая насеренная спичка, я видел, — да, мне не казалось, но я ясно видел, что Камилла, изогнув голову, как будто для того, чтобы не вдохнуть серного дыма, — зорко и остро смотрела глазами не на лампу, которую ей предстояло зажечь, а то на меня, то на баронессу Зою... И я видел, что могучая грудь ее воздымается, а большие, белые, лакированные зубы оскалены...

В этой добрейшей и самоотверженной женщине просыпался зверь... Она могла на нас броситься и нас закусать или растерзать... если не наши утробы... то, быть может, чистое имя... добрую репутацию непорочной Зои...

И тогда... я ее убью, отравлю, — вообще уничтожу и сам погибну... Это так будет, потому что это решено... Но ведь Камилла не так невинна и неопытна, как жена классического философа, с которой имела в моем представлении большое подобие верная Зоя...

Камилла знает много наук, понимает людей и способна к самой сложной игре жизнью... Сестра Камилла!.. О, сестра Камилла не уронит ничего, что можно не уронить с блюда, и... вдруг мне показалось, что, пока в ее руке обгорал тогдашний длинный серник, — она, как опытный игрок, тасовала карты, а когда все, что нужно, пронеслось перед нею в достаточно стройных уже очертаниях, — она сейчас же без дальнейшего раздумья срезала талию и готова метать ва-банк всем понтерам.

А нас было только двое: я и баронесса, и оба мы были невинны перед Камиллой, как Адам и Ева до предательской штуки, устроенной им змеем-соблазнителем.

Я в этот вечер был одарен необыкновенным проникновением и зрел незримое.

Камилла, засветив лампу, села во второе кресло, стоявшее вблизи моей постели, рядом с креслом, на котором сидела баронесса, и спросила ее:

— Ты окончила уже твое нынешнее письмо к мужу? — Я тотчас же проник в этом вопросе нечто незримое до этих пор. Баронесса опахнула Камиллу своими большими голубыми глазами и как бы с удивлением отвечала:

— Нет, я еще не окончила.

Мне хотелось понять: чего же она удивилась от этого простого вопроса о том, что она делала с неизменною аккуратностью ежедневно?

Я подумал еще и понял, что баронесса могла удивиться тому, что она это сегодня забыла.

Я не смотрел на нее, но видел, как она вслед за этим встала и пошла с какой-то огромной элевацией.

Камилла вслед ей весело проговорила:

— Это прелюбопытно, как они там все переженились?

— Да, — едва слышно уронила в ответ баронесса и вышла за двери.

Все это для меня теперь получало значенье. Я словно читал на воздухе и уразумевал то, чего не разумел.

Кто переженился, где и для чего?..

Все!

Не значит ли это «весь» мир? Нет, это, верно, касается только одного корабля, который где-то очень, очень далеко качается и ныряет в волнах океана. Именно он стоит в пристани, и «все они прелюбопытно переженились».

Это в самом деле прелюбопытно, но, кажется, тоже и не совсем хорошо... по крайней мере, со стороны одного, для получения чьих писем было столько забот, риска и огорчений...

Я спросил у Камиллы:

— Надеюсь, что письма, которые я принес, не содержат в себе ничего особенно печального?

— О нет! даже совсем напротив! — отвечала Камилла. — Эти письма содержали любопытные описания, как корабль расколотился в Японии, и все офицеры тотчас же переженились там на японках... Мы много смеялись тому, как эти супруги между собой говорят!

Но мне это не казалось смешно: будто надо обо всем говорить?

Какие пустяки!

Я и теперь боялся продолжения разговора и тихо повернул голову к стене с намерением закрыть глаза и в присутствии Камиллы остаться наедине сам с собою и еще разрешить себе вопрос, который толкался в мое темя.

— Женились все... стало быть, женился и он? И неужто же он сам и написал об этом жене?!

Камилла словно прочитала мою думу: она встала, поправила мое изголовье и проговорила:

— Все, конечно, кроме нашего барона.

— Он не женился? — переспросил я, успокаиваясь за баронессу.

— О, конечно!

— Он это написал?

Камилла сделала большие и насмешливые глаза и, словно откачнувшись назад, воскликнула:

— Конечно же, нет!

— Почему же нет?

Она совсем рассмеялась и, встав снова с тем, чтобы снова поправить мою подушку, сжала меня в своих объятиях под своей грудью и поцеловала меня продолжительным и страстным поцелуем, который не то проливал в меня ток новых сил, не то изнемождал до основания последние.

А она, истомив меня этим отъемом свободного вздоха, стояла теперь надо мною, поправляя одною рукою раскинувшиеся на мой лоб волосы, а в другой — держала свой черный веер и обмахивала им мое покрывшееся потом лицо и говорила:

— Если бы он написал это — он обнаружил бы в себе невоспитанность и недостаток врожденного ума и такта... Он бы ее не успокоил, а навел бы на тревожные мысли — но, говоря открыто о том, что делают другие, он ясно дает понять, что сам он этого не делает.

— Пусть так, — подумал я, припоминая, что иногда говорить и не говорить — одно другого стоит, и, сделав решительное усилие, чтобы повернуться к стене, я вдруг как бы заметил серое платье баронессы...

Она как бы только ступила на порог и, увидав Камиллу, снова сейчас же скрылась.

Впрочем, я не указал на это Камилле, и сам не был уверен, что я не ошибся...

Может быть, это мне так показалось... И я на это не досадовал, а, наоборот, я, пожалуй, желал бы, чтобы Камилла была сконфужена, потому что меня страшно тяготило ее внимание, мне были тяжелы и неприятны ее ласки до того, что я не хотел скоро выздоравливать, — мне нравилось мое состояние, дававшее мне возможность без всякого укора моей вежливости во всякое время отворачиваться от нее в сторону и притворяться спящим, с закрытыми глазами и с приятными, не забудьте, всегда самыми почтительными мечтами о баронессе... Я и теперь сделал то же самое, — я мечтал о том, как она думает об их женитьбах в Японии? Так ли точно она судит, как судит Камилла, или... и самая Камилла... она так верит, или она так смеется?

А как в самом деле она думает?

Пожалуй, она думает: «так ли это важно?»

Я посмотрел на нее из-под век и удостоверился, что я прав! Ее доброе, беспечное и открыто смелое лицо действительно имело выражение, как раз соответственное недоуменному вопросу: «Так ли это важно?!»

Дьявольские силы, дьявольские силы действовали вокруг, и во всем смута и омрачение происходили во времени и в пространстве, в плоти и крови, лишенных наследия божьего царства и обреченных в жертву сатане...

Я, верно, спал... Я, верно, долго... слишком долго думал, пока сделал свое последнее открытие, потому что пейзаж-то уже был снова не тот, при каком начались сумерки.

Давно была ночь, — часы в отдалении пробили два... Камилла, сидевшая в кресле с четками, которые энергично перебирала в руках, встала и подошла к моему изголовью. Я испустил глубокий сильный вздох и крепко втянул в себя губы... Но это было напрасно: Камилла ограничилась только тем, что предлежало сделать ее сострадательной руке... Она поправила мою голову, а я из-под опущенных ресниц моих глаз в это мгновение заметил, что мы были не двое, а трое... что в кресле сидела баронесса и что она спала, и что на коленях ее лежало приготовленное ею письмо к мужу, и что это письмо шевелилось... ползло и, наконец, соскочило с ее колен и упало на пол, а глаза ее были открыты и устремлены на Камиллу, в объятиях которой была моя голова и мое изголовье... Камилла, сделав свое дело, оборотилась к баронессе, тронула ее слегка за плечо и прошептала:

— Пойдем спать. Ему теперь хорошо, а ты, бедняжка, слишком устала.

Все это она делала с своею обычною ласковостию и спокойствием, и говорила тем же прелестным густым контральтом, — она была та же милая, добрая Камилла, полные белые руки которой я целовал с безграничною благодарностию за ее попечения и раскрытие очей моего разумения, — и в то же время я чувствовал в ее голосе, в походке и в движениях, что мы ее смешили и что она все видит, все знает и над всем смеется...

Проклятая путаница!.. Круговое коловращение: она все видит и будто не видит, и баронесса все видит и будто не видит, и я, наконец, тоже все вижу и тоже притворяюсь, будто я не вижу... Что же это такое? Как это объяснится: вскроется это, как водопольный поток, и понесется черт знает куда или исчезнет, как сугроб, наметенный зимой над глубокой безысходной канавой... Вот в чем вопрос! вот в чем вопрос! И он велик, он теперь для меня страшно важен, потому что ведь я сам очень важен: мною интересуются женщины... я даже одну уже отверг... Я не могу... я не люблю ее... я люблю другую, и... и может быть, она меня любит.

Меня как будто осыпало всего горячим песком. Пропустив в себя эту мысль, я испытал трепет незнакомого и навсегда невыразимого сладостного чувства... Я вскочил в моей постели на колени и стал жарко-жарко молиться о ней и плакать, выпрашивая ей самого полного и самого чистого счастия, — причем, однако, какие-то крохи должны были достаться и на мою долю.

Какие же? Какие!

Неужели я мог, неужели я смел чего-нибудь ожидать?

А уже про это мог знать только Бог, к которому я приступал с моею необдуманною молитвою, или, может быть, знал дьявол, который играл нами в куклы. Он знает свое дело при всех положениях.

Опять изменился пейзаж.

Я бродил, обмогаясь, по своей комнате и, казалось мне, мог бы выходить и в другие покои, но Камилла, у которой было много практических познаний в медицине, не дозволяла мне этого и поступала вполне основательно и беспристрастно. Она ничего не имела в этом для себя: огонь в моей комнате не гас по ночам, и я проводил мои ночи с одними сладостными мечтами о баронессе. В этих мечтаниях всегда имел свое неотразимое место ее муж, которого отсутствие ее томило и возвращения которого она ждала с нетерпением своего горячего и любящего сердца.

О, как груб и ненавистен казался мне в это время герцог, заставивший ее переносить все эти терзания! Но зато я видел в моих мечтаниях, как смелый моряк возвращается в столицу и потом в недра своего семейства. Его сухо и несправедливо встречает герцог и награждает его щедро, но как бы нехотя. Благородный барон переносит это прекрасно, с твердым достоинством... Что ему до всех наград, какими может располагать герцог, когда его ждет совершеннейшая награда его жены... Я видел, как он входит с нею в дом, в столовую, где ласкает детей, в уборную, где переодевается по-домашнему, наконец, в спальню, где отдыхает от всех понесенных трудов и лишений, и потом выходит оттуда и... смотрит на меня как-то страшно, страшно и еще все страшнее, чем дальше, и начинает оскорблять меня самыми обидными словами и действиями.

Впечатления этого сна были так сильны, что я проснулся весь дрожа в лихорадке и не мог себя разуверить, что все это происходит только в моем разгоряченном воображении, а на самом деле нет ровно ничего, для чего можно бы ожидать такой противной развязки.

Я хотел ближе и осязательнее подойти к успокоительной действительности, хотел взглянуть на двор замка и убедиться, что там не стоит дорожная карета и кучера с форейторами не разваживают потных лошадей, на которых приехал барон из столицы.

Кому снилися очень страшные сны, тот может понять мои чувства, особенно, если не будет забывать, что дело касалось не меня одного, а обожаемой женщины, за которую я не боялся смерти. Ведь я же не знал, что там, в спальне, сталося с нею!.. Быть может, он ее убил, пре-

жде чем вышел смотреть на меня своими страшными глазами и махать кортиком над моей головою.

Я вышел в коридор, чтобы посмотреть в то самое окно, на котором сочтен был за лунатика. Замковый дворик освещала луна, и на нем не было ни лошадей, ни экипажа, но из-под двери, которая вела в апартаменты баронессы, блистала полоска света... Как она долго не спит!.. Или, быть может, он приехал как-нибудь иначе и отослал своих лошадей, а сам теперь там, у нее, и ей именно в эти минуты угрожает наивысшая опасность...

Сон мой, быть может, — сон вещий.

Я более не размышлял и тихо подкрался к двери. Я теперь не считал дурным делом подслушивать и подсматривать. Я ведь делал это для ее спасения, для ее защиты...

Я был готов на все.

Но в комнате баронессы не происходило ничего трагического, а, напротив, шел живой и скорее веселый разговор между Камиллой и Зоей.

Я подоспел как раз на роковую для меня фразу:

— Бога ради!

— Бога ради! Бога ради! — говорила Зоя с очевидным желанием заставить Камиллу не продолжать какого-то разговора, но Камилла в ответ на это рассмеялась и сказала:

— Ты похожа на птицу, которая гнет свою голову под собственное крыло и надеется, что через это ее будет не видно.

— Я не похожа на эту птицу, но я не разделяю с тобою твоих ужасных вкусов.

— «Ужасных вкусов»! — повторила Камилла. — Кто-нибудь мог бы подумать, что я говорю о безобразных формах, которые сочиняет без совета с портными наш герцог, а я говорю о природе, которая все производит со вкусом.

— Не все.

— Пускай и так, но то, что я говорю о весне и о юности, — это вид спора; мне нравятся первенцы лесов и полей более, чем пышные цветы знойного лета, на которые лило много дождя и насело много пыли. Подснежный ландыш мне лучше тюльпана и махровой розы... Что делать!.. что делать, моя милая Зоя. Тюльпан и розу можно продлить, — а ландыш нет. Ему одна короткая прелестная пора. И то же юность.

— Не в том смысле, как ты говоришь.

— Почему?

— Ты это знаешь.

— Не знаю.

Зоя помолчала и потом протяжно сказала:

— Любить или, как ты говоришь, «интересоваться» можно только тем, что внушает к себе уважение.

— Ничуть. Любить можно за все и «интересоваться» всем, что интересно, а я сошлюсь на всех женщин, одаренных чувством и воображением, что первый лепет любви в юноше имеет в себе много милого.

— Не понимаю.

— И лжешь.

— Ты рассуждаешь, как мужчина.

— А ты, однако, понимаешь, что твои образованные и воспитанные знакомые могут интересоваться молоденькими японскими девочками?

— Это мужчины.

— Низший сорт людей?

— Да, в известных отношениях.

— Женщины, по-твоему, возвышенней и лучше?

— Да, в известных отношениях.

В комнате послышался свист, и Камилла захохотала.

— Бога ради! — тихо остановила ее Зоя, — ты даже свистишь, совсем как охотник.

— О да! да ведь я и не притворяюсь.

— К сожалению, Камилла!

— Почему? Разве без Камиллы мало притворщиц на свете?

— Но все-таки оно лучше.

— Что это? — притворство?

— Да, скромность, хоть притворная скромность.

— Но кто же меня знает такою, как я есть?

— Теперь — я тебя знаю.

— Милая Зоя, это неправда. Или лучше скажи мне, скажи: как ты меня знаешь... чем ты меня представляешь. За что наконец ты меня любишь, когда я не могу и не желаю внушать тебе уважения, когда я смотрю на нежные вопросы, как мужчина, и свищу, как охотник, когда надо бы застенчиво опустить в землю глаза. Говори же, говори... Я этого хочу и добьюсь от тебя, или иначе я тебя возьму зацелую и задушу!

Послышался обоюдный веселый смех, и Зоя сказала:

— Сядь, сатана, — я представлю тебе твой портрет, каков он есть в моей душе.

— Merci.[1]

---

[1] Благодарю. (*фр.*)

— Но не целуй моих рук! Не целуй моих рук. Бога ради!

— Отчего?

— Оттого, что... я знаю, как ты душевно хороша, и я сама хочу целовать твои руки. Ты чудесная женщина...

— Начало мне льстит.

— Ты умна, ты образованна, как ученый профессор, ты честна во всех своих поступках.

— Кроме одного!

— Я говорю о поступках общего свойства; ты видала едва ли не все стороны света, твои убеждения и взгляды прекрасны; твоя доброта удивительна, и я ее испытываю на себе... Я знаю, как ты ненавидишь этот край и его порядки, и, однако, ты решилась остаться здесь и провести со мною целые три года самого скучного и тяжелого изгнания.

— Ну!..

— Ну...

Слышно было, как Зоя бросилась Камилле на шею и с слабо сдержанным смехом закончила:

— Но для чего ты свистишь, как охотник?

— Для чего?!

— Да!

— Потому что умею!

— Перестань!

— Ну, конечно. А ты ведь не умеешь?

— Конечно!

— То-то и есть. А теперь я тебе дам еще новых красок для моего портрета на твою палитру.

— Нет, Бога ради!

— Отчего же?

— Ты скажешь о себе что-нибудь очень дурное.

— Ну, так что же?

— Я не хочу... не хочу ничего такого знать.

— Я знаю, что ты меня любишь.

— Да.

— Я тебе верю... тебе одной из всего множества людей, которых встречала... и в награду за это ты не услышишь от меня о том, что я считаю в себе за самое дурное, но ты, однако, должна знать, что́ ты почитаешь во мне за худшее, то еще не есть самое худшее. Есть вещи худшие: да спасет тебя небо от них.

Вышла пауза. Зоя ответила:

— Я знаю, что ты очень добрая, но я хотела бы, чтобы ты была...

— И очень почтенная женщина! Не так ли?

— Пожалуй!

— Ну, так ты сделала для этого очень большую ошибку: ты никогда не подходи очень близко к тем, кого хочешь считать очень почтенными... А впрочем, — добавила она, — мне все равно, что обо мне думают.

Я слышал, как Зоя встала, обняла ее и сказала ей:

— Я ни о ком не думаю так хорошо, как о тебе.

— Ну, и это напрасно. Я сделала очень много дурного, но всему скоро конец.

— Как конец?

— Да; ты увидишь... У меня есть предчувствия...

— Полно!

— Ну вот!.. Отчего?.. Я очень рада!.. Жизнь мне давно тяжела, и я давно бы с ней рада расстаться...

— Неужто ты хочешь убить себя?

— Нет, — мне это противно.

— Конечно, ведь это ужасный грех.

— Не думаю, но зачем себя лишать жизни насильно? Жизнь чего-нибудь стоит и ее можно отдать не даром, а с пользой.

— Ты шутишь?

— Увидим. А ты не считай за шутку предчувствия и не подводи ни к чьей жизни итога до смерти, потому что вывод быть может неверен, а это важно...

— Я верю.

— И верь. Опечалить другого или его уронить — это гораздо важнее, чем сбавить самой себе балл в поведенье.

Я больше не слушал. Я отошел и тихо прокрался к себе в комнату, стал у окна, в которое были видны только вершины сосен и луна с набегавшими на нее облаками, и совсем позабыл о сне и о своей прежней и новой любви: первая была навеки кончена и от нее оставалось только воспоминание, в котором я чувствовал для себя что-то унизительное и неприятное. На мне уже была какая-то дурацкая спесь — интересного молодого человека, который имеет успехи, и вдруг... я, не переставая быть молодым человеком, чувствовал, что я не играл никакой значительной роли, а как-то состоял в распоряжении и брошен...

Я припоминал некоторые прочитанные мною романы об «абандонах» и в эти минуты отлично понимал негодование женщин, и лицо мое горело от стыда и гнева... В самом деле — черт знает, как все это вышло неважно! Я ни с чем и ни при чем. Но они, однако, говорили о «лепе-

те». Это, без сомнения, относилось ко мне. Ведь из этого должно бы что-нибудь вытечь... Но нет, — прежде всего надо спасти честь: теперь опасно быть смешным. Надо выйти из поражения хоть с одною честью: я скрою свой гнев и унижение, которое чувствую, тем более... тем более, что это все не надолго... потому что... что-то должно случиться... А что именно? Как я...

Тут нить оборвалась, и я заметил, что вокруг месяца все сильней и сильней клубят облака, а через комнату тянет сквозняк, — я поспешил затворить дверь и кинулся в постель и уснул, а в уме у меня все оставались слова: «Не считай предчувствий за шутку».

О том, как я себя после этого вел, не буду пространно рассказывать, я держал веселую мину в невеселой игре, то есть старался не обнаруживать, что мне что-то особенное известно, но сильно следил за собою, чтобы казаться ровным и серьезным, и сам не заметил, как вошел в эту роль до того хорошо, что и на самом деле поумнел и посерьезнел. Я слег больным юношей, а, обмогаясь, вставал с постели человеком, возросшим и духовно и нравственно. Более всего я заботился, разумеется, о том, чтобы как можно скорее встать на свои ноги и приняться за свои классные занятия с детьми. Я почитал это за самое лучшее, и оно так действительно и вышло: баронессе, очевидно, очень понравилось мое поведение: она мне ничего не говорила об этом, но я видел это по выражению ее лица. Камилла ничего особенного не обнаруживала, но я ее как-то меньше видел, чем было во все время ранее. Я ведь вам говорил, что она была искусная и усердная лекарка и на руках у нее всегда были трудные больные между дикарями в наших лесных лачугах. Она вела эту часть деятельно, без малейших упущений, а не для времяпрепровождения, и без всякой нервозности и брезгливости возилась с болезнями очень неопрятными и даже заразительными.

Последнее имело свои неудобства в том отношении, что заразность ею могла быть занесена в замок, но и Камилла, и баронесса смотрели на это очень рассудительно и человечно. Камилла ходила к больным в особом платье, а возвращаясь, брала ванну и проводила некоторое время в аптеке за приготовлением лекарств, а потом, освеженная, выходила, почитая себя обезвреженной со стороны заразы. Притом же и она, и баронесса не принадлежали к числу особ, доводящих свое жизнелюбие до противности. Не знаю, как они верили в Промысел или в предопределение, но, хотя они и не были фаталистками, однако обе питали уверенность, что случается только то, что должно случиться. А кроме того, Камилла шутя говорила, что излишняя осторожность от сообщений с

больными может быть хуже, чем неосторожность, — что если люди в этом направлении дадут себе волю, то они станут безучастны друг к другу и человечество явится когда-нибудь совсем беспомощным.

У нее была прекрасная душа и прекрасные мысли, которые не расходились с делами и наконец запечатлелись превосходным исполнением до совершенства.

Это совершилось внезапно и страшно.

Один раз, когда дети ушли спать, а мы с баронессою читали в ожидании возвращения Камиллы от больных к вечернему чаю, баронессе доложили, что к сторожу замка приходил из деревни молодой крестьянин сказать, что Камилла сегодня не возвратится и просит ее не ожидать.

Это случилось первый раз и очень нас встревожило. Мы не знали, что именно могло побудить Камиллу остаться на ночь в деревне, но оба переглянулись, и каждый прочел во взгляде другого, что, вероятно, ее удержало что-нибудь очень важное и, может быть, роковое.

Я сейчас же встал и сказал, что пойду и узнаю, что такое случилось.

— Да, подите, — отвечала баронесса, — и когда возвратитесь, скажите мне, — я буду ожидать вашего возвращения.

На дворе уже было темно, по небу ползли тучи, лес сильно шумел и накрапывал дождь.

Я взял в руки фонарь с зажженной свечою и позвал с собою старика, который пошел неохотно, кряхтя и выражая неудовольствие беспрестанным ворчаньем.

Мы дошли до селения, жители которого все уже спали, и с трудом нашли лачужку, в которую входила Камилла, посещая больное дитя, но Камиллы здесь не было. Из лачужки вылез тот молодой крестьянин, который приходил к замку с поручением Камиллы, и сказал, что по возвращении своем из замка он уже не застал госпожу в своем доме и что вместе с нею исчезли его девятилетняя сестра и мать, пожилая девушка.[1]

— Где же они могли деться? — спросил я.

— Не знаю, — отвечал крестьянин.

— Но как же ты можешь быть так спокоен?

— А что же я могу сделать? Я был целый день на поле и завтра мне опять надо рано вставать на работу.

— Нет, мы должны идти и отыскать их.

---

[1] Так в автографе (примеч. сост.).

Парень согласился, но сторож сказал, что его лета не позволяют ему бродить неизвестно куда, и возвратился домой. Я с ним не спорил, потому что это было бы бесполезно, а вырвал из записной книжки листок и при свете фонаря написал на нем баронессе несколько слов о том, что узнал я. Затем сторож пошел назад в замок, а мы побрели в полном неведении, куда нам держать свой путь; но по счастию, в темноте мы наткнулись на человека, возвращавшегося с киркою на плечах из леса. Он бежал спотыкаясь и в ужасе сказал нам, что видел огонек в уединенной лачужке, построенной на прогалине, где за большою отдаленностью приходской церкви окрестные поселяне устроили себе местное кладбище.

Здесь была часовенка, или, как я точнее сказал, хатка с небольшим крестом на кровле, где временно становили гробы умерших. Теперь же в селе не было ни одного мертвеца, а меж тем в часовне светился огонек, что и перепугало страшно возвращавшегося крестьянина с киркою. Это показалось мне указанием — куда я должен был направить свои поиски, и я пошел туда, несмотря на неудовольствие моего провожатого, который хотел меня бросить и наконец-таки бросил, когда мы стали подходить к часовне и в самом деле увидели свет в ее маленьком окошке.

Я же подошел к часовне довольно смело и с твердою решимостью взялся за скобку двери, чтобы войти внутрь, но дверь оказалась запертою, а когда я дернул ее посильнее и стал осматривать, не могу ли ее отворить каким-нибудь другим приемом, то заметил, что на досках этой двери как будто что-то написано углем.

Я осветил эту надпись моим фонарем и прочитал:

«Берегитесь! — Здесь черная оспа».

У меня зашевелились на голове волосы, и я отскочил от двери и стал в отдалении. На сердце у меня похолодело, а фонарь в моих руках ходил ходуном, а ноги тряслись...

Камилла, очевидно, здесь и заключила себя тут, в этом отчаянном приюте, вместе с несчастною девочкой и ее матерью, у которых она нашла черную оспу... Но как же я поступлю далее? — что я должен сделать? Первым побуждением всего легче могло быть, чтобы бежать отсюда, но у меня, к счастию, не было такого побуждения: я понимал величие самоотвержения Камиллы, и дух мой поднялся до той высоты, что я, по крайней мере, устыдился быть безграничным трусом: я поднял древесную ветку и постучал ею в стекло маленького подъемного окошка.

На световом пятне показалось темное очертание головы, в которой по силуэту гладкой прически я узнал ясно голову Камиллы. Она посмотрела и сделала рукою отрицательный жест, который имел очевидною целью удалить того, кто стучался. Я напряг грудь и громко прокричал:

— Откройте на минуту окно!.. Я брошу вам карандаш и бумагу!

Силуэт кивнул головою, и руки Камиллы подняли рамку маленького окна, а я написал: «Что можно для вас сделать?» и швырнул в окно всю мою записную книжечку с карандашом и достаточным количеством листков чистой бумаги.

Окно опять заперлось, а я остался в полной уверенности, что сейчас же получу ответ.

Но как я возьму в руки листок, который побывает в ее руках, и как потом возвращусь сам снова в замок?

Камилла нашлась лучше, чем я мог придумать. Я увидал на стене тусклый параллелограмм величиною в листок моей записной книжки. Он был прислонен плотно к стеклу, и я понял, что на нем написано все, что мне нужно узнать.

Это так и было.

Приблизив к окну свой фонарь, я прочитал сквозь стекло: «Черная оспа у двух. Больше нет. Не допускать к нам никого.

Принесть к двери воды, свеч, уксусу, серы и лопату. Я здорова и покойна».

Прочитав записку, я кивнул головой в знак обещания все исполнить, и, весь трясясь, как в лихорадке, пошел лесом и мало мне знакомыми тропинками к замку.

Ощущения мои были таковы, что я потерял способность мерить время, и мне казалось, что прошло всего несколько мгновений, между тем как на самом деле пролетела вся ночь, и, когда я подходил к замку, уже зачиналось утро.

Баронесса не спала. Она совсем не ложилась в постель и была в одно и то же время и взволнована и сильно подавлена. Слушая мой рассказ, она водила вокруг испуганными глазами и хрустела, ломая пальцы своих похолодевших рук, и потом прошептала:

— Что делать?

Я ей сказал какую-то общую фразу о необходимости крайней осторожности, но она отвечала:

— Крайняя осторожность — это бросить ее в том положении, в какое она себя поставила, и бежать в столицу, но это то, чего я никогда не сделаю. Вы свободны.

— Дело не во мне, — отвечал я, — но вы и ваши дети...

— Мне легче оставаться здесь, чем бежать, оставив в опасности друга!

— А дети?

Она посмотрела на меня спокойным и очень значительным взглядом, какого я у нее не видывал, и отвечала:

— Дети — мои.

О! и я хотел принадлежать ей, быть ее слугою, исполнителем ее воли, товарищем во всякой опасности, какая бы нас ни ожидала, и — больше того — я хотел первый принять на себя самую большую долю этих опасностей.

Так эти женщины подняли и оживили дух мой, и я вырос сам перед собою, и все минувшее, страстное и смятенное, слетело, как налет, с души моей, согревшейся совсем иною теплотою и почувствовавшей в себе покой и преданность им обеим как существам, бесконечно меня превозвышавшим по своим превосходствам.

Я сказал баронессе:

— Я иду сейчас же туда назад и понесу воды, свеч, уксусу, серы и лопату.

Баронесса протянула мне свою руку, и я робко поцеловал ее пальцы и понесся опять без отдыха к кладбищенской часовне, таща на себе бутылку воды, бутылку уксусу, большой сверток серы и железную лопату, назначение которой мне казалось особенно страшным.

Отгадывала, вероятно, это и баронесса, но мы ничего на этот счет не сказали друг другу.

Убогая кладбищенская часовня, в которой Камилла скрылась с двумя больными черною оспою, отстояла от замка верст на пять. Это расстояние требовало на переход около часа, но я, несмотря на свою сильную усталость, почти перебежал все это расстояние и поспел туда на восходе солнца.

Подходя, я думал, как я дам знать Камилле о моем приходе, но это было не нужно: чуть только я стал подходить к окну, как увидал Камиллу, прикладывавшую к стеклу листок, на котором было написано: «Оставьте все на земле и удалитесь. Не допускайте сюда людей. Положение опасно. Я совершенно спокойна».

Я взглянул вверх этой бумажки и увидал лицо Камиллы, — оно было в самом деле спокойно, и вдобавок она мне улыбнулась прекрасной доброй улыбкой и сделала рукой знак, чтобы я удалился, что я и исполнил, но не совсем беспрекословно, а с маленькою хитростию: я обошел часовню и вскарабкался на высокую ель, с которой видел, как

Камилла вышла, взяла все мною принесенное и снова замкнулась. Я видел ее в том же самом сером платье, в котором она ушла, но голова ее была плотно окутана кружевною шейною косынкою. Мне показалось, что она что-то закрывает под этою косынкою. С дерева мне был виден крошечный дворик при часовне, где стояли гробовые носилки и в угле валялись рогожи и грязные веревки для опускания гробов в могилу. Не было ⟨ни⟩какого признака жизни, а ведь они были живы и им нужна была пища и постели.

Я теперь только вспомнил об этом и в третий раз побежал в замок, забрал все нужное и при помощи сторожа повез на лошади к часовне. Но я напрасно стучал веткой в окно — Камилла не показывалась, и я не мог ее дозваться и снова взлез на дерево и отсюда увидал Камиллу с непокрытою головою на дворике, где носилки были приставлены к стене, а она копала лопатою яму... Я догадался, что кто-нибудь из больных, верно, умер, и стал кричать ей:

— Камилла! Камилла!.. что вы делаете?

Она приподняла голову и сейчас же закрыла лицо волосами и сделала мне какой-то непонятный знак рукою.

Я быстро спустился вниз и бросился к окну. На стекле стояла надпись: «Привезите известки — здесь смерть».

Я опять отправился в замок, где, по счастью, нашли куль известки, с которою я снова поехал к часовне и постучал в окно, но на окне уже был листок с надписью: «Больше ничего не нужно».

Это был уже вечер. Я отослал сторожа с лошадью назад, а сам взлез на дерево с твердою решимостью остаться здесь на всю ночь.

Через небольшое время дверь отворилась, и Камилла вышла с одною ручкою от гробовых носилок и стала пихать ею мешок с известкою к двери, но мешок был тяжел и не поддавался ее усилиям.

Я захотел ей помочь во что бы то ни стало и, тихо соскользнув с дерева, побежал к ней, но она услыхала мои шаги, вздрогнула и, быстро подняв над головою рычаг, стала в оборонительное положение.

Увидав меня, она закричала:

— Прочь!.. Ни шагу, или я вас убью!

— Убейте, — отвечал я, — но я хочу вам помочь... Я не могу бросить вас в таком положении.

— Мне помочь нельзя, а мое положение прекрасно.

— Прекрасно!

— Да! Я не желаю лучшего. Если вы хотите видеть, какова я, то вот...

Она тряхнула головою, — волосы ее рассыпались в стороны, и я увидал... я увидел черный круг и, закрыв от страха глаза, упал на землю...

Я был в страшном изнеможении от усталости, и поразивший меня вид ужасного лица Камиллы произвел на меня легкий обморок, который быстро перешел в глубокий и, вероятно, продолжительный сон, от которого я пробудился на рассвете весь мокрый в мокрой траве, с деревьев падали капли дождя; а часовни передо мною совсем не было, был сгоревший костер... было пепелище, на котором проходивший дождь заливал кое-где еще дымившиеся головни...

Мои мысли были так спутаны, что я решительно не мог понять, что такое вижу и как все это могло сделаться! На меня напал такой страх, что я пополз по траве в сторону, чтобы быть дальше от пепелища, которое считал за сверхъестественное видение, а потом схватился и уже хотел бежать, но в ту самую минуту, когда я стал на ноги, меня неожиданно окликнул откуда-то с высоты знакомый голос.

Я поднял глаза и увидел того крестьянина, который в первый раз известил меня, что Камилла удалилась сюда с двумя больными.

Сначала я не мог понять: откуда он говорит мне, но потом, оборотясь на легкий шум в ветвях одной высокой сосны, я увидал, что малый спускался с дерева и, когда, спустясь, подошел ко мне, то весь трясся и имел лицо, искаженное ужасом.

Я спросил его, что он видел?

Он отвечал: «Я все видел», — и опять озирался и трясся.

Я отвел его немножко в сторону, так что пепелище скрылось от наших глаз, и стал его расспрашивать, и он рассказал мне, что в деревне между крестьянами вышло волнение: все они вспомнили свои старые нелепые подозрения, что Камилла ведьма или чертовка, и в том, что она забрала больных и заперлась с ними на кладбище, они увидали подтверждение своим мыслям и решились идти ночью, разломать дверь в часовню и больных у Камиллы отнять, а ее убить. С этою целью они пошли сюда вместе шесть человек и с ними мой добрый малый, которому тоже очень хотелось уколотить колдунью, но в пути их застигла гроза и дождь, которые я проспал после моей тяжелой усталости. И когда они пришли к кладбищу, чтобы ломать часовню, убивать Камиллу и освобождать больных, то увидали в окне такое черное лицо, какого никто из них никогда не видывал, и вслед за тем из-под крыши выскочило пламя. Пятеро из пришедших от испуга бросились в ужасе назад, а парень взлез на дерево и видел невероятное дело. Он видел, как ведьма торопливо подошла к стене, в которой был вбит крюк и веревочная пет-

ля над ямою, — бросила в эту яму головню с огнем, а сама вдела свою шею в петлю и повисла, и закачалась. Ее обхватил огонь, и через несколько минут веревка перегорела и тело ведьмы исчезло в дыме и смраде.

Так погибла Камилла: она, очевидно, схоронила умерших от черной оспы, заболела сама тою же болезнью и сама себя схоронила. На пожарище не было найдено ни малейшего признака человеческих костей: все они были погребены в яме, которую вырыла своими руками Камилла, и сама себя туда же сбросила, очистив огнем все зараженное место.

Мы с баронессою были не только поражены, но подавлены этим событием и не говорили друг другу ни слова. Я заметил, что баронесса даже несколько дней не писала мужу, и понимал причину этого. После того, что сделала Камилла, все личные чувства и порывы утратили свое значение, — стали мелки, и ими не хотелось заниматься.

Я помнил о Камилле беспрестанно, но только всегда представлял ее себе в этой последней, трагической фазе ее существования. С баронессою, может быть, происходило то же самое. Мы даже не смели говорить о Камилле. Да, мы о ней постоянно помнили, но говорить о ней не могли именно потому, что не смели. Все легкое для воспоминания о ней мы позабыли, а последнее было не в подъем тяжело для того, чтобы его перетряхивать.

Так мы жили недолго. Несмотря на прекрасное положение нашего жилища, оно опротивело баронессе: она стала им тяготиться и наконец решилась к зиме возвратиться в столицу на целый год раньше возвращения ее мужа. Ей было это неприятно, но оставаться здесь было еще неприятнее. Мы переехали в город и поселились в уединенном старинном дачном доме, приноровленном, впрочем, для житья во всякое время года. Баронесса не сделала по возвращении никому визитов и нимало не заботилась о том, как это будет принято. Я тоже нигде не показывался, и она это знала и, по-видимому, очень это одобряла. Мы вели жизнь самую уединенную, — почти так же, как в замке. У нас не бывал никто, и мы не выезжали ни к кому, а занимались детьми, с которыми после смерти Камиллы все заботы легли на баронессу. Я их только учил, и сам продолжал учиться. О былых увлечениях любовью к баронессе не было памяти; я даже стыдился моих минувших покушений: трагическая история Камиллы все это испепелила. Баронесса была ко мне добра и милостива — я ей всею душою предан, и в этой формуле укладывались все наши отношения, и так дотянулось до того времени, когда она получила известие, что корабль, совершавший плавание, скоро вернется в

Европу. Письма баронессы к мужу стали еще чаще и, вероятно, еще нежнее. Она уже стала устроивать ему кабинет, с величайшею заботливостью помещая в нем все сообразно его вкусам и привычкам. Это сделалось ее любимым занятием и сокращало ей время ожидания, которое исполняло ее и радостью, и трепетом, овладевавшими ею до такой степени, что благородное спокойствие ее характера стало, видимо, нарушаться нетерпеливостью, а выдержанность тона сменилась беспричинною раздражительностию. Меж тем, письма от барона приходили уже из европейских портов с штемпелями французских городов, и, наконец, на одном конверте мы увидали «Paris». Барон получил разрешение быть там для совета со знаменитыми врачами о болезни, приключившейся ему во время его долгого плавания в отдаленных водах. Это известие чрезвычайно встревожило баронессу, и она хотела оставить детей на мои руки и немедленно лететь к мужу. Ожидание для нее сделалось нестерпимо: как прекрасная мать она мучилась от мысли оставить детей одних со мною и прислугою, но любовь и страстное стремление к мужу преодолевало все опасения, и она написала мужу о своей решимости.

Я ей ручался, что не отлучусь от детей ни на шаг и сберегу их до ее возвращения, как свою собственную жизнь, и, конечно, вполне сдержал бы свое обещание, но обстоятельства все изменили иначе. От барона очень скоро получили ответ, что он не замедлит возвращением и просит жену не оставлять детей одних и к нему не ехать. Она осталась — отложила поездку и ждала с постоянно возрастающей нетерпеливостью. Беспокойство ее усиливалось: она была постоянно расстроена и все учащала письма, добиваясь в каждом из них известий о подробном ходе его болезни и всегда не удовлетворялась ответами мужа и еще более беспокоилась, но ехать к нему уже не собиралась. По-видимому, она обиделась тоном его письма, в котором он очень спешно и старательно отклонил ее приезд. Наконец, корабль пришел в нашу гавань, и на нем возвратились все товарищи барона, кроме его самого: он все лечился в Париже, и о болезни его никто не сообщал ничего особенно печального, но даже и ничего ясного. Он продолжал писать, что он болен, но что ему лучше и что пользующий его знаменитый врач убеждает его еще только немножко помедлить, чтобы здоровье его после восстановления не пострадало от суровости нашей зимы.

Баронесса похудела, потемнела в лице и стала задумчива, и начала писать несколько реже. От барона, наоборот, письма приходили часто, но в них все шло вперемежку — то ему хуже, то лучше, то он назначал вблизи день для своего отъезда, то опять откладывал свой выезд на неопределенное время.

Баронесса не выдержала и поехала в морское управление, чтобы узнать о муже. Это был довольно бестактный с ее стороны поступок, потому что он выдавал посторонним людям ее беспокойство и смутные подозрения чего-то очень важного для их жизни. А результатом этого вышло только то, что болезнь барона не сделалась его жене известнее, чем до сего времени, но ей стало известно, что ей за него не следует опасаться, потому что он во Франции находится в очень хорошем положении и в «добрых руках»: о нем печется премилая дама, молодая вдова одного французского моряка, которому барон имел случай оказать большую услугу в Китае, и привез этой вдове драгоценности, порученные ему мужем этой дамы, умершим от желтой лихорадки.

Упоминания женского имени было довольно, чтобы ознакомить баронессу с чувством, которого она ни разу до сих пор не обнаруживала. Она вернулась домой бледная и изнеможденная и несколько дней не говорила ни с кем ни слова, но потом, пересилив себя, взяла прохладную ванну, стала заниматься с детьми и написала очень обдуманное и, вероятно, очень сообразное и достойное письмо мужу. Я заметил, что с этих пор она всегда сильно думала, прежде чем садилась писать почту, и, получая ответные письма, она их перечитывала внимательно, но не огорчалась и не раздражалась.

Я понял, что она возобладала над собою и не выдала мужу своих подозрений: женское имя в их переписке не употреблялось. И это кончилось тем, что от него пришло решительное известие, что он едет. Через неделю мы рассчитывали его встретить, баронесса ожила, и в доме опять закипели приготовления. Настал давно ожиданный день. Это совпадало с открытием железной дороги, которая впервые соединяла нашу столицу с чужими городами. Поезда приходили только два раза — один вечером, часов в восемь, и другой в одиннадцать ночи. План баронессы был таков, что она встретит мужа на вокзале, который тогда был еще не вполне отделан, и проедет с ним в своем экипаже прямо в загородный дом, где мы продолжали жить в отсутствие барона, а я должен был ее сопровождать до минуты встречи и потом позаботиться о получении его вещей, которые хотели оставить в городском доме, куда предположено было вскоре переехать.

И вот мы прибыли к встрече поезда. Было много знакомых, которые узнали баронессу и осыпали ее расспросами. Она была как на иголках и старалась от всех уклоняться и прятаться.

Поезд пришел, но не привез барона. Мы не могли его просмотреть, — а его, очевидно, не было. Но она не хотела верить, что он не приехал, и оставалась на бангофе, пока все разошлись и стали

гасить фонари. Тогда она словно очнулась и произнесла упавшим голосом:

— Бога ради!

— Что вам угодно?

— Подайте мне руку.

Я подал руку, на которую она сильно оперлась, и я почувствовал, что она слабеет и дрожит.

Я ее вел и не смел сказать ей ни слова, но когда мы вышли из вокзала к площади, где стояла ее карета и открытая коляска, в которую я должен был забрать багаж барона, — баронесса очнулась и сказала мне:

— Он приедет с ночным поездом... Я не хочу огорчать детей и не поеду домой. Дождемся второго поезда.

— Следовательно — велеть ехать в городской дом?

— Да.

Я посадил ее в карету и сказал кучеру, чтобы он ехал в городской дом, и сам поехал сзади в коляске.

Неудача этой встречи произвела на меня удручающее впечатление. Хотя мое огорчение, конечно, не могло идти в сравнение с тем, что должна была ощущать баронесса, но я был подавлен и раздражен досадою оттого, что барон не приехал, и отлично понимал, насколько все это глубже и болезненнее должно было отозваться в душе любящей женщины, измученной долгим ожиданием в одиночестве и ревностию, для которой, может быть, была основательная причина. Но помимо всего этого меня укололо и поразило ее восклицание «Бога ради!»... Оно во мне вдруг взбудоражило целую кучу воспоминаний о глупых вещах, которые я считал своим несчастием и старался забыть, чтобы они не мешали жить в моей душе чувствам лучшего, высшего разбора, в ряду которых едва ли не первое место занимала моя преданность и, пожалуй, может быть, возвышенная, идеальная, чуждая всяких расчетов любовь к баронессе... И вот опять эти невзначай сказанные ею слова «Бога ради!» все это избеспорядочили. В голове и в сердце опять произошел хаос и, мальчишка по летам и по рассудку, а еще более по ничтожеству своего положения, я сравнивал себя с Дон-Жуаном в тот момент, когда в его душе пробуждает бурю страстных желаний грустная записка Донны Анны. В уме вертелось:

— Давно забытый мир во мне записка Донны Анны пробудила: я к ней влеком — она моею будет.

К черту! Пошло, подло... и с какой стати это лезет. И в какое время?.. Мы ждем, мы встречаем ее мужа! Я задавал себе жесточай-

шую гонку за одно промелькновение этой неуместной, нежелательной и вполне недостойной мысли... И возился я с этим долго — во все время, пока ехал от железной дороги к городскому дому, да и в доме во все время, пока там оставался с вечера до половины одиннадцатого часа.

Обстоятельства превосходно благоприятствовали этим моим стараниям самоугрызать себя как можно более. Дом был в порядке, но пуст: в нем не жил никто, кроме сторожа, у которого были ключи. Я как высадил баронессу из экипажа, так сейчас же и потерял ее из вида. Она, вероятно, прошла в свою спальню или в кабинет мужа и оттуда не выходила, а я во все время ходил по зале при бледном освещении от одной свечи, горевшей в огромном бронзовом канделябре, и угрызал себя на славу. Может быть, мне следовало бы пойти в дальнейшие комнаты, чтобы осведомиться — в каком положении баронесса? И мне это приходило на мысль и даже казалось необходимым... Не сделалось ли с нею дурноты или обморока?.. Но я не смел, — решительно не смел идти за нею и ходил, как глупый человек, в своей нерешимости до тех пор, пока в половине одиннадцатого баронесса появилась в двери совсем одетая, в шляпе с опущенным вуалем и, приложив над глазами раскрытую руку, проговорила:

— Как тут темно... Прикажите давать экипаж.

Я слышал неопустившиеся еще слезы в ее голосе и не сомневался, что она все это время плакала.

Во все время ожидания второго поезда на дебаркадере она ходила одна и становилась в тени так, чтобы ее нелегко было узнать.

Я не подходил к ней, но следил за нею из отдаления и вдруг стал чувствовать, что барон не приедет... Как и почему я стал заключать таким образом, я решительно не умел и сейчас не умею дать себе отчета, но в этом у меня была уверенность, и она меня не обманула... второй поезд не привез барона точно так же, как первый.

Я молчал и страшился приступить к баронессе, которая теперь долго стояла на одном месте, а потом повернулась и пошла к выходу: я ее свел, посадил в карету и сам поехал за нею в коляске.

По возвращении нашем я не слыхал от нее ни слова, она тотчас же удалилась, а на другой день я видел ее на несколько минут и слышал только несколько слов, но самых обыкновенных, а в урочный час, когда опять настало время встречать первый поезд, — слуга передал мне просьбу баронессы сопровождать ее, — и мы опять поехали. Результат опять был тот же самый, с единственной отменою в освещении, потому что я расхаживал по зале два с половиною часа при огне всех свечей, зажженных женою сторожа в обоих канделябрах, и мне от этого стано-

вилось еще скучнее и еще жутче, — точно как будто я присутствую на собственных похоронах и расхаживаю в одиночестве вокруг собственного гроба. Но она зато казалась терпеливее и мужественнее, — точно она обтерпелась: она ходила твердо и спокойно и не скрещивала руки.

На другой день она отправила меня утром в город к одному знакомому ей дипломату с просьбою от его имени узнать по телеграфу в Париже — не случилось ли чего-нибудь внезапного с ее мужем? Через несколько часов пришел ответ, что «барон три дня тому назад выехал в отечество».

О, если бы кто-нибудь, кроме меня одного, видел — какою прелестью счастливого и чистого чувства покрылось лицо баронессы, когда глаза ее пробежали полученную депешу! Она с детским восторгом сжала свои чудесные руки у груди и взглянула на небо таким благодарным взглядом, что не могло быть ничего столько жестокого, чтобы не умилостивиться перед нею, но, однако, умилостивления не последовало: сатана, вероятно, стоял где-то в той же наглой позиции, в какой его видели при истории с Иовом, и выпросил себе право коснуться ее плоти.

Что за этим последовало на другой день — было ужасно. Мы приехали опять в город: баронесса была в неописуемом нервном возбуждении: она точно будто везде видела мужа или ощущала его присутствие в окружающем ее воздухе... Вот как говорят, что ветерок может доносить женщине дыханье и поцелуи того, кого она любит, — это и было, и представьте себе, что, находясь возле нее, я даже чувствовал, что это в ней происходит. Она даже начала им наяву бредить... Когда мы въезжали в город, нам встретился кто-то в коляске совсем на него не похожий, но она рванулась с места и сказала: «Боже мой! мы пропустили поезд, — он приехал!». Я ее успокоил, что поезд никак не мог быть пропущен, потому что еще не настало время ему придти. Она согласилась, — проговорила: «правда, правда» и даже как будто застыдилась и молчала, храня на лице какую-то особенную страдальческую сосредоточенность, которую я никак не могу выразить, но когда мы входили в зал, что было в час густых сумерек, — она вдруг схватила меня за руку и вскрикнула: «А!.. что я вам говорила». И при этом она хватилась рукою за сердце и быстро пошла вперед, оставив меня одного в полутемном зале...

Я, разумеется, догадался, что ей опять померещилось или почуялось присутствие мужа и что вслед за тем она поняла свою ошибку и теперь ушла, чтобы успокоиться...

Услыхав такое откровение, Фебуфис прищурился и хотел что-то сказать, но почувствовал, что ему как будто заливает дыхание. Он был пьян и не уверен в своих действиях, но понимал он все как следует и каждой вещи отдавал ее значение. Этот герой, который имел когда-то такие романтические успехи, а теперь носил мундир наводящего страх учреждения, не только был ему гадок, он понимал все, к чему он его подводил, чтобы в длинном рассказе об историях бывших «припятнать» его к действительности, и он сделал над собой усилие и медленно, но твердо, как пьяный, который чувствует свою нетрезвость, спросил:

— Это та самая Недда?..

— Да; конечно, она. Она одна из всех, обративших на себя внимание герцога... Она одна умеет его не терять столько лет и ему не наскучить... Другая — начальница нашего монастыря — мать Клементина, но... вот, когда я это только узнал — почему Недда так долго владеет его расположением...

— А теперь ты это узнал?

— Ты говоришь мне «ты»... Если ты это замечаешь, то я очень рад пить с тобой брудершафт...

Директор протянул к Фебуфису руку с стаканом, но Фебуфис не поднял своей руки и продолжал так же отчетливо и строго:

— Это та Недда, у которой теперь моя жена?..

— Да, у нее была твоя жена, или, лучше сказать, она к ней поехала, но где теперь... твоя жена — этого я не знаю, где твоя жена теперь!

Директор посмотрел на него пристально и добавил:

— Да и не все ли это равно?

Фебуфис слегка побледнел, но сдержанно произнес:

— Может быть, ты хочешь сказать даже: «...так ли это важно?»

Директор продолжал смотреть на него тем же проницающим взглядом и с мягкой гримасой ответил:

— Да; и в самом деле, «так ли это важно?».

— В самом деле! — Фебуфис засмеялся и опять повторил, — в самом деле... стоит ли что-нибудь портить, все из-за того, что уже не воротишь?

И прежде, чем директор успел что-нибудь сказать ему в ответ, — он плеснул в него вином из своего стакана и назвал его по-французски:

— Mouchard.[1]

Но, по счастию или несчастию, выплеснутое нетрезвою рукою вино не попало, куда было намечено, и вылилось на колени Фебуфиса и об-

---

[1] Шпион. (*фр.*)

лило его. На директора едва попало несколько капель, которые он смахнул с себя носовым фуляром, и он сказал:

— Вот видишь, как ты глуп, — сам себя облил.

— А ты подл.

— Ничего, это тоже, может быть, не особенно важно.

— Гнусный человек, утративший стыд и совесть! — говорил, качая головой, Фебуфис.

— Ничего, ничего, — отвечал директор, выходя за дверь без малейшей утраты спокойствия, и, надевая пальто, которое подал ему новый слуга, сказал этому человеку:

— Убери его и наблюдай.

— Все будет сделано.

И директор вышел за дверь и, спускаясь по лестнице, встретил только прибывшую в придворном экипаже Помону. Она показалась ему расстроенной и даже дрожащей и бледной. Одною рукою она держалась за перила лестницы, а другою как будто старалась откинуть от лица вуаль или как будто ловила прядь волос, которой, однако, не было, и притом то делала несколько ускоренных шагов, то останавливалась и колебалась... Директор подбежал к ней, взял ее под локоть и сказал:

— Какие глупцы!.. Как они могли отпустить вас одну!

Помона взглянула на него острым, лихорадочным взглядом и прошептала:

— Отойдите!

— Извините, — я не могу вас оставить: вы очень слабы.

— Нет, я довольно сильна.

— Однако я за вас отвечаю.

— Я говорю вам, что я не нуждаюсь в ваших услугах: я могу идти одна. — Где муж мой?

— Он ждет вас дома.

Помона вырвала у директора свою руку и побежала вверх не останавливаясь.

Лакей, открывший ей дверь, еще видел на лестнице директора, следившего за дамой, и взглядом успел ему ответить, что он все наблюдает и обо всем известит.

Директор сошел улыбаясь, сел в свой экипаж, растопырив под плащом локти, и вскачь понесся к загородной даче, принадлежащей институту.

Помона не хотела встретить мужа и направилась прямо из передней к своим комнатам в обход через столовую и открыла сюда дверь прежде, чем слуга успел предупредить ее.

Увидав стол, уставленный пустыми и полупустыми винными бутылками, и за этим столом своего мужа, который сидел без сюртука с головою, опущенною на руки, Помона остановилась в ужасе и потом одним быстрым движением закрыла за собою двери.

Это движение дошло до слуха Фебуфиса, и он поднял голову. Глаза его были заплаканы, лицо красно, взгляд туп и блуждающ. Казалось, что он видел жену и не понимал, что ее видит.

Она стояла без движения и потом хотела к нему броситься и тоже заплакать, но он предупредил ее: он встал с своего места.

Она поняла его состояние, и в ней произошла перемена: испуг и волнение в ней разразились неожиданным нервным движением: она задрожала и с рыданием бросилась бегом в свои комнаты. Фебуфис закачался и упал на месте.

— Зачем ты здесь?!

— А где я должна быть?

— Там, где ты была... где виделась с герцогом...

Она еще побледнела, лицо ее выразило страшное страдание, и она повернулась и, ничего не отвечая, пошла молча к двери.[1]

Фебуфис обошел сконфуженно комнату и заметил на столике ту длинную золотую шпильку, которую он вчера выдернул из волос Помоны, — взял ее безотчетно с собою, принес в мастерскую и воткнул в спинку дивана, на котором ему была приготовлена изгнанническая постель отлученного от ложа супруга.

Это было обидное положение, в котором он не мог бы даже представить себя несколько лет назад, когда был первым шалопаем в Риме. И вот как он уже усмирен в новом своем положении! Что же остается далее? Терпеть... молчать и пользоваться выгодами этого положения, или... возмутиться... нагрубить... все бросить и уйти. Как уйти: незаметно, без жалоб и отомщения, как ушел Пик, или... сделать это... красиво... чтобы было о чем говорить?.. Конечно!.. Бедный Пик! бедный восторженный, преданный идеям дружества Пик! Ведь это он, Фебуфис, устроил ему эту историю... И для чего?.. Ведь ему вовсе даже и не нравилась Калипсо Пика... Но он ей понравился... Случай и ничего более: ему жаль, что он так заплатил Пику за его благородную преданность, — особенно жаль теперь, когда возле него нет никого с такою самоотверженной душою, как Пик, но ведь он не мог ожидать, что Пик так серьезно все это примет... Он об этом даже вовсе не думал... Это такие простые вещи, которые беспрестанно случаются и будут случаться

---

[1] Здесь кончается текст вставки (примеч. сост.).

до тех пор, пока стоит свет... Но где была тоже она?.. где провела целые сутки его Помона? Ад и смерть!.. Свет ведь для всех стоит одинаково... Где она была? Этого нельзя вынесть... Он пойдет, позовет ее, заставит отворить себе двери и сказать ему: где она была целые тридцать шесть часов... Тридцать шесть часов вне дома, обиженная, гневная и полная мстительности... Женщины в таком настроении часто делают непоправимые вещи...

Фебуфис сошел вниз и опять подошел к дверям жены... но не тронул их и возвратился и лег... Он решился все презирать и рисовал себе в уме, как красиво он это исполнит.

На дворе уже серело, и Фебуфис уснул тревожным, беспокойным сном и проснулся поздно, когда жена его была уже одета и принимала именитых гостей.

Собаку ее он не убил и не отравил, потому что находил теперь всякое состязание недостойным. Собака была огромная, серая, северной сторожевой породы, по-своему очень красивая и умная, и — что всего удивительнее, — обнаружившая такую преданность Помоне, как будто она давно ее знала и любила. К Фебуфису же, наоборот, пес чувствовал злобу и с трудом смирял себя в его присутствии.

— Я убью вашу собаку, если она не будет смирнее.

— Убейте, — это не моя собака.

— Чья же она?

— Ее оставил герцог.

— Для чего?

— Спросите у него сами.

— Да, я спрошу.

И он в самом деле спросил у герцога: не забыл ли он у них о своей собаке?

— Нет, — отвечал герцог.— Эта собака понравилась твоей жене, и я оставил ее, чтобы она могла гулять с этим умным и верным животным.

Помона гуляла с умным и верным животным и принимала самых знатных лиц, которые стали наперебой искать честь быть ей представленными. И неудивительно, потому что в городе вдруг заговорили об ее уме, о ее необыкновенном характере и образованности, красоте и талантах, а также... и о том, что герцог неотступно провел возле нее всю ночь в помещении той дамы, вниманию которой Помона была поручена им после своего обморока на замковом подъезде...

Ее без всяких колебаний считали с этой ночи любовницей герцога, и не ошибались... Дело действительно так и было, и о нем, как обыкно-

венно бывает, дольше всех не знал муж. Мысль эта, правда, промелькала и у Фебуфиса, но герцог ему казался слишком благородным для такого дела. Ведь он же сам был его сватом и еще прежде того — его другом и покровителем его художественного таланта... Как это уже давно, и к чему это повело его талант!.. И Пик и Мак теперь более видны, чем он, а он дивит какой-то муравейник и... слывет в нем теперь рогоносцем... Но она в ту ночь, когда он был дерзок с нею и когда она убежала на рассвете, была так огорчена и взволнована... Она кинулась к нему, по рассказам, не помня себя, вся в слезах и упала на грудь его, как ребенок... В нем могло заговорить чувство жалости, гнева и сострадания, но не чувство страсти... нежность отеческая, но не нежность сластолюбца... И потом, если бы он имел тогда такой успех у Помоны, он бы не сказал ему, что сожалеет, что он не может быть его соперником... Он сожалел, что не мог быть, — значит, этого не было... Все это не более как подозрения... клевета... ложь, интрига пустых, погрязших в интриганстве и сплетничестве так называемых светских людей, которым вся забота о том, чтобы унизить независимого человека до своего нравственного уровня и припятнать репутацию женщины... Это многим стоило дорого, — стоило чести и жизни, но Фебуфис этому не поддастся... Жена его чиста, — он в этом уверен, — он объяснится с нею и уверен, что найдет себе в ее чистосердечных словах успокоение, и тогда он сделает над собою усилие, — он унизится перед одною Помоною, он на коленях вымолит себе у нее прощение... Да! да! на коленях — он будет раз в жизни на коленях перед одною своею женою и, услыхав от нее одно слово — одно только слово, что она чиста от того, чем ее хотят заклеймить, — и он встанет более гордый, чем когда-нибудь, и всю свою остальную жизнь посвятит на то, чтобы заслужить себе любовь верной и чистой Помоны... Для этого он оставит эту страну и этот круг общества, где к нему против воли его привились рутина, и лень, и расслабляющее барство... Долой это все!.. Герцог не оценил его искренней и преданной дружбы... Фебуфис ему не нужен, как Кранах Филиппу... Он уйдет... Куда?.. Опять туда... в Рим, к друзьям. Пускай они живут так, как не любит Помона, но он как-нибудь приспособится, а она привыкнет. Любовь всесильна, — она все сгладит... А он возьмет ее любовь... Притом же там есть дружба... там Мак и Пик, сердечный, добрый Пик!.. Как ему увидеться с ним после нанесенной ему тяжкой обиды!.. Зачем он это сделал!.. Проклятые женщины! Как они осложняют жизнь... — Но Пик, быть может, простит... Он ведь так добр и так высоко ценит дружество!.. А внутренний голос допрашивал Фебуфиса:

— А ты простил бы?.. Ты забыл бы своему другу, если бы он оказал тебе такой же знак дружбы на память?

Фебуфис сжал рукою сердце, упал головой на подушку и рыдал, рыдал горько и долго и потом спал облегченный и, проснувшись в сумерки, сел на краю дивана, вздохнул и почувствовал в душе что-то примиряющее. Он не сказал, но подумал:

— Может быть, и это можно простить?

Душа его была в самом мирном и великодушном наклоне к прощению и миру — и это ему было нужно.

— Лишь бы только вне этого круга, этого мира чуждых мне интересов и гадостей... Там, где дух мой жил смело и вольно, он опять вспомянет свою свободу и забудет здесь все... все... Он ничего отсюда не возьмет и ничего не хочет, кроме одной своей жены, своей Помоны.

Фебуфис переживал очень тяжелые минуты, и что бы он ни делал, его томило одно неодолимое желание: помириться с женою и добыть у нее одно слово... одно только слово, которое вдруг получило в его сознании ужасно большой смысл, и силу, и значение... Но как приступить к этому деликатному исследованию? Не может же Фебуфис к ней ласкаться для того, чтобы вымолить слово!.. Она может над ним засмеяться или слово ее будет неоткровенное, неправдивое слово... Прямо и просто спросить?.. Да, но и прямота с простотою прекрасны, только это огромный риск. Преднамеренная прямота, ведь уже не прямота, а тоже своего рода искусство... Притворство? Но надо ловко притворяться... Ждать случая?..

Случай явился. Фебуфис не мог вынести без ущерба всех пережитых им потрясений. Этого не выдержали бы нервы богатыря и нервы тупицы, — Фебуфис же имел огневую и чувствительную натуру. Он заболел и заснул с бредом о прощении, проснулся в ясном сознании, как это необходимо и как это трудно. Он не мог знать, сколько времени он провел в горячке, но когда он с сознанием воззвал о какой-то помощи, перед ним встала его жена. Второй раз случилось то же. Это тронуло Фебуфиса и возродило появившуюся у него перед болезнию мысль об откровенном объяснении и прощении, если последнее должно иметь место.

В нем была надобность. Однажды, когда Фебуфис совсем поправлялся и супруги оставались вдвоем в сумеречную пору, он исполнил свое желание: обнял ноги жены и, склонив голову на ее колени, просил ее простить ему его прошлое поведение и, получив прощение, стал умолять о доказательстве ее искренности и доверия, которое желал видеть в том, чтобы она рассказала ему без утайки все малейшие происшествия того дня, который она провела вне своего дома.

Помона обнаружила при этой просьбе ужас, который усилил терзания Фебуфиса и довел его до неотступных дальнейших просьб и клятв, что он помирится со всем, что было, лишь бы оно ему стало откровенно известно и не повторялось.

После долгого плача и стенаний Помона призналась, что герцог не пощадил ее расстроенного положения и прибавил к одному ее горю другое, но что она в этом была не виновата и перенесла над собою насилие, которому не могла сопротивляться одна в больших комнатах замкового помещения дамы.

Фебуфис с мучительным любопытством допрашивал жену обо всех подробностях и почти убедился в том, что положение ее беспомощно и она не могла выйти из него непобежденною. Ее внесли в обширные комнаты, устланные мягкими коврами, в которых не слышны были шаги человеческие, раздели, уложили на мягкий диван и, приведя в чувство, оставили одну. И тогда вскоре пришел он и, долго ласкав наедине как нежный отец, вдруг переменил тон своего обхождения и, сказав «муж твой должен быть серьезно наказан», овладел ею, не обращая никакого внимания на ее слезы и мольбы, среди всех удобств для его насилия и — полного отсутствия средств к ее обороне, так как стоны и вопли ее были не слышны или на них никто ниоткуда не хотел отзываться.

Фебуфис был раздавлен тяжестью этого открытия... и теперь его жена казалась ему еще обаятельнее и еще милее. Он сам был виноват, он сам довел ее до этого положения, и он должен его снесть и должен простить... если это не повторялось.

— Это не повторялось? — спросил он, сам не узнавая своего упавшего голоса.

Она промолчала.

Он повторил вопрос, — она продолжала плакать и наконец, измученная его неотступностью, уронила:

— Да!

Он упал в кресло и схватил свою голову руками, а она быстро встала с места и хотела уйти, но Фебуфис догнал ее, остановил и, сжав в своих объятьях, проговорил ей:

— Останься!.. Я не могу... я сам виноват, а ты слишком прекрасна.

Утром на другой день он казался спокоен и сказал ей только одно:

— Сохрани меня дольше с этого дня, и мы спасемся отсюда.

Она отвечала ему:

— Хорошо!

Стыд лег своей несмываемой краской на лицо Фебуфиса. Он возобладал собою, но лицо его горело от внутренней борьбы. Он приготовил-

ся покинуть край, что было нелегко при многоразличности связывавших его условий. Чтобы получить возможность удалиться, надо было вести дело так, как будто он ничего не открыл и ни на что не сердится.

Это стоило Фебуфису неимоверных усилий, но он одолевал себя, принимал посетителей и сам показывался в обществе, на балах и маскарадах, куда получал приглашения с женою. И в один из маскарадов, куда он приехал с женою и где Помона потерялась в огромном числе одинаковых черных домино, рукой Фебуфиса овладела злобная маска, которая стала его интриговать и делать ему язвительные намеки насчет его нового выгодного положения в обществе, и, когда Фебуфис встревожился и начал искать глазами жены, маска сказала:

— Не ищи ее — ее здесь нет.

— Ты лжешь, — отвечал Фебуфис.

— Твоя грубость не доказательство, а если ты сейчас же пойдешь на берег реки и терпеливо постоишь в тени у дерева, не сводя глаз с подъезда, то ты увидишь свою маску, выходящую ранее, чем кончится маскарад, и притом...

— Что «притом»?

— Ты увидишь ее провожатого.

— Ты наглая и злая клеветница! — воскликнул Фебуфис, с ненавистью и омерзением сбрасывая со своей руки ее руку. — Я очень раскаиваюсь, что имел неосторожность слушать тебя так громко.

— Не раскаивайся, а спеши лучше к подъезду... Сюрприз будет стоить твоего ожидания! — И маска засмеялась и исчезла.

Она говорила все время измененным голосом, который не дозволял Фебуфису признать ее, но когда она засмеялась, он узнал в ней жену исчезнувшего Пика.

Проклятая женщина! Она мстит мне и клевещет на Помону, — подумал он тревожно, вмешиваясь в толпы пискливых масок, но он напрасно стремился найти между ними свою жену и наконец не выдержал, вышел из залы и, одев верхнее платье, побежал на берег реки и стал под дерево, откуда мог видеть один из скромных боковых подъездов герцогского замка.

Это был маленький подъезд, который совсем незаметно ютился среди густой колоннады. У него не было ни сторожевого поста, и к нему никогда не подъезжал ни один экипаж. Фебуфис, хорошо знавший расположение герцогского замка, даже едва мог припомнить этот подъезд с его маленькою, всегда постоянно запертою дверью, и теперь, когда он старался не сводить своего взгляда с этой двери, ему казалось, что он обманут злою маскою, что дверь эта, вероятно, составляет какой-нибудь

запасной или служебный ход, и она не открывается, а заперта наглухо, или даже, может быть, совсем заложена. Он соображал, какие покои замка могли приходиться над этим входом, и терялся в соображениях. Отсюда в равном расстоянии могли приходиться нежилые покои музея и комнаты дам, но и в тех и в других ни одно окно не было освещено. Маска его, вероятно, обманула и теперь над ним издевается... Может быть, она таким же способом успела пойти и встревожить Помону и представить его смешным и глупым ревнивцем...

Время меж тем проходило, — вдали за рекою на башне пробили часы. Еще через час маскарад кончится, и Помона будет в затруднении искать его в зале... Ударила четверть... Фебуфис не знал, что ему делать, и решался уйти. Маска его, несомненно, обманула... И как он был глуп, что позволил себе поддаться ее наветам и подозревать свою жену после того, как та так искренно и чистосердечно ему открылась в своем несчастии. Да, именно в несчастии, — то было несчастие, в котором он сам был виноват, но теперь...

Фебуфис вздрогнул и почувствовал удушающий спазм в горле: теперь он видел, как маленькая дверь беззвучно точно впала в стену и снова закрылась, выделив две фигуры, из которых одна могучая и статная принадлежала, без сомнения, герцогу, а другая была тщательно закутанная женщина, робко опиравшаяся на герцогову руку и едва поспевающая с ним неровными и изнеможенными шагами...

Ночь была темная, и между Фебуфисом и таинственною парою было такое расстояние, что он не имел никакой возможности разглядеть даму, а, прежде чем он мог их нагнать, они сели в скрывавшуюся за углом карету и быстро умчались.

В высшей степени потрясенный и взволнованный, Фебуфис как мог скорее возвратился в маскарадный зал и застал там уже очень немного масок, между которыми нашел свою жену.

Она казалась несколько рассеянною, но спокойною и только слегка заметила ему, что ей было невесело и что она давно его ищет.

В карете она его обняла и несколько раз жарко его поцеловала, — дома она была к нему нежнее, чем во все последнее время их восстановленного семейного мира, и счастливый художник уснул счастливым мужем возле прекрасной жены... Но не спал зароненный огонь подозрения, а тлел и разгорался: вечером следующего дня Фебуфис сказал жене, будто он видел сон, что она исчезла из маскарада и пропала в каком-то незаметном подъезде замка и вышла оттуда не одна и не скоро... Ему показалось, что Помона пошатнулась на ногах и страшно побледнела.

— Ты изменилась в лице! — воскликнул Фебуфис, словно хватая ее за руку.

— Да, — отвечала Помона, — в этом нет ничего удивительного: если друг другу не верить, и подозревать, и следить за женой как за недостойной женщиной, то гораздо достойнее не жить с ней.

— Но если это правда? Если есть основания для подозрений!

Помона спокойно, но сильно потянула свою руку.

— Ты ничего не возражаешь? — вскричал Фебуфис.

— Это не стоит возражения, точно так же, как ты не стоишь честной откровенности! — ответила Помона и, освободив сильным движением свою руку, удалилась в свою спальню, и... замок в двери опять щелкнул.

Восстановленный мир был снова нарушен, и Фебуфис не спешил ко второй реставрации и не хотел для нее упадать на колени.

Может быть, он не прав: его подозрения ей, конечно, может быть, очень обидны и больны, но ведь, черт возьми, не совсем же большая заслуга со стороны жены — в том, чтобы рассказать мужу, как она ему изменяла!.. Было то волей, неволей или своей охотой, в корсете или даже в мантии и с опахалом в руке, закрывавшем лицо, или во всей свободе райской, — во всяком случае — это не такая семейная радость, поделясь которою с мужем, было бы чем гордиться и требовать себе большего почтения... Что было, то прошло, но оно... все-таки было...

За женщинами этой страны, кажется, положительно надо признать преферанс над другими в том отношении, что они беззаветнее предаются бесстыдству и наглости.

И он все думал и все делал выводы в этом роде, и в то же время работал усердно, как уже давно не работал, — работал с надеждой превзойти всех своих «римлян».

Картина шла к окончанию, и кончалась зима, и пришла новость, заставившая всех встрепенуться и очень многих смертельно испугаться и пасть духом. Вечный Жид закивал головою у Берингова пролива, и с таянием снегов в Европе появилась холера.

В столице герцога грозная гостья сразу вырвала две столь крупные жертвы, что весть об утрате их разнеслась по стране и вызвала сильную робость. Одна из этих жертв близко касалась родственных чувств самого герцога, но он подавил свое горе и стал на высоте своего правительственного призвания: он не обнаруживал ни малейшего страха и ни в чем не изменял обычного порядка своей жизни и занятий. Всем, кто его видел, он казался веселым, деятельным и спокойным. Это производило прекрасное ободряющее впечатление на всех. К предложению многих и

притом очень разнообразных мер борьбы с наступившей эпидемией герцог относился строго критически и часто шутил над ними, говоря:

— Лучшая мера безопасности для всех, кто живет здесь, заключается в том, чтобы смотреть на меня. Я не люблю жидов, ни вечных, ни невечных, и заставляю всех их меня бояться. Все должны смотреть на меня и поступать так, как я поступаю. Я ни в чем себе не изменяю, ни в труде, ни в удовольствиях. Жалею только, что труда у меня много, а для удовольствий мало остается времени. Но тем более я рад быть весел, когда это можно, и советую то же другим. Кто холеры не боится, того холера боится.

Эти слова моментально разнеслись по столице герцога и заменили в ней многие санитарные меры, в числе которых в самом деле предлагалось немало вздорных и смешных.

Льстецы сравнивали их в известном смысле с «медным змеем в пустыне»: как не умирали те, кто смотрел на Ааронова змея, так не теряли бодрости и присутствия духа все, кто неизменно памятовал слова герцога и держался его правил. Герцог беспрестанно появлялся в общественных местах, среди народа, смотрел весело и бодро говорил встречным:

— Кураж!.. смело кураж!

Встречные разносили это по городу. Везде, где только можно было, слышалось это слово:

— Кураж!

Не раздавалось оно только в отдаленных окраинах и городских закоулках, где жила чернь, которая или не знала о кураже, или оказывалась неспособною удержать в себе необходимую бодрость и сама была виновата в том, что делалась жертвою своей унылости. Но и ей давали бесплатно гробы и погребальные дроги, и все похороны справляли рано, чтобы они не производили уныния на живущих.

Знать же соревновала герцогу. Выезжать из столицы было запрещено, но позволено всем веселиться. Удовольствия шли усиленные в смешанном числе — летние и зимние, как будто одни спешили вытеснить другие, а те в свою очередь не уступали места первым. В замке открылися окна, герцог каждое утро гулял по общественному саду в одном сюртуке, — и, конечно, немало рисковал этим, — а в залах зимних собраний еще довершалось предположенное число балов и маскарадов, — и в самом последнем из этих маскарадов Фебуфис дознал вблизи все положение и совершил свою затянувшуюся драму.

Последний маскарад был сверхкомплектный и приходился поздно, когда дни уже значительно увеличились, а ночи стали меньше и светлее.

В день, назначенный для маскарада, Фебуфис получил безыменное письмо, в котором стояли слова: «сегодня, полночь у маленькой двери».

Фебуфис в негодовании сжег на свечке письмо и, сохраняя наружное спокойствие, спросил за обедом жену: в чем она будет одета на маскараде.

Помона взглянула на мужа значительно и отвечала:

— В обыкновенном черном домино.

— Я спрашиваю тебя об этом для того, что не могу ехать туда вместе с тобою: я должен уехать из дома ранее и освобожусь только около полуночи. Когда я войду в зал, мне будет трудно узнать тебя.

— Я сама к тебе подойду, — отвечала Помона.

Перед вечером Фебуфис зашел проститься к жене и, подавая ей небольшую черную ленту, завязанную в бантик, сказал:

— Если ты можешь сделать мне приятное, то приколи к своему капюшону этот бант, — он мне поможет узнать тебя на тот случай, если ты меня не заметишь.

Помона, прищурив глаза, посмотрела через плечо на бант и отвечала:

— Изволь, я это сделаю, но этот бант так обыкновенен, что ничем не отличается от всякой черной ленточки, и он тебе мало поможет следить в твоих открытиях.

— Ну тебе это напрасно так кажется, — отвечал Фебуфис и обратил ее внимание на тонко выведенного посреди ленты огненного дракона. Он был выведен иглою при помощи соответственной едкой кислоты, и разглядеть его можно было только пристальным взглядом и притом зная, что он тут должен находиться.

— Зачем же ты мне показал этот знак? — спросила Помона.

— А что?

— Я теперь буду осторожна.

— Не все ли равно, ты бы заметила его сама.

— Правда.

Они расстались. Это было в сумерки. Помоне близилось время одевать⟨ся⟩ к маскараду, а Фебуфис провел несколько часов бродя по улицам, заходил два или три раза в рестораны, где подкреплял себя глотками грога.

За полчаса до полуночи он стал бродить по набережной, не сводя глаз с известной ему маленькой двери.

Ночь была серая, а потому наблюдения не представляли особой трудности и притом скоро увенчались успехом. Фебуфис едва прошел несколько раз взад и вперед, как на башне за рекою прозвучала пол-

ночь и через десять минут внезапно из-за угла замка в сером сумраке показалась легкая, несомненно женская, закутанная фигура...

Появясь внезапно и быстро, она с тою же быстротою скользила, держась близко стены, как тень гонимого ветром облака, и, несмотря на то, что Фебуфис кинулся бегом ей навстречу, он не мог схватить ее, потому что маленькая дверь перед нею распахнулась при ее приближении — две руки ее обняли, и дверь снова запаялась.

Взбешенный Фебуфис изо всей силы заколотил в дверь, но из-за колоннады его схватил мощный гвардеец и отшвырнул его далеко на середину пустынной набережной. Фебуфис понял, что он безумствует и что ему никак не может удаться проникнуть за эту дверь.

Он встал и побежал к дому собрания и взошел в маскарадный зал.

Фебуфис имел такой исступленный и расстроенный вид, что ему, наверное, запретили бы вход, если бы его большое художественное имя и фавор герцога не ставили его в особенное положение, и благодаря этому он свободно проник в зал и несся, расталкивая всех направо и налево. Глаза его, сверкавшие гневом и бешенством, искали герцога и жены.

Костюмированная толпа шумно веселилась и казалась оживленнее, чем когда-либо, и тому вслух из уст в уста рассказывался повод и причина: герцог был в маскараде, и не так, как он обыкновенно, то есть в своем военном платье, а он был под маскою и притом неизвестно под которою.

Это было слишком необыкновенно, вовсе неожиданно и даже совершенно невероятно, потому что военным не дозволялось посещать маскарады иначе как в установленной военной форме, а герцог сам слыл за образец точности в исполнении всяких правил о форме, но для исключительного положения — чтобы никого не стеснять и быть со всеми вместе, оставляя всех на свободе и не заставляя чиниться, — «он отступил...»

Этот поступок герцога и сообщил собранию необыкновенное оживление: его хвалили и превозносили на все лады как легкомысленная молодежь, видевшая в этом «простоту и сближение», так и многоопытная, осторожно ходящая старость.

— Он всем жертвует, чем ни за что бы не поступился во всякое другое время, — говорили почтенные особы, группируясь около огромного роста сановника с орденской звездою.

— Да, здесь больше нет герцога и его подданных, а только отец с детьми... Ему не до того, ему невесело, его снедают заботы, но он снисходит до состояния их и играет с ними. И этому не нужно никаких изъяснений и оправданий.

— Хотя и их указать нет ничего легче.

— Разумеется, разумеется... Нет ничего легче... Вы что же подразумеваете?

— Классическое выражение: «не человек создан для субботы, а суббота для человека...» Это обнимает все.

— Разумеется, разумеется!.. И еще как обнимает...

— Обхватывает.

— Вот именно: «обхватывает». — И огромный сановник с звездою одобрительно качнул головой и тоже похвалил сказанное о человеке и о субботе.

Люди несколько младшего возраста ждали, что дело этим не кончится: ждали, что внезапно войдет самое высшее духовное лицо с одним ассистентом и — скажет:

— Я пришел не с тем, чтоб мешать вашему веселью... Веселитесь... Дети Иова веселились. Но не забывайте, что вдали от этого дома есть бедные, обделенные на пиру жизни. Дайте, что можете дать мне для тех, которые не могут веселиться, и они развеселятся, а ваше веселье будет еще полнее.

И он обойдет всех, и соберет много денег, и уйдет облегчать участь «обделенных на пиру жизни», а они, так великолепно исполнившие долг свой, удвоят, — нет — удесятерят свою радость, ибо в самом деле, — можно ли еще беспечнее и счастливее переносить общественные бедствия, как они переносятся здесь, в этом простодушном и сердечно устроенном обществе, представляющем одну дружную семью. Во всяком ином месте теперь было бы уныние, а здесь его нет, и на что в другом месте требовались бы организации и учреждения — здесь все заменяется душевностью, поднимающею благоговейные чувства и разверзающею щедрость, все восполняющую и все созидающую без всех учреждений лжеименного разума.

Фебуфис все это слышал и, несмотря на его взволнованное состояние, это производило на него свое впечатление. Человек, которого Фебуфис считает своим жесточайшим обидчиком, дает всем этим людям нравственную силу, радость и упование, в нем их опора и жизнь, а ввиду всего этого не ничтожны ли и не мелки ли его претензии... если они еще вдобавок неосновательны и держатся на одном подозрении... Всем известно, что герцог не лжет и имеет прямой и благородный характер... Да, но это ему не помешало в том, в чем Помона призналась... Все могут знать о характере герцога, что им угодно, но Фебуфис не может заблуждаться... Его успокоит только, если он сейчас может удостовериться, что герцог действительно здесь, а не дома, — еще лучше, если он

сейчас же здесь найдет свою жену... Это возвратило бы ему отрадное доверие к Помоне... Или где там к черту доверие!.. Понятие, выражаемое этим словом, слишком крупно и слишком честно́ для определения их настоящих отношений. Фебуфис искал уже не веры и доверия, а он желал фактической уверенности, что она здесь, а там руки, ожидавшие шелеста легких шагов, обняли в маленькой двери другую...

Ему только это и было нужно как реванш, страшно необходимый для его нестерпимого душевного страдания, для его ужасной эмоции, пожиравшей все силы его тела, как огонь на сквозняке пожирает вереск.

И реванш ему был дан.

В самый разгар этих волнений и истомы в теле и в духе до плеча Фебуфиса сзади дотронулся дамский веер, и дама ⟨в⟩ зеленом шелковом домино и розовой маске прокартавила:

— Ты самый хитрый и самый предусмотрительный человек на свете. Ты теперь ото всего гарантирован.

Фебуфис не отвечал.

— Ты положил свой знак на драгоценную для тебя особу... Я видела, видела крошечных драконов Кранаха на черной ленте...

— Что за дьявол!.. Кто ты такая?

— Давай мне твою руку — я тебя провожу, где сидит дама с меченой лентой... Спеши же, насладись твоей хитростью!

С этим маска схватила Фебуфиса и, протолкавшись с ним сквозь толпу, поставила его перед диванчиком, на котором уединенно беседовали старый лейб-медик герцога и дама в черном домино с лентою, имевшею по концам красных драконов.

Показав их Фебуфису, зеленое домино выдернуло у него свою руку и скрылось.

Фебуфис был успокоен: все тревоги его были развеяны, — жена его здесь, и в маленькую дверь замка, без сомнения, входит иная, до которой ему нет никакого дела... Помона перед ним чиста, и притом в каком она невинном обществе! Лейб-медик умный и прекрасный старик, но он отнюдь не опасен ни для какого супруга, и притом он заинтригован и, очевидно, не узнает Помону.

— Не знаете ли вы мою маску? — спросил он, приветствуя Фебуфиса.

Художник отвечал, что он не знает, но если бы и знал бы, то не сказал бы.

— Да, — отозвался врач, — я и забыл, что здесь нет места правде.

— Как и везде, — от яслей до креста — ее нигде не любят.

— Тем больше здесь — все лжет на все лады.

— И ваша маска тоже?

— О, что до нее, то я думаю, что это сама воплощенная ложь. Не хотите ли поговорить с нею, maestro?

— Нет, нет, нет, он мне совсем не интересен! — взвизгнула дама и убежала.

— Преинтересная маска! — заметил, вставая, покинутый врач.— Вы ее, может быть, знаете?

— Может быть.

— Впрочем, что тут и говорить: дамы так любят искусство! Вы не видали герцога?

— Нет.

— Говорят, будто герцог здесь в костюме рыцаря и будто придет епископ. Это совсем необыкновенно.

— И едва ли верно, — уронил Февуфис, которому теперь было все равно: здесь герцог или нет — раз что не с ним вместе Помона.

Врач заметил ему, что он имеет не совсем здоровый вид.

— Да; я очень устал, — отвечал Февуфис, и это была правда: он очень переутомился от ходьбы, от неприятного выслеживания, от быстрой смены разнообразных впечатлений, — и теперь вдруг и вполне успокоенный, он захотел посидеть и в спокойствии погасить прохладительным вкусным питьем острую жажду, на которую долго не обращал внимания. Зато теперь он даже пожаловался на нее медику.

— Будьте осторожны, — заметил отходя доктор.

— А что?

— Вообще... Мы, может быть, слишком много полагаемся на чувства... у желудка есть тоже свои священные права.

— И я это не забуду.

Февуфис нашел удобное местечко в буфете и с жадностью выпил одну бутылку шампанского и спросил другую, как в это самое время по всему собранию пролетел один общий гул: «Герцог приехал».

Февуфис встрепенулся. Если он теперь только приехал, то, значит, до сих пор его здесь не было... Так и следовало ожидать, что он не явится в маске... Это на него совсем не похоже... Выдумкам нет числа. Но тем не менее Февуфис бросил свое вино и поспешил в зал, куда теперь устремились все, но он спешил не с теми целями, какими руководились прочие: Февуфис хотел сейчас же взять свою жену и уехать с нею домой. Он едва ли имел какие-нибудь рассудочные доводы, для чего ему было нужно увлечь ее, но его побуждало поступать таким образом какое-то моментальное помрачение, какой-то внезапно охватив-

ший его неодолимый страх, похожий на предчувствие близкого и неотвратимого бедствия. Он несся, проталкиваясь в толпе, не разбирая, кого он беспокоит, и искал глазами ленты с драконами и наконец нашел ее: она шла под руку с величественным рыцарем.

Фебуфис догнал ее и взял за руку, но она оглянулась и, видимо встревожась, подалась от него сильнее, прилегая к руке рыцаря, который тоже оглянулся и сделал шаг в сторону.

— Прошу тебя... Едем домой, — прошептал Фебуфис.

Маска покачала головою и толкнула рыцаря далее.

— Я не могу оставаться!

Маска и рыцарь удалялись, — Фебуфис не отставал от них и снова, взяв маску сзади за домино, сказал.

— Я тебя прошу... я болен!

Рыцарь остановился и сурово ему заметил, что маска его не знает, но Фебуфис ему не верил и не хотел его слушать: в его голове спутались представления о том, что этот рыцарь не был герцог, что это уже рассеялось и что настоящий герцог теперь находится здесь в своем настоящем виде, — он того не видал, а этого видел, и жгучая ревность довершила безумие, под влиянием которого все спуталось в его голове. Он хотел быть неуступчивым и дерзким с герцогом и был таким, каким быть хотел, в одно мгновение, когда рыцарь сильной рукой отстранил Фебуфиса от своей страшно смятенной маски и та рванулась бежать — капюшон ее остался в судорожно сжатой руке Фебуфиса, который теперь видел только одно, что это была не Помона, а белокурая придворная дама...

Более он ничего не помнил и не соображал, кроме того, что он был обманут и напрасно освежался шампанским в то время, когда должен был гореть со стыда и ждать у маленькой двери жену, чтобы обличить ее предательское вероломство и... может быть, там же задушить ее за горло своими руками...

За все это ему был не страшен ответ, как не страшно и то, что теперь произошло с ним: он видел смятенные лица и сверкающие гневом глаза герцога и его громкий голос, произнесший одно слово:

— Отправить.

Фебуфиса плотно окружили какие-то люди в вестибюле, он видит на своих плечах незнакомое синее лицо, на него надевают верхнее платье и выводят без шляпы на воздух... Тут на короткий миг явилось просветление — есть кто-то знакомый: это старый лейб-медик, он трогает Фебуфиса за лоб, отстраняя с него волоса, сбитые в ком клейким потом, он с усилием разжимает скорченные пальцы его руки, и потом быстро на-

кидывает ему на голову капюшон его плаща и дополняет слово «отправить» пояснительными словами.

— В особый покой, в госпиталь!

И вслед за тем шепотом: «холера», и лошади мчатся, треск мостовой, тошно и нестерпимая боль, свечи и пар ванны под сводом и «холера по всей форме»...

Фебуфис был первый, который открыл дорогу эпидемии в высший слой общества, и это ему была вина: он сам довел себя до этого, — он и слишком много пил холодного шампанского... Он был слишком неумерен и чересчур пользовался снисходительным благоволением герцога... В этих художниках всегда есть что-то такое, что отличает их от людей настоящего хорошего воспитания — они не помнят своего положения и очень склонны забываться. Холера случилась от пьянства. Это несомненно, потому что так определил сам старый лейб-медик, который видел его ранее и даже предостерегал в присутствии дворцовой дамы... Удивительная прозорливость лейб-медика известна, и с этой поры она будет еще известнее... Он не требует того, чтобы «дайте пульс и покажите язык», а он видит человека издали, вообще... и сейчас определяет... вообще... Но ведь художники считают обязанностью своего звания напиваться... И это в самом деле им надо и полезно для их фантазии... но при холере холодное шампанское не годится, особенно разгорячившись, а он выпил шесть бутылок шампанского...

По другим сведениям выходило даже более, — десять и, наконец, дюжина... Все равно — герцог велел платить все его счеты, какие бы ни было. Герцог необыкновенно участлив...

Самое большое сожаление возбуждала жена Фебуфиса: с ней был роковой случай: она запоздала на маскарад и только входила замаскированная как раз в то время, когда выводили его с синим лицом и волосами, слипшимися на лбу от клейкого пота... Клейкий пот на лице — это примета. Бойтесь, mesdames et monsieurs,[1] клейкого пота. За ним вместе, а иногда и с ним вместе являются корчи. Рука Фебуфиса была как-то неестественно вывернута, и в пальцах судорожно замер черный ленточный бант...

Лейб-медик насилу мог взять эту ленту из пальцев. С несчастной женой Фебуфиса тут же сделался обморок... Ее потому и узнали... Она так и не вошла вовсе в зал, а возвратилась домой. Положение ее в опустелом таким образом доме было бы ужасно, тем более, что это все случилось так неожиданно и нервы ее совершенно потрясены, но при

---

[1] дамы и господа (*фр.*)

ней и старый лейб-медик и все лучшие врачи... Ей не позволено видеться с мужем, да это и невозможно, потому что состояние ее близко к помешательству; а холера слишком заразительна.

Такими свежими толками пополнялась столица, а обстоятельства перевернулись и доставляли для них новую пищу. Февуфис не умер, а выздоровел, но с женой его было худо, она все волновалась, бредила наяву, дрожала от страха, видя повсюду каких-то «кровавых драконов»... Она внушала такое опасение врачам, что они признали необходимым увезти ее отсюда в другую страну, где лучше климат и светлее небо... Иначе они не брали на себя ответственности за ее рассудок... Притом и отец ее, очень богатый человек, вмешался в дело и требовал, чтобы Помоне было дозволено уехать в Лисабон, где у них есть родственная семья известнейших негоциантов.

Герцог дал дозволение увезти Помону в Лисабон, но не позволил, чтобы это было сделано на деньги ее отца. Он заменил ей отца и все велел принять на его счет, причем отправил Помону не одну, а в сопровождении расположенной к ней придворной белокурой дамы.

Февуфис об этом ничего не знал, — его согласие на выезд жены было необходимо по законам, об этом и помнили, но Февуфис еще обмогался и был так слаб, что всякое волнение и потрясение ему были крайне опасны. Тогда закон не нарушили, но пропустили случай через источник права и отправили жену по повелению герцога, воля которого есть тоже закон.

Художники, однако, как сказано, плохо знают вес и меру в своем положении, если оно им благоприятствует. Оттого они иногда вдруг все и теряют.

Так случилось и с Февуфисом.

По возвращении Февуфис был, конечно, поражен этим известием. Во все время своей болезни, продолжавшейся с обмоганием около месяца, он ни одного раза не спросил ни о жене, ни о доме, и не хотел ничего знать об этом. Из того, что жена его ни разу не посетила в госпитале, он ясно понимал, что между ними уже все кончено и никаких поправок ожидать невозможно. Помона достойна одного презрения, и, вероятно, она решила идти вперед тою же избранною дорогой, нимало не стесняясь тем, как называется такое положение, но она, без сомнения, знает, что Февуфис не похож на тех, которые мирятся с подобными положениями и вознаграждают себя за утрату чести более или менее счастливыми сделками. Ему, Февуфису, никто не посмеет сделать такое

предложение... Следовательно, у Помоны есть иной план, который и дает ей смелость ничего не бояться ни в настоящем, ни в будущем... Но в чем может заключаться этот план для женщины, ожидающей под кровлею мужнинового дома, что сюда сегодня, завтра возвратится этот оскорбленный человек с поруганными святейшими правами супруга?..

Теперь, когда Фебуфис возвратился домой и узнал, что жены его давно уже нет и что она далеко, он увидал то, чего одного никак не мог предвидеть, и он был еще раз оскорблен снова уже не несомненными доказательствами неверности жены, но самоволием, вторгавшимся в его законные права супруга.

Он бы сам, быть может, сделал то же самое, если бы только этого захотела Помона: он бы не стал ни угрожать ей, ни выговаривать, — к чему это теперь годилось бы?.. Все поздно! — он бы ее отпустил и... он дал бы ей сам своих денег и не скупою рукою... Нет, наоборот, он дал бы ей много... все, что мог, все, что имеет. Потому что ему теперь ничто не дорого, — ему все равно... Да он и опять всегда будет иметь все, что ему надо, лишь бы только он справился сам с собою и его чувства и способности пришли в равновесие... Он бы отдал ей все, все, чтобы она, и он, и ее отец, и все другие, — весь город, вся эта страна, Рим, мир и вся вселенная, — знали, как он сделал... но вырвать у него это право: распорядиться с его домашними делами, как плантатор распоряжается с вопросами чести купленного на рынке невольника негра... Нет — это нельзя. Фебуфис этого не снесет. Он не куплен на невольничьем рынке, он пришел сюда как гость, может быть, слишком неосторожный, слишком доверчивый, и гость, слишком расположившийся на радушие и честность хозяина, но они оба равны... они люди, и он потребует ответа.

— Как?

Фебуфис мог довольно разнообразно мстить своему сопернику, но он выбрал такое мщение, которое должно было всего сильнее уязвить Тарквиния. Фебуфис жил и служил в этой стране, но он не был ее гражданином и подданным герцога; у него было свое отечество, имевшее здесь при дворе герцога своего представителя.

Оскорбленный Фебуфис не хотел оставаться здесь долее ни одного дня и не хотел ни прощаться с герцогом, ни говорить с ним о выезде: он считал себя свободным и вправе немедленно уехать из страны куда ему угодно.

С этим заявлением он и обратился к своему правительственному агенту, с которым до сей поры не желал иметь никакого дела. Тот выслушал его безучастно и отказался от всякого вмешательства по трем

причинам, — во-первых, потому, что он не имеет инструкций для защиты художника, а имеет строгое повеление дорожить благорасположением герцога, во-вторых, Фебуфис порвал связи с своей страною, и дипломат не считает себя обязанным за него заступаться, а в-третьих, — он не может протестовать против выдачи паспорта жене Фебуфиса, потому что он сам выдал этот паспорт.

— Как же вы могли это сделать?.. — вскричал Фебуфис.

— Я должен был это сделать.

— Почему?

— Я имею инструкцию не противоречить герцогу.

Фебуфис потерял спокойствие и закричал:

— Только как же вы смели... Как же вы смели называть себя дипломатом и чьим бы то ни было представителем!.. Зовите себя герцогским прислужником, его лакеем, рейдкнехтом и... и ступайте сейчас к нему жаловаться за то, что обращаюсь с вами, как вы того заслужили.

С этим он одним быстрым движением правой руки сорвал с своей левой руки лайковую перчатку и так ловко и сильно бросил ее в лицо дипломата, что лайка щелкнула по щеке и нанесла ему чувствительный удар в глаз серебряною кисточкой, какие носили на вздержках перчаток по тогдашней моде.

— Вот! — проговорил Фебуфис и не сказал ничего более, весь пылая бешеным гневом, повернулся и вышел никем не остановленный из посольского дома.

Его никто не остановил и никто не знал об этой сцене, так как Фебуфис объяснялся с дипломатом наедине, но сам дипломат не выдержал дипломатического самообладания и, повязав глаз, в котором появились краснота и опухоль, поскакал жаловаться герцогу.

Герцог, выслушав его, пришел в ужасное раздражение и от гнева и волнения, отпуская посла, даже не протянул ему на прощанье руки. Посол мог не счесть это ни за невнимание, ни за обиду, потому что рука герцога в это мгновение схватилась за ручку звонка и он громким негодующим голосом отдал при нем же приказ: «Сейчас привезти Фебуфиса!»

По силе этого негодования дипломат мог быть уверен, что он хорошо раздул пламя костра, на котором ополоумевший от заносчивости художник будет принесен самому себе во всесожжение.

Судя по необыкновенному возбуждению самолюбивого и гордого герцога, должно было произойти нечто необычайное и превосходящее всякие соображения.

Считали возможным всё, — что Фебуфис не выйдет живой из замка, или что его без всякого суда казнят где-нибудь в подземном казема-

те, или даже всенародно — на дереве, на фонаре перед балконом посольского дома...

— За что же... посольский дом?

— Чтоб знали все другие иностранцы... Они могут искать защиты у своих представителей, и их представители могут за них протестовать, но жалобщики до тех пор успеют расстаться с жизнью и на том только свете узнают, много ли они выиграли от протеста.

Это нравилось огромному большинству, но немного противоречило вновь явившимся любопытным соображениям. Основательные умы заметили: в чем же тут виноват посол?.. Он, напротив, обезоружил герцога своим поведением!

И в самом деле, что-то обезоруживающее действительно, должно быть, имело место, потому что вслед за одним курьером, посланным наспех, чтобы подать Фебуфиса в замок сию же минуту, поскакал еще скорее вдогонку другой, с приказанием привезти Фебуфиса за четверть часа до полночи, и не успел еще доехать этот другой, как от замка скакал уже третий, имевший распоряжение везти Фебуфиса завтра утром в карете с закрытыми окнами, и, наконец, в самую полночь, когда герцог возвратился из спектакля, к Фебуфису был послан четвертый посланец с приказанием коротко объявить художнику, что герцог требует его к себе в замок в шесть часов завтра утром.

Все эти распоряжения доходили до Фебуфиса, нимало его не смущая, — как будто они не до него касались; когда же ему было объявлено последнее распоряжение, впоследствии которого насильственный привод перед герцога отменялся и Фебуфис делался сам ответственным за его явку в замок, — его спросили, исполнит ли он данный приказ?

Фебуфис сидел у камина, облокотясь на руку, и, не изменяя положения, ответил:

— Хорошо, — мы увидимся.

За ним присмотрели и остались им довольны. Он всю ночь ни с кем не разговаривал, не пил и не ложился спать, а продолжал сидеть перед камином. Платье его лакей встряхнул и вывернул перед глазами: ни в одном кармане не было ничего похожего на что-нибудь несоответственное, но, чтобы еще не было ошибки, у самых сходов на Фебуфиса наткнулся неосторожный или совсем глупый разносчик с мелким печеньем и обсыпал его мукою, но бдительная утренняя стража успела помочь горю, оказав художнику внимание, очиститься скоро и как можно чище... При этом опять все похоронные помещения его туалета были осязаемы и... все в порядке.

Ответил, вероятно, только один неосторожный разносчик, и то не надолго, — до тех пор, пока сбросил с себя коробью с сухарями и костюм и заменил все это своею полицейскою курткою.

Утро было холодное и ветреное, не располагавшее людей к спокойному и приятному настроению. Напротив, чьи нервы были в беспорядке, тот в ощущениях внешней природы должен был получать еще большую возможность. Герцогу и Фебуфису это давало подходящее освещение. На лице не совсем еще оправившегося и проведшего ночь без сна художника лежал горячий бледный мат, под которым, как под воском, рдела краска другого внутреннего освещения!

Как проводил ночь герцог, было неизвестно, но он встал как раз в свое время, — в шесть без четверти часов и, перейдя из спальни в свой узкий и длинный рабочий кабинет, приказал отворить оконную раму.

— Осмелюсь вам доложить, что сегодня холодно и на дворе резкий ветер, — представил ему камердинер.

Герцог не поднял на него глаз и приказал: «Не рассуждать!»

С этим он сел на письменное кресло и сильным движением придвинул его к столу. Камердинер открыл окно и, проходя мимо герцога к двери, заметил, что он бледен и делает такие движения челюстью, которые были у него всегдашним признаком гнева и волнения.

В приемной перед кабинетом камердинер увидал начальника столицы и Фебуфиса. Первый был с своим ежедневным докладом, а второй с пустыми руками.

Камердинер окинул быстрым взглядом приемную и нигде не заметил большого картона, в котором Фебуфис приносил на просмотр и утверждение герцога свои художественные проекты.

— Он будет жаловаться или на него будут жаловаться, — мелькнуло в уме камердинера, и он поспешил удалиться с таким заключением, что он не желал бы быть на месте тех, которым теперь предстоят объяснения с герцогом.

Начальник столицы вошел в кабинет герцога первый и вышел оттуда очень скоро, отворив дверь и приглашая туда Фебуфиса. Из кабинета дуло и пахло холодом.

Художник взошел и остановился. Герцог не сидел за столом, а стоял у открытого окна задом к двери, в тонкие пазы которой шипел сквозняк.

По груди и плечам Фебуфиса пробежала дрожь.

Герцог слышал, что он вошел и, не оборачиваясь, громко крикнул:

— Ты явился!

— Да, — отвечал Фебуфис, озабоченно взглянув на свои руки.

— Что?! — еще громче крикнул, поворачиваясь, герцог и, сделав несколько шагов, окинул его уничтожающим взглядом. — Я тебя считал лучше, чем ты есть, я слишком тебя избаловал!..

Художник молчал.

— Но если ты не умел ценить моего великодушия, то я тебя заставлю почувствовать, что ты весь в моей власти!..

Фебуфис взглянул опять на свои руки и, заметив покрывавшую их синеву, нервно и смело ответил:

— Я всего сильнее чувствую в эту минуту над собою ужасную власть этого ветра.

— Что!

— Я стыну... мне холодно здесь.

Взгляд герцога на мгновение смягчился.

— Извини, я забыл, что ты недавно был нездоров, — и с этим герцог сам подошел к окну и закрыл раму, а потом, оборотясь к Фебуфису, добавил: — сядь.

Художник не сел.

— Ты производишь бесчинства!.. И притом ты бравируешь ими.

— Я прошу вас меня отпустить...

— Что-о!

— Я прошу отпустить...

— Ты лжешь! — перебил его герцог.— Ты слишком много о себе думаешь... Ты зазнался... Наш хлеб и все, чем ты был здесь осыпан, привели тебя к глупым мечтам.

— Я не предаюсь никаким мечтам и держусь самой простой действительности: хлеб и все другое, что я получил здесь, — получено мною за мои труды. Я не считаю себя за это никому обязанным и ни у кого не в долгу.

— А-а!.. Так ты такой!

— Всегда такой, каким рожден и каким был до тех пор, когда вы меня сюда пригласили.

— Но ты забыл, что всему есть мера!

— Нет, ваша светлость, не я это забыл.

— Не ты!.. Так кто же?.. Этот посол?.. Твоя жена?

— Ваша светлость!.. — вскричал, бледнея, Фебуфис.

Герцог его не слушал и продолжал тем же тоном:

— Мы должны были спасти ее от твоего зверского с ней обращения, и она спасена!

— Ваша светлость! — еще громче вскричал Фебуфис.

— Что? Что ты хочешь, что ты можешь сказать в свое оправдание?!

Ответа не было.

— Говори же! говори. Я жду твоих оправданий!

— Вы их не дождетесь.

Герцог побагровел от гнева.

— Ты хочешь быть сослан, замучен... заморен в подземной тюрьме!.. Хорошо!.. Это будет!

Он сделал шаг к столу и взял в руку колокольчик, но остановился.

— Почему ты не хочешь сказать того, что может быть оправданием в том, что ты сделал?

— Потому что вы все это знаете и я не хочу доводить вас до необходимости унижать сан свой ложью.

Герцог поглядел на него, бросил колокольчик и, пройдясь быстрыми шагами два раза вдоль всей длинной комнаты, остановился перед Фебуфисом и тихо сказал: «Прости меня!»

С этим герцог протянул свою руку и страшно покраснел, заметив, что Фебуфис не спешит ее взять, но он опять поправился, — он положил обе свои руки на плечи художника и хотел ему что-то сказать, но только глядел ему в глаза, тяжело дыша и колеблясь.

Фебуфис молча расстегнул ему пуговицу в его сюртуке и сказал:

— Вам нужен доктор.

— Нет, ты ошибаешься, — доктор не нужен, — я знаю, что мне нужно.

Он скорым шагом подошел к столу и, стоя, написал карандашом несколько слов и, подозвав художника, велел ему прочитать написанное.

Написано было: «Я убил себя сам от стыда за мой бесчестный поступок».

А пока Фебуфис это прочел, герцог успел снять со стены заряженный кухенрейторовский пистолет и, подавая его Фебуфису, сказал:

— Казни меня, — и с этим оборвал все пуговицы по борту и стал перед ним с раскрытой грудью.

Волнение герцога было так сильно, что казалось, будто видно, как его сердце бьется под его белой рубашкой.

Фебуфис молча взял пистолет под мышку левой руки и, закрыв ладонью правой своей руки лицо, опустился совершенно ослабевший в близстоявшее кресло.

В комнате ясно можно было слышать, как тяжело бились два сердца. Герцог прервал тягостное молчание: он поглядел на Фебуфиса и отвернулся и опять поглядел смело, гордо и настойчиво сказал:

— Стреляй же в меня! Тебе нечего бояться.

— Я не боюсь.

— Так стреляй?!

— Не хочу.

— Я приказываю.

Фебуфис отнял руку от глаз и поднял на герцога равнодушный взгляд.

— Ты не слушаешься.

Молчание.

— Что это? Презренье, сожаленье?

— Сожаление.

— Оно мне не нужно.

— К несчастью, оно нужно народу, который думает, что ваша жизнь нужна для его блага.

— Ага... народ! Но ведь он ошибается?.. Ошибается?.. Да?

— Народ всегда ошибается.

— Откровенно!

Герцог отвернулся и сморгнул с обоих глаз слезы. Грудь у него ходила ходуном, — в ней было много горячего и страстного расположения к тому, кого он перед собою видал и боялся...

Да, герцог хотел бы обнять и расцеловать, и боялся того, как Фебуфис это примет. Он может отшатнуться, и тогда что?..

Через минуту он взглянул на неподвижно остававшегося в кресле художника, опять сделал было к нему движение... опять было протянул руку, но воздержался и произнес скоро:

— Ты свободен.

Произнося это, герцог отошел к окну и стал в то самое положение, в каком был четверть часа тому назад при входе Фебуфиса.

Фебуфис молча поднялся с места, положил пистолет на стол сверх карандашевой записки герцога и тихо вышел.

В дверях его встретил камердинер, который одним взглядом окинул Фебуфиса и кабинет и, закрыв дверь, дал знак пропускать художника далее.

Во второй приемной Фебуфис увидел директора полиции и главного сановника. Они стояли в амбразуре окна и разговаривали, но, увидев Фебуфиса, замолчали. Сановник взял в свою правую руку платок и золотую табакерку, а директор заложил пальцы за борт мундира и в другую руку взял свой рапорт. Фебуфис прошел молча, холодно с ними раскланявшись. Вместо него в кабинет герцога сейчас же был позван директор. Он возвратился оттуда почти через минуту и, глядя на дверь, в которую удалился Фебуфис, проговорил:

— Неприкосновен и в ласке.

— Да? — спросил сановник.

— Да; сказал: «Я не могу позволить ему превзойти меня в великодушии».

Сановник подумал минуту и ответил:

— Это пустяки.

— Я думаю то же.

— И притом этого нельзя допустить: это его потом станет тяготить и он будет раздражаться...

Директор молчал, а сановника попросили к герцогу.

— Сейчас, — отвечал он приглашавшему адъютанту и, положив в карман платок и табакерку, сказал директору:

— Надо...

— Припятнать?

— Да, заказать универсальную микстуру со старой сигнатурой...

— «Неблагонадежность»?

— Да! — отвечал, кивнув бровями, сановник и отправился с портфелем в кабинет герцога.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Февуфис возвратился к себе совершенно истерзанный сценою своего объяснения с герцогом, лег в постель и заснул глубоким сном, но его, однако, скоро разбудили для важного дела. К нему по приказанию герцога приехал тот офицер, с которым Февуфис держал свое легкомысленное пари в Риме. Теперь он был уже в большом чине и пользовался большим благорасположением герцога. Перед Февуфисом он еще до сих пор оставался в долгу, который можно было считать и шуточным и серьезным. После проигрыша Февуфису пари на «завтра и послезавтра» он был обязан «беспрекословно исполнить одну его просьбу», с единственной оговоркою, чтобы «это не заключало в себе ничего щекотливого для его чести».

Теперь герцог прислал его осведомиться о здоровье художника и уверить его в участии и благорасположении герцога.

— Оно мне не нужно, — отвечал Февуфис.

— Но герцог желает быть вам полезен.

— Он мне был только вреден до сих пор и ничем не может быть полезен долее.

— Вы хотите, чтобы я это именно ему передал?

— Да, — я вас об этом прошу.

— Я не могу.

— Почему? Я имел за вами неоплаченный выигрыш на пари, по которому вы обязаны исполнить то, что я потребую, лишь бы это не было для вас унизительно. Пришло время вам расплатиться со мною, и вы, как честный человек, не должны от этого отказаться, так как в том, о чем я вас прошу, нет ничего для вас унизительного.

— Вы правы, — я ваш должник, и в теперешнем поручении вашем я не могу указать для себя никакого унижения, но... вы знаете пылкий характер герцога...

— Я не хочу его более знать!

— Его еще никогда и никто не видал столько растроганным и столько расположенным... скажу вернее, жаждущим и нетерпеливым излить на человека все щедроты и милости... Он посылал меня к вам со слезами на глазах и... вы требуете от меня... чтобы я теперь...

— Да, теперь... Что теперь?

— Теперь, когда он, не привыкший ничего ожидать, ждет скорее узнать, что он может сделать для вас радостного и приятного... Я не могу ему объявить ваш сухой и кичливый ответ.

— В таком случае вы...

Полковник вспыхнул и перебил:

— Позвольте! Не спешите осложнить дело новой обидой, которую я снесть буду не в состоянии. Я заплачу мой долг вам, но передам, что вы мне сказали, в более мягких выражениях.

— Нет! — непременно в тех самых, как я вам сказал, — азартно вскричал Фебуфис, вскочив с кушетки, на которой лежал до этой минуты. — Да, господин полковник, — вы непременно должны передать ему мои слова, как они мною сказаны, иначе я буду вправе не считать вас честным человеком.

Полковник посмотрел на него сухим, немножко презрительным взглядом и ответил:

— Хорошо, вы не получите права дурно думать о моей чести. — С этим он повернулся и вышел не поклонясь.

Через несколько минут он был в кабинете герцога, который действительно ожидал его с нетерпением и в самом добром настроении. Он встретил своего посла ласковым взглядом и сказал:

— Ты долго ездил, но зато в это время я придумал, чем я могу угодить больному и капризному maestro. Я подарю ему прекрасное именье в прекрасной местности, куда он может уехать и жить там, как он хочет. Но однако говори прежде, что он сказал?

— Государь, — начал полковник и остановился.

Герцог сдвинул брови.

— Я в большом затрудненьи...

— Что он сказал! — вскричал, краснея от гнева, герцог.

— Я должен сказать... в тех самых словах...

— Да, непременно в тех самых словах!

Полковник повторил слова Фебуфиса: «ваше участие и благорасположение ему не нужно и...»

Говоривший почувствовал, что ему сдавило в одном месте грудь, и глаза герцога стали всего на вершок от его глаз, а громовой голос крикнул:

— И!.. И что «и»?

— И «он знать вас не хочет».

Кроме одной схватки в груди у полковника перехватило дыхание в горле, и он увидал себя на ковре в небольшой комнате, смежной с кабинетом...

В кабинете слышались скорые, нетерпеливые шаги герцога, потом стеклянный стук графинной пробки и дребезжанье о зубы стакана, который, очевидно, трясся в дрожащей руке. Через мгновенье герцог появился в дверях и, продолжая тяжело дышать, спросил:

— Как ты смел?..

Он не договорил далее «что» именно «смел», но тот понял и отвечал:

— Я был обязан к этому честью.

— Какой честью?

Полковник рассказал давнее событие, о пари в Риме. Герцог побагровел: гнев его дошел до безумия.

— Я был предметом пари!.. шутом!.. игрушкой, на которую шли об заклад ребятишки!.. Теперь я понимаю, отчего я ему кажусь так ничтожен... Но он это узнает! А ты иди прощайся с женой и детьми: ты не должен быть здесь — твое место далеко.

Но через час полковник был снова призван и услыхал от успокоившегося герцога перемену: ему была прощена его смелость в передаче заносчивых слов Фебуфиса, и он же должен был поехать объявить художнику, что он долг свой исполнил во всей полноте, а Фебуфис должен немедленно выехать навсегда из владений герцога.

II

Фебуфис только и желал этого, но притом и еще чего-то. К тому же его болезненная слабость, усиленная потрясениями этого дня, не дозволяла ему уехать тотчас. Нужно было некоторое время, чтобы нажить запас необходимых для далекого путешествия сил.

Это было ему дозволено, хотя понято более с экономической точки зрения. Предвидели, что опальный художник должен распорядиться

своим достоянием, которого у него накопилось немало от его больших заработков и еще от больших щедрот баловавшего его герцога.

Престарелый сановник, ведавший имущественные дела страны, убедясь в полной опале художника, осмелился напомнить герцогу о некоторых художественных предметах большой ценности, находившихся у Фебуфиса, и предлагал взять их назад.

Герцог на это не согласился.

— Мой долг был лишь напомнить.

— Ты его и исполнил, а я исполняю свой: что я раз дал, того назад не беру... А ты не считаешь ли еще своим долгом напомнить мне что-нибудь о «достоянии нации»?

— Да, государь.

— В таком случае я попрошу тебя сказать мне, обязана или нет мне чем-нибудь эта нация?

— Конечно, государь.

— Прощай же, министр, и помни, что никто не бережет достояние страны так, как я, — и напоминать мне об этом излишне.

Этим кончилась тревожная история в замке, и имя Фебуфиса там не произносилось, а у швейцара его дома поочередно стал сидеть полицейский в форме, а два переодетые агента полиции гуляли по противоположной стороне улицы. Окна дома постоянно были темны, Фебуфис не показывался за двери и по отчетам, подаваемым о нем полиции прислугою, ничего не говорил о сборах, ничего не продавал и не укладывал, а сидел один в своей студии и с ужасным нетерпением ежедневно ждал какого-то письма.

Герцогу содержание этого письма стало известно несколькими часами ранее, чем письмо получил Фебуфис. Оно пришло из Рима и было написано Маком, а по смыслу всем, кто его прочитал прежде Фебуфиса, оно показалось очень загадочным.

Энергический Мак писал: «Письмо твое нас обрадовало. Ты хорошо сделал, что вспомнил о нашей дружбе. Она все-таки несколько лучше, чем то, на что ты полагался. Письмо твое мы читали вдвоем, запершися с Пиком. Пик плакал, я же был груб, как всегда, но однако понял твою цель „все сладить так, чтобы не осталось ни йоты". Не одобряю, но Пик одобряет и, отирая слезы, трясется от гнева и мщенья, подозревая, что тебе будто, вероятно, нанесены обиды. Я не считаю себя вправе предполагать ничего другого, кроме того, что тебя попрекнули тем, что ты получил за свои труды. Впрочем, верую с Стерном, что „все возможно в природе", — особенно в природе людей, у которых головы способны кружиться от высоты их положения. Поэтому — не рассуж-

даю и присоединяюсь к заговорщикам. План отмщения очень красив... Пик от него в восторге и все берется устроить. Лучше его едва ли кто способен обставить с торжеством самые большие глупости. Все будет произведено в прекрасной местности, на всей красоте и при участии трех стихий. Эффект должен получиться самый внушительный, особенно для людей впечатлительных. Герцог будет убит, и историки долго не будут знать, как отнестись к этому событию. Я, конечно, ничего этого не одобряю, ибо я — да простят мне боги — ценю блага мира и люблю мой покой, но, впрочем, и меня ты увидишь там, где должно произойти достойное всемирной известности историческое событие, оценить которое сумеет только разве наше потомство.

По отправлении этого письма выезжаем на место. День близок, и мщенье готово. Твой Мак».

Письмо такого огнепалящего содержания было сущим кладом для приближенных герцога. Оно доказывало их неутомимую и искусную бдительность, за которою им теперь представлялся великолепный случай показать свою преданность его особе. Герцога умоляли только об одном, — чтобы он воздержался от проявлений гнева и молчал несколько дней, как будто ему ничего не известно. Необходимо употребить хитрость против измены и коварства, чтобы дать преступной затее выясниться, и тогда ее накрыть и разоблачить всю махинацию и изловить всех виновников злодейского умысла, а не одного Фебуфиса.

Положено было привести конверт в порядок и доставить его обыкновенным путем неблагодарному и злонравному художнику и с сей же минуты усиленнейшим образом следить каждое его движение. Этим путем должно было открыться возмутительное дело, которое Фебуфис замыслил и, обманув бдительность местных властей, успел сообщить свой, очевидно, отчаянный, но, к сожалению, неизвестный план преданным ему друзьям в Риме. Уже по одному тому, как Фебуфис примет это письмо и что он начнет делать, надеялись разгадать и предупредить многое.

К сожалению, такая сдержанность и ход тихою сапою были совсем не в духе пылкого герцога, который любил все побеждать скоро и наказывать примерно и строго, а потому лицам, имевшим намерение повести подкоп против подкопа, стоило большого труда испросить у герцога дозволения не арестовывать сейчас Фебуфиса и дать ему обнаружить яснее свой умысел и получить в свои руки всех участников преступного заговора.

Только после самых смелых доводов, для большей убедительности которых докладывавший дело почтенный старец преклонил перед герцо-

гом свои дрожавшие колена, — герцог поднял его и соизволил на его просьбу, но с тем, чтобы дело в разведочном фазисе пребывало не более десяти дней, и затем, если этим способом все не раскроется и заграничные участники не очутятся в надежной ловушке, то немедленно перейти к иному образу действий в духе герцога, — ввергнуть Фебуфиса в самый темный и сырой каземат и заставить его одного рассчитаться за всех, кто хотел ему помогать, чтобы уязвить облагодетельствовавшую его руку.

На этом ответственные дельцы отошли от лица герцога, и письмо Мака было вручено Фебуфису так покойно и таким обыкновенным путем, что он ничего не заметил и прочел дружественные строки, ничего не подозревая.

От надзиравших за Фебуфисом его домашних людей сейчас же было известно, что письмо оказало на него очень сильное впечатление. Он нетерпеливо разорвал конверт и, когда прочитал письмо, лицо его покрылось живою радостью, а потом на глазах его заблистали слезы, и он долго ходил ускоренными шагами по комнате и повторял сам с собою:

— О благороднейшая дружба! О верный великодушный маленький Пик!.. Какого я достоин унижения перед тобою, а ты так кроток и так меня любишь. Но ты отмщен и еще более мстишь мне, собирая своею лаской горячие угли на мою голову.

И когда Фебуфис таким образом переволновался и выплакался, он позвал своего слугу и велел дать себе выездное платье и запрячь лошадь.

Это был первый его выезд после бурных объяснений в герцогском замке.

Каждый шаг его был прослежен, но не обнаружил ничего особенного: художник сделал несколько визитов товарищам, с которыми был ближе прочих, но был принят только одним из всех, и этому открылся, что он прощается и завтра уезжает.

Это было чрезвычайно странно, потому что его дом оставался как полная чаша и его художественные редкости, утварь, хозяйство и все драгоценности оставались как были, и он не делал ровно никаких распоряжений ни об охранении их, ни о продаже. Тот единственный сослуживец, который принял Фебуфиса, обратил внимание на это странное обстоятельство и нашел, что художник дал ему ответ какой-то несообразный и глупый, — точно как будто он не понимал в чем дело.

Полиция, — как ей и следует, — знала гораздо более: она догадалась, что это Фебуфис делает какой-то отвод глаз и отлучается на вре-

мя, надеясь ничего не потерять в имущественном отношении. Ведь он же в самом деле не дурак, — он знает цену всему, что имеет, — он это тут нажил, а ведь в других местах ничего не наживают... Он вернется, — он делает какие-то лисьи уверты, но потом вернется «после переворота»... Только полиция-то его умнее, и она не спустит с него глаз, и никакого переворота ему сделать не удастся, а все его имущество тогда станет на законном основании достоянием государства, — что по всей справедливости так и следует, потому что он здесь все это нажил.

Ему положено было не мешать выехать и направляться куда ему угодно, но только он нигде не останется один без надзора ни на одну минуту. Его слабость после болезни дает прекрасный предлог окружить его надлежащим вниманием и притом сделать все это для него сюрпризом, чтобы он не имел никакой возможности сделать перемену в том, что он замыслил и решил сделать.

Это и мастерски было устроено с находчивою предусмотрительностью и ловкостью людей, обыкших предотвращать злонравные намерения. В то самое время как Фебуфису была подана коляска, запряженная четверкою почтовых лошадей, к подъезду его дома подскакал полковник, знакомый нам с встречи в римской мастерской Фебуфиса.

Он был теперь не один, а в сопровождении очень молодого подпоручика, которого ввел вместе с собою в приемную художника, и сказал:

— Я являюсь к вам по приказанию герцога... Герцог находит, что ваши силы еще довольно слабы для того, чтобы вы могли полагаться на себя один в том путешествии, которое вы предпринимаете. Этот молодой только сегодня произведенный офицер имеет поручение сопровождать вас в одном с вами экипаже, если это вас не стеснит...

— О, нимало! — отвечал Фебуфис.

— В противном случае он может ехать отдельно.

— Нет, для чего же? Моя коляска довольно просторна.

— С вами, может быть, много вещей.

— Со мною не будет никаких вещей.

Полковник удивился и спросил:

— Как же так?

— Да, вот так. Я ничего не хочу брать отсюда с собою.

— Значит, можно предполагать, что вы едете не надолго?

— Предполагайте что вам угодно.

— В таком случае рекомендую вам вашего спутника: вы его не узнаете?

— Нет.

— Это мой сын.

— Очень может быть.

— Что?

— Вы говорите, что этот молодой человек ваш сын?

— Да.

— А я говорю, что это, может быть, так и есть на самом деле.

— Я жалею, что долг службы моему повелителю лишает меня права сейчас же попросить вас стать vis-à-vis[1] с пистолетом в руках, но я вас ненавижу!

— А я сожалею о том, что последним воспоминанием об этой стране у меня будет отец, который открывает карьеру своему сыну дебютом шпиона, но я вас презираю.

— Милостивый государь!..

— Ничего! Снесете, милостивый государь! Должны снесть из повиновения вашему повелителю. Я ведь понимаю, что я теперь в своем роде священная особа, которую нельзя ни трогать, ни останавливать. Я довольно пожил среди вас, чтобы понимать вас, и пользуюсь выгодами моего положения. Вы здесь ведь все это делаете постоянно, а я держу себя наглецом только один раз и то напоследок. Надевайте ваш плащ и фуражку, молодой человек, и мы едем, а дорогою я буду говорить вашему сыну, господин полковник, как низко то поручение, какое вы ему добыли и, вероятно, еще не без трудов и усилий, чтобы он мог отличиться, и, если дух его хоть немножко способен к жизни, то, быть может, он, проведя время со мною, возвратится к вам совсем не тем, чем бы вы желали его видеть. И это и будет вам и возмездие и заслуженная кара за рабские свойства вашей души. Сдвиньтесь с места — вы мне мешаете выйти.

И он закурил сигару, взял в руки тросточку, надел шляпу и плащ, сел рядом с офицером и поехал, производя безнаказанно беспорядок тем, что курил на улице, тогда как это тогда строго было запрещено в столице герцога.

Экипаж путешественников имел легкий вид экипажа, в котором люди выехали на самую непродолжительную прогулку в загородные окрестности. Оба путника сидели одетые по-городски, ни с одним решительно никакого багажа. В доме Фебуфиса слуги удовлетворены жалованьем и содержанием за месяц вперед, но ни одному из них не дано никакого общего распоряжения. Все оставлено так, как будто это не имеет никакой ценности и может быть взято кем угодно.

---

[1] напротив, лицом к лицу (*фр.*)

Путники ехали. Сколько времени они ехали — неизвестно. Можно сказать по-сказочному: ехали много ли, мало ли, долго ли, коротко ли, но видели приключения. Их окружали и все время не покидали видения, с первого взгляда простые, но таинственные: то их обгоняли два купца и ехали впереди их экипажа, то их встречали на станции два охотника и потом за ними следовали...

Так неотступно следовали эти видения и дали Фебуфису повод заговорить с его молодым спутником о сродстве его миссии с тем, что делают эти купцы, превращающиеся в охотников для того, чтобы вскоре опять обратиться в купцов. Молодой человек был довольно крепких убеждений и, по-видимому, совсем отвечал своему назначению, и притом же он имел основание негодовать на художника за колкости, сказанные его отцу, но он принадлежал к числу тех, у которых всеянные семена падают на мелкую почву и скоро дают ростки и еще скорее вянут. Он скоро стал стесняться главною сущностью своей роли и оказывал предупредительность и даже угодливость своему сопутнику, — точно как будто они были друзья ⟨и⟩ делали приятную прогулку.

Но роль молодого человека вдруг приняла характер непредвиденный и неприятный: путь их, направляемый по воле Фебуфиса, шел не внутрь страны, принадлежащей герцогу, а к одной из ее окраин... Во все время путешествия художником не сделано ничего такого, что внушало бы хотя малейшее подозрение, что момент обнаружения заговора близится, а ⟨в⟩ пределах чужих владений преследование сделалось бы уже невозможным, и тогда вышло бы, что и охотники, и купцы скакали и менялись обличием напрасно.

А между тем предел владений герцога был уже близко, и экипаж делал уже последнюю станцию к границе. Здесь должна была произойти развязка. Впереди, в верстах в шести, был мост через речку, которая служила границей владений, и у этого моста застава, при заставе стража, которую купцы или охотники должны предупредить, и экипаж Фебуфиса будет задержан, и с художником перестанут церемониться: молодой офицер оставит Фебуфиса, и он будет направлен обратно с купцами или охотниками, которые доставят его в такое место, где он все откроет о своем злоумышлении и выдаст своих соумышленников.

Молодой человек все это предвидел, знал близость и неизбежность такого розыгрыша и ожидал его с живейшим удовольствием, чтобы скорее отделаться от своего спутника, tête-à-tête[1] с которым не только стал

[1] пребывание наедине (*фр.*)

его утомлять, но даже нестерпимо ему наскучил. Поэтому молодой человек, приближаясь к развязке своей миссии, чувствовал себя легче и держался живее и беззаботнее, а Фебуфис, наоборот, казался серьезнее и озабоченнее, точно и он знал, что здесь сейчас очень скоро должно произойти нечто весьма решительное и внушительное.

Дорога шла вдоль песчаного берега пограничной реки, неглубокой и тихой, шириной шагов в пятьдесят. По этой стороне, где катился экипаж и где за час перед тем проскакали налегке два охотника, рос в отдалении еловый лесок, который на значительном расстоянии от берега был бесхозяйственно вырублен, оставив по себе высокие пни и несколько корявых деревцев, не представлявших цены для сруба. Потом шла до самой воды песчаная полоса с колесным накатом, вполерек которого плелись и во множестве мест выбивались наружу серые и коричневые смолистые корни срубленных елей. Пейзаж был унылый и скучный, а дорога отвратительна по своей тяжести и тряске, которые причиняли корни.

Чтобы избегать беспрестанных толчков, почтарь ехал стороною от колесного наката, сыпучим песком, в котором тонули и колеса экипажа и ноги коней. Поэтому путь совершался тихо, шагом.

На другой стороне реки пейзаж был иной. Та же природа и те же деревья там глядели иначе. Старый еловый лес и там был, очевидно, сведен, но вместо его засеян и возрос молодой частый ельник, свежий и сильный и густой как щетка. Он доходил вплоть до реки, вдоль которой не было видно никаких убогих колесных тропинок, а свежая трава и тень, летали птички, и слышалось веселое посвистыванье реполова. В одном особенно красивом месте стояла купа, состоявшая из шести старых очень красивых сосен, не срубленных при разумной эксплуатации леса по каким-то особым же соображениям.

Соображения эти объяснялись тем, что под тенью этих деревьев помещался очень небольшой домик лесного сторожа, которому эти деревья были оставлены для того, чтобы ему было где отдохнуть и на чем отвесть глаза, пока вырастет новая поросль. К этому домику, который был так укрыт, что его не сразу можно было рассмотреть, вела неширокая шоссерованная дорожка, обозначавшаяся у самой реки и сейчас же терявшаяся в густом ельнике. У фронтона домика возвышался шест с тянувшимся до его верху шнурком, на котором, без сомнения, лесник поднимал, когда ему нужно, флаг. Теперь, как день был заурядный, будничный, на этом флагштоке было поднято что-то другое: шар не шар и комок не комок, а так что-то просто небольшое и темное. Очень дальнозоркий глаз, и особенно долго всматриваясь, может быть, рассмотрел

бы, что это черная широкополая мужская шляпа с совиным пером за тульею. Фебуфис навел на этот предмет бинокль и, передав его офицеру, сказал:

— Чудак, должно быть, тот, кто живет в этом домике.

— Отчего?

— Посмотрите: он поднял на флагшток свою шляпу.

Офицер посмотрел и, возвращая бинокль, сказал:

— Да, это шляпа.

— Любопытно, зачем она там?

— Ее, наверное, сушат.

— Ах, в самом деле!..

— Да, пожалуй, что сушат. А то, может быть, это какой-нибудь условный знак. Шляпа эта меня интригует.

Это приходилось всего уже в трех верстах от заставы и моста, которые и были прекрасно видны путникам, приближавшимся к своей цели в коляске. Река здесь делала изгиб, при котором застава с мостом являлись у едущих впереди, а лесная сторожка как бы подходила к ним сбоку. Фебуфис, заинтригованный шляпой, обратил внимание на весь вид, и, привстав в экипаже, сказал:

— Шляпа-то шляпой, а и все это место прекрасно.

— Вы правы, ландшафт очень хорош, — отвечал его спутник.

— Это не ландшафт, а пейзаж. Вы понимаете разницу?

Молодой человек посмотрел на него недоуменно и покачал головой.

— Если бы со мной был мой альбом, я бы срисовал этот прекрасный ландшафт.

— Теперь вы его называете «ландшафт». А у меня есть карандаш и бумага, если они вам годятся.

— Давайте их: они сделают свое дело.

Молодой офицер подал художнику свой бумажник с листками хорошей бумаги и мягкий карандаш.

— Отлично! Побудьте здесь, а я подойду ближе к реке и... вы будете иметь вид этот на память.

С этим он положил бинокль на свое место в коляске и посоветовал спутнику смотреть в него на ту сторону, а сам сошел под бережок, в два, три штриха нарисовал флагшток со шляпой и осла с длинными ушами и затем крикнул:

— Пик, Мак!

Эхо с той стороны прекрасно повторило эти слова и сделало перестановку:

— Мак, Пик.

Фебуфис улыбнулся довольной и счастливой улыбкой и стал снимать с себя все платье, обувь и белье, и, раздевшись донага, крикнул:

— Господин офицер!

Тот откликнулся.

— Сойдите сюда. — И пока тот сошел, Фебуфис был уже на половине реки, где вода доставала ему по грудь, и, оборотясь к офицеру, прокричал ему громко:

— Возвращайтесь назад... Вам больше некуда ехать... Возьмите себе на память вид этой местности, а вашему повелителю отвезите мои штаны и снятую рубашку. Пусть он поймет, что Фебуфис не дорожил тем, чем его низость позволила попрекнуть меня. Все бросаю ему.

Там на вашем берегу я отряс песок от ног, а здесь я окунаюсь с головою, чтобы омыть себя всего и ничего от вас не перенести с собою, потому что от всего вашего... холопом пахнет!

И он повернулся к офицеру спиною и пошел бодро на другой берег реки, где в это время никем не замечено выступило явление: у самой воды стояли Пик и Мак и держали в руках полотно и всю новую одежду для Фебуфиса.

Так он наказал герцога, — он ничего не взял, — он перешел нагой из владений герцога на соседнюю землю и тут радостно обнял свободных и верных ему друзей, которые его одели, как новокрещенца, в приготовленные ими для него новые одежды и, восприняв его таким образом в лоно прежней семьи, увезли в Рим, чтобы он там стал на новые ходули.

Положение офицера, оставшегося на берегу герцогских владений, было исполнено оригинальности и комизма. Молодой человек был чрезвычайно сконфужен: то, что столь неожиданно случилось, было не похоже ни на одну из комбинаций, каких он мог ожидать, и теперь, оставшись над скинутым на берегу платьем и бельем Фебуфиса, он только мог смотреть в бинокль, как на той стороне легкая пыль взвилась за увозившим друзей экипажем. Но экипаж этот скоро скрылся, и офицер, опустив бинокль, засмеялся над самим собою. Что ему оставалось делать: оставить здесь откинутые Фебуфисом одежды и спешить к заставе или поднять эти реликвии и в самом деле взять их в столицу герцога как доказательство события?

Из этого нерешительного положения молодого человека вывели неожиданно подоспевшие к нему два купца, которые теперь были одеты жандармами. Они видели все, что здесь произошло, с крыльца заставы и прискакали сюда на помощь, которая, впрочем, — увы — была уже

невозможна. Они были серьезны и старались, чтобы их деловой вид был внушительным укором легкомыслию офицера, оставшегося над скинутым бельем Фебуфиса. При них бы это ни за что не случилось: они бы поняли, что значит шляпа и перекличка «Пик-Мак» и «Мак-Пик». Теперь все дело потеряно — следить больше нельзя... И черт один знает — есть ли за чем следить?! Может быть, все в том и состояло, что Фебуфис не доверял, что фараон дозволит ему уйти на свободу из его владений, и призвал своих отчаянных головорезов, ожидавших его под шестом и лопоухою художническою шляпою?

Он всего и достиг, — он все здесь бросил, — даже свое носильное платье, — он отряс прах с ног и окунулся в реке с головою, чтобы показать свой разрыв с страною и, может быть, даже свое презрение к ее повелителю, близость с которым он почитал за что-то нечистое, маравшее его честь, и хотел ото всего этого очиститься...

Впрочем, это вопрос щекотливый, о котором он больше думал, чем говорил. Как это следует понимать — должны решить стоящие выше, которым всякое сложное дело виднее. Исполнительское дело — все скромно сохранить и о всем обстоятельно довесть до ведома старших. Утаить этого нельзя, и как ни неприятно чувствовать себя игралищем Фебуфиса и его шаловливых друзей, а его последний завет надо исполнить: надо снятое и брошенное им на песок белье, платье и сапоги поднять, перенести в коляску, уложить и везти все это назад в столицу герцога вместе с смешною прощальной картинкой, напоминающей этот ландшафт со шляпою, которой и теперь уже не было на шесте, и с молодым осликом, которого офицер прежде вовсе не видел, а теперь, задумавшись, только покраснел и сконфузился.

— Может быть, этот дерзкий нахал сделал этим намек на меня!..

Но скрыть ничего невозможно: все должно быть представлено в полной сохранности. Жандармы были свидетелями всего, что осталось у речки. И все это было доставлено, герцог потребовал к себе только одну прощальную картинку и смотрел на нее долго и с любовью, а потом спросил:

— Сколько же времени он это рисовал?

— Одну минуту, — отвечал сконфуженный офицер, представленный герцогу для личного объяснения.

Герцог перевел свой тяжелый взгляд на него, потом потрепал тыльной стороною руки по рисунку и сказал:

— Талант виден и здесь!

— О, да, ваше высочество, — отвечали враз полковник и достопочтенный Беда.

Герцог показал глазами на сконфуженного провожатого и на изображение ослика и добавил:

— И какое сходство!

Беда достопочтенно улыбнулся, а полковник и его сын только преклонились.

Герцог привстал и, уронив рисунок на пол, сказал офицеру:

— Сохрани это у себя на память: я у тебя после спрошу.

А потом ободрительно положил на плечо полковнику свою руку и сказал громко по-французски:

— Ты не конфузься, чтобы сходство не было так велико, я произвожу твоего сына в следующий чин. Это его выделит из ряда товарищей и всех убедит в его исполнительности.

Отец и сын, оба, на лету поцеловали руку герцога, и тот отпустил их без всякого гнева, сказав:

— Очень рад, что могу вам угодить за то, что вы для меня сделали: отец подержал пари на меня, а сын отдал меня на потеху мальчишкам.

Награжденные вышли.

Герцог прошелся по тому же длинному кабинету, где сравнительно еще так недавно давал пистолет Фебуфису, и, став на том же месте лицом к окну, а спиной к достопочтенному Беде, спросил:

— Не можешь ли ты разъяснить мне, старик, одно странное и страшное положение, которое меня неотступно преследует и мучит?

— Что вам угодно, герцог?

— Отчего это все так складывается, что я, — в моем по-видимому самом свободном и независимом положении, — не свободен?

Лицо Беды сильно покраснело и выражало мучительное недоумение.

— Не понимаю, ваша светлость! — ответил он робким и несмелым голосом, прижав персты рук к своей груди.

— Врешь, старина, — понимаешь! Впрочем, я тебе скажу попрямее: отчего я так часто принужден приближать к себе и отличать таких людей, в которых не вижу достоинств и презираю их, — а должен отдалять тех, которых мог бы уважать и хотел бы видеть?

— Это очень просто, ваша светлость.

— А например?

— Вы жертвуете своими симпатиями пользам страны.

— Гм... да!.. Ну это ты, может быть, врешь. А однако, вот что...

Герцог повернулся на каблуках лицом к исполнителю своих предначертаний и проговорил живым и не допускающим возражения тоном:

— Ты понимаешь, что я не могу дозволить ему удивлять меня своим великодушием.

— Совершенно понимаю, ваша светлость.
— И для того... немедленно должно распорядиться его имуществом.
— Слушаю, ваша светлость.
— Все сберечь и все выслать ей.
— Но ведь она может сюда возвратиться...
— Она здесь не нужна... Ты хочешь мне возражать?
— Если позволите, да.
— Говори.
— Она ваша подданная.
— Что же дальше?..
— Она имеет право вернуться на родину.
— У меня и без нее есть подданные, и все они не имеют никаких прав там, где выше всего мое право.
— И кроме того... я бы еще решился представить...
— Представляй?!
— Время может осложнить для нее ее положение.
— Ты дальновиден.
— И тоже для него...
— Ну!
— Он едва ли вернулся в Рим с теми же силами, с какими приехал из Рима...
— Да, мы умеем людей портить.
— Он разочаруется в своем самомнении...
— Да, и, пожалуй, станет проситься назад?
— Нет, но увидит свою глупость, что все здесь бросил и ото всего отказался.
— Он никогда этого не увидит.
— Но...
— Но если бы он это и увидел, он никогда в этом не признается, и те, которым мы с тобою не могли посыпать на хвосты соли, его там не бросят.
— Но... я опять смею сказать «но», — продолжал, улыбнувшись, почтенный Беда, — я прошу позволения подождать с возвращением, пока получу еще одно известие о ней... Я прошу этого у вашей светлости как личной мне милости.
— Ну, пускай будет тебе эта милость, — отвечал герцог, протянув вельможе руку, которую тот поцеловал и, поклонясь низко, вышел.

В тот же день этот почтительный и преданный слуга герцога написал письмо в Лисабон к даме, сопровождавшей Помону, и требовал от нее сведений о ее спутнице. Вскоре был получен ответ: Помона была

мать, и ребенок ее, мальчик, получил крестное имя герцога, что, впрочем, было довольно распространенным обычаем во многих знатных семействах этой страны, горячо благоговевшей перед своим герцогом.

Оставалась забота о том, чтобы дитя было признано его законным отцом. Почтенный Беда начертал план сношений для этого даме и однажды после доклада просил у него позволения представить этот план на его одобрение.

Герцог отстранил от себя листок, в котором было изложено наставление, и сказал:

— Никогда более не напоминать мне об этом.

В столице герцога роман этим для всех был закончен, но в других местах он еще имел продолжение.

Фебуфис в сопровождении Пика и Мака благополучно следовал в Рим. Как при встрече под шляпой на шесте, так и во все время пути он был в возбужденном и восторженном состоянии. Дух его сделался бодр, и пострадавшее тело чувствовало возобновление сил и крепости, — только лишь сердце порой замирало от воспоминаний и вызываемых ими волнений. Во-первых, встреча с Пиком была и радость и укол в сердце, — и, обнимая его, Фебуфис плакал от благодарности за его дружбу, но тут же чувствовал мучительную горечь от воспоминаний, как с его стороны была оскорблена эта дружба. Он целовал Пика и в то же время старался от него отодвинуться и смотреть ему в глаза, чтобы прочесть там, что осталось записанным в его памяти и чувствах.

Но Пик и Мак были оба одинаково ласковы к возвратившемуся другу, ни один ничем не напоминал ему ни о каком недоразумении или несогласии в прошлом. Пик, потрясая руку Фебуфиса, говорил:

— Ну вот! ну вот ты снова с нами, как голубь, который летал путешествовать по свету и вернулся опять к друзьям на голубятню.

Фебуфис говорил только: «Да, да, да!»

А Пик продолжал его обнимать и лепетал:

— Поверь, что с нами лучше!

— О, да, конечно, да!

— Мы все скорей поймем, и все скорей простим...

— О, да, мой милый Пик, о да!.. Вы люди... А ты, бесценный Мак, — ты верный, но жестокосердый друг, который часто подтрунивал над тем, что называл моими фантазиями. Как часто я вспоминал тебя!..

— Ну, теперь больше не утруждай своей фантазии, — не вспоминай, а гляди на меня, пока я тебе не надоем.

— Надоешь!.. Ты никогда мне не надоешь — особенно после сегодняшней встречи... Я мог еще ожидать этого от него — от доброго Пика, но никак не от тебя.

— Почему же не от меня?

— Потому что ведь ты реалист и враг всяких эффектов, а это, на твой взгляд, конечно, эффект и, может быть, неоправдимый, глупый эффект...

— Оставь это!.. Что мне за дело!

— Нет, отчего же!.. Брани меня, Мак, шути надо мною и смейся, но верь, это мне было нужно. Этого эффекта требовала моя оскорбленная до глубины душа...

— И ты прекрасно сделал, что не отказал ей в том, что она у тебя требовала. Душа как ребенок, — пусть ее тешится, лишь бы не плакала и не слабела, а собирала силу и крепла. Я не смеюсь ни над чем и шутить над тобой не намерен. Мак — твой приятель, — такой же, как был, только стал старше и, старея, учит себя быть добрым. Советую и тебе делать этот запас.

— Хорошо, хорошо, Мак, ты будешь моим учителем, а я твоим покорным учеником. Я доказал человеку, который меня грубо обидел, что он меня не понимает...

— Да и черт с ним совсем! — он никогда и не поймет, — перебил живо Мак, — перестань о нем поминать и станем жить как живали.

В городке, который стоял недалеко от места, где Фебуфис совершил свою переправу и омовение, друзей ожидал ранний обед, который они съели весело и с аппетитом, — выпили вина за «возобновленье дружеской жизни» и поехали своим путем и дорогою к Риму.

Здесь, в виду Вечного Города, в той самой таверне, где при отъезде Фебуфиса происходило его прощанье с друзьями, теперь его ожидала еще более живая встреча. Все, кто уцелел и не уехал из прежних друзей Фебуфиса, и множество молодых художников, которые не знали его лично, но знали о его даровитости и о его непосредственном нраве, оставившем по себе художественные и, конечно, преувеличенные рассказы.

Фебуфис был окружен их живою и радостною толпою и долго переходил из объятий в объятья, пока наконец стал лицом к лицу перед молодою, несколько излишне располневшею, но еще красивою женщиною, в которой узнал Марчеллу. Она его тоже обняла и поцеловала и положила ему на просвечивавшее темя душистый венок с вплетенною между цветов терновою веткой, причем, надевая этот венок, нечаянно уколола себе до крови палец терновой иглою.

Фебуфис схватил эту уколотую руку, поцеловал ее и, всосав языком каплю крови, пошел вперед с Марчеллою к экипажу, который должен был везти его в Рим.

Во все время своего пути из столицы герцога и даже еще ранее, — с первого момента, когда Фебуфис задумал отмстить герцогу за его грубость, покинув все до единой нитки и перейти нагим на чужую землю, — он не затруднял себя вопросом: как он обойдется с жизнью, прибыв в Рим? Правда, что он ехал с великою жаждой трудиться и снова блестеть своими работами, но все это были, может быть, очень хорошие и статочные предположения для дальнейших дней, а что нужно теперь, сейчас же на первых порах, — он об этом не думал. Мысль об этом впервые побеспокоила его только теперь, когда колеса экипажа, в котором он ехал с Марчеллой, застучали по каменной мостовой Рима. Только теперь Фебуфис вздумал о том, куда он едет и как будет обходиться завтра и послезавтра? Он доказал свое благородство и гордость, и он чист, но... он слишком чист: он пришел назад нагишом, и... ему теперь кажется, что не один Мак может над ним смеяться...

Но почему же, однако, они никто не смеются?.. Никто не шутил, никто ни о чем не расспрашивал... Это с их стороны снисхождение. Оно сродни сожалению, которое с своей стороны напоминает о слабости и... оно... не возвышает по крайней мере...

Фебуфис завел руку за жилет и крепко прижал рукой сердце, потому что оно упало и замерло так, как не замирало даже в то время, когда он видел, как беззвучно захлопнулась маленькая дверь замка за темным силуэтом, в котором он узнавал фигуру своей жены.

— Проклятая бедность! Проклятая бедность! — пронеслись в его ушах некогда часто слышанные им слова молодой Марчеллы. Он никогда не знал значения этих слов в том смысле, в каком они терзали любящую и ревнивую душу Марчеллы, той самой Марчеллы, которая теперь после довольно долгой разлуки сидит опять рядом с ним и везет его в своем экипаже.

Он взглянул на нее, — еще раз удивился, как она пополнела и сколько в ней тишины и довольства, и остановился на мысли: откуда все это?

— Марчелла, что же ты не скажешь ни слова мне о себе: как идет твоя жизнь?

— Хорошо, — отвечала беспечно Марчелла.

— Где же ты живешь?

Она назвала местность и прибавила:

— Ты будешь жить в двух шагах от моей виллы.

— Твоей виллы? Ты вышла замуж?

Марчелла покачала отрицательно головою.

— Получила наследство?

— Еще того менее, но что ты за цензор!

— И правда. (В уме мелькнуло опять: проклятая бедность!) Но ты мне сказала, что я буду жить по соседству с тобою.

— Да, и я всякий день буду ставить у себя за столом старое кресло для старого друга. Ты не откажешь обедать со мною?

— Спасибо, спасибо.

— У меня вкусно готовят ризотто и понтэ-кале, которое будем пить за обедом, куплено вместе с погребом дома. Я надеюсь, тебе понравится сад мой, похожий на рощу. Там мы с друзьями проводим сиесту. У меня ведь все те же друзья. Я ни с кем не поссорилась. Мак всегда оставался моим другом. Марчеллу все по-прежнему любят, и она по-прежнему не страдает ни от чьих осуждений... Я ничем не смущаюсь, мои дети здоровы...

— Твои дети! — перебил Фебуфис.

— Ах, да и правда, — ты ведь не знаешь: у меня трое прекрасных детей, и — представь: все красавцы.

— Как мать?

— Нет, — все в разном роде. Но что ты так смотришь, кажется, все это в порядке вещей... у молодой женщины, если она живет жизнью, свойственной ее силам и летам, очень могут быть дети, а если отцы их ветрены и непостоянны, то, черт возьми, не женщина же должна себя казнить за их непостоянство! О нет, нет, нет! Я отдала мой долг терзаньям и с ними кончила.

— Ты чистая и добрая, Марчелла!

— О полно, полно об этом, Фебуфис! — слегка сдвинув брови, сказала Марчелла. — Нас, чистых, бросают, а доброй быть невозможно, когда никому и ничем не можешь помочь. Я смеюсь теперь, Фебуфис, над прошедшим.

Теперь я свободна... я свободней, чем прежде, и порой иногда могу быть другим немножко полезна... Вот моя вилла, а напротив твое помещенье!

И когда она это выговорила, коляска остановилась в узенькой загородной улице, окруженной со всех сторон роскошною густолиственною зеленью. Справа и слева шли невысокие каменные заборы с перевесившеюся через них сочной листвою, а за ними, в глубине садов, тонули домики, из которых одни были красивы и даже роскошны, с прихотливыми архитектурными украшениями, а другие просты и скромны. Дом Марчеллы был со старинным гербом, под которым на новой дощечке

было ее новое имя, а напротив за забором в тени помещалась старая скромная вилла, где предусмотрительность друзей Фебуфиса и более всего предусмотрительность Марчеллы устроила ему удобное жилище, состоявшее из спальни и обширной мастерской с огромными окнами с прекрасным видом на город и с освещением, какое нужно для его художественных занятий.

Все это было убрано скромно, но хорошо, в его вкусе, — на стенах было много новых картин и разнообразной величины полотна и мольберты, палитры и кисти и краски. Фебуфис удивился, найдя для себя готовым такое жилище именно в ту минуту, когда он вспомнил, что у него нет никакого приюта.

— Мне это много!.. Каким это все волшебством и откуда слетело? — спросил он Марчеллу.

Она отвечала ему, что все его друзья принесли ему в дар по картине.

— А помещение, и все остальное, что здесь есть?

— Это все пустяки... Прими это все от Марчеллы.

— От тебя!..

— От меня как от старого друга. Поверь, это тебя не унизит.

— Но сколько все это стоит!

— Не дороже улыбки Марчеллы за чашкой шоколада. Будь добр к своей бывшей Марчелле и не расспрашивай больше. Возьми скорей ванну с дороги и приходи обедать ко мне вместе со всеми друзьями. Я удерживаю всех до семи часов вечера. Позже я не принадлежу себе немножко.

— Что у тебя за положение, Марчелла?

— Увидишь.

Фебуфис остался сделать свой туалет, за которым его застали Пик и Мак, и увлекли его к Марчелле, жилище которой блистало роскошью, обед был обилен и вкусен, а вино прекрасно.

Фебуфис все это видел, — пил, ел, старался казаться бодрым, беспечным и умным, но все постоянно чувствовали, что он не естествен, что он здесь как будто уже не на месте и не попадает в тон.

Проходя после обеда на веранду через одну из уютных комнат с широким и мягким диваном в угле, он заметил над этим диваном портрет того кардинала, которого изображал в непристойной картине, и остановился.

Марчелла подошла, взяла его под локоть и провела на веранду.

— Смотри, какой чудный вид от этой колонны! — сказала она, ставя его у столба и отходя к столику, на котором изящная девушка поставила дорогой кофейный прибор.

Фебуфис смотрел и ничего не видел: он мял одной рукой другую руку и, казалось ему, теперь понимал, откуда все это взялось у Марчеллы и кому он обязан дозволением снова жить в Риме...

С каждой минутой ему все сильнее казалось, что он сделал что-то чрезвычайно глупое, что вся его житейская ставка проиграна и что ему совсем не за чем было сюда возвращаться... Они здесь все жили своей простой жизнью... Их терли и мяли колеса житейской телеги, но они так не изломались, как он, отшатнувшийся от своего круга. И они все его сильней и счастливей. Марчелла говорит о том, что ее бросали, пока она была чиста и искренне любила... а теперь у нее есть дети — красивые, но все в разном роде и есть час, когда она пьет с кем-то шоколад... Конечно, под этим портретом... Он в силе более чем прежде, он значит более, чем сам папа, особенно в внутренних делах... и вот.

— Ты все понял? — тихо спросил его Пик, сжимая его локоть.

— Да, — отвечал Фебуфис.

— И что же бы ты хотел иначе? Мы с ней по-старому друзья... Нельзя судить, когда всего не знаешь, да и вообще, что за охота судить. Она ко всем добра по-старому и благороднейшего сердца. Мы, мужчины, тоже ведь большие негодяи и — Бог один знает — может быть, мы-то и есть всему виною. А ты... как ты думаешь?.. А? А я нынче часто думаю даже так: действительно ли все это, что мы представляем себе очень важным, так же и есть важно на самом деле? Право, стоит только человеку представить себе все это иначе, как оно и в самом деле получает совсем иное значение... Может быть, в этом истина.

— В чем? — раздумчиво произнес Фебуфис.

— В том, о чем я тебе говорю.

— Я тебя не понимаю.

— А я тебя понимаю, и я это говорю с опыта... Это для меня стало истиной и сделало меня свободным от больших терзаний, от которых ты не свободен и мучишься... Поверь мне, Фебуфис, что все это не стоит никаких забот.

— Что же на свете стоит забот?

— Забот стоит только одна постоянная забота иметь как можно меньше забот или — еще лучше — совсем не иметь их вовсе. Ты знаешь, я стал буддистом. Я не привязан к жизни... После некоторого случая в моей жизни я утратил доверие к возможности счастия и... с тех пор все простил и все позабыл и... я счастлив, и тебе от души бы советовал обратиться к тому же. Не полагай своего блага ни в чем и ни в ком вне себя, и оно все соберется внутри тебя самого. Пойдем выпить

кофе, который нальет нам Марчелла, а то она скоро станет следить за часовою стрелкой, и мы здесь будем не у места.

И все это так сделалось: друзья напились кофе у Марчеллы и после первого скрытно ею брошенного взгляда на круглые часы, помещавшиеся над дверью веранды, встали и, простившись с хозяйкою, вышли и расстались.

Пик и Мак не сопровождали домой Фебуфиса, который казался им очень утомленным, и он один вошел в свое одинокое жилище, сел у окна и долго-долго глядел вдаль и не заметил, как наступил вечер. Ему было грустно, невыносимо грустно, и внутри себя он ощущал безграничную и беспросветную пустоту и безволье. Он сделал все, что он хотел, вернулся, куда хотел, и нашел именно то, что желал найти — радушье и дружбу... Даже более — Мак над ним не шутил и не называл его Дон Кихотом, Пик устранил все тяжести недоразумения за прошлое, а Марчелла счастлива... только он один несчастлив... Он не может вернуться к их взглядам и к их нетребовательности, от которой на него веет цинизмом. Они все добры, все отстрадали свое и теперь беспечальны, помирившись всякий со своим положением. Он не может и не хочет усвоить себе их настроенья и взглядов. Его иначе настроила жизнь. Если бы он жил здесь с ними все то время, которое прожил в другом совсем круге, может быть, и он бы судил и чувствовал так, как они, — но теперь он не годится, он не в силах вращаться в их сфере. Он здесь еще более одинок, чем там, где его терзали измена жены и интриги царедворцев герцога. Хуже ли, лучше ли он Пика и Мака и измененной Марчеллы, но только он им не родня, он чужд им, и они ему чужды настолько, что он будет скрывать от них все, и он видит, что сделал большую ошибку, вернувшись сюда в их среду. Ему надобно было удалиться от света без всяких эффектов, жить одиноко, безвестно, слиться с природой и в тишине создать произведение, которое отразило бы и все его муки и показало бы идеал чистой жизни. Теперь все это ушло... Он вспомнил «проклятую бедность». Он нищ, вполне нищ, потому что у него нет даже силы душевной, которая есть у тех, которых он кинул пресмыкаться в их униженном холопстве, и у этих, к кому он вернулся и нашел их счастливыми, в примиреньи с тем, с чем он уже не умеет мириться... Он казался себе всех несчастней: у всех у них есть чем держаться за жизнь, а у него лишь одна «проклятая бедность»! — бедность [упадка], бедность бессилья. Он был ребенок, упавший с высоких ходулей, на которых держался долго и вдруг шлепнулся на землю... Ему, чтобы жить, надо было сделать какое-то необыкновенное усилие, — надо было опять подняться на ходули. Для этого он прежде

всего решился не идти в более тесные сближения ни с Пиком, ни с Маком, ни даже с Марчеллой. Он им благодарен за их дружбу и услуги, но он не может, он не в состоянии вести с ними общие разговоры ни в интимном кружке, ни в шумных тавернах. Он не может, как прежде, ни пить, ни шутить, ни говорить об искусстве. Притом он боится — боится того, что в искусстве от них он отстал, и боится намеков...

Он начал свое удаление с этого же вечера. Когда в сумерки к нему взошла нанятая прислуживать ему старая итальянка Паула и хотела зажечь ему свечи, он попросил ее удалиться и сам в темноте приготовил себе постель и лег в нее и проспал ночь не раздеваясь.

Ночью ему снились пережитые обиды, а утром он встал, не зная, что ему делать... Пересмотрел приготовленные для него чистые холсты, краски и кисти и хотел сию же минуту что-то начать. Идея у него была: он напишет пророка, укоряющего Давида за то, что тот, имея много овец, взял у человека любимую овцу... Он изобразит герцога в лице Давида и себя в лице обличающего пророка. Картина эта должна быть замечательным произведением искусства и, сделавшись известною, она уязвит гнусное и жестокое сердце герцога...

Фебуфис поставил полотно, взял уголь и стал рисовать. В руке его не было твердости, концепция фигур его не удовлетворяла, да и самый сюжет перестал ему нравиться, как только он взялся за его исполнение. Стоит ли это того, чтобы с этим связать себя на долгое время? И этот сюжет будет только выдавать его терзание другим и будет его мучить... но он продолжал его чертить и скрывал свою работу от Пика и от Мака, которые к нему приходили. Он тяготился приветом Марчеллы. Несмотря на близость их жилищ, он не ходил к ней, и она присылала ему на дом его кушанье. За квартиру не спрашивали, — в ящике комода, наполненного бельем и платьем, он нашел старинный кожаный кошелек с сотней червонцев, о которых он не мог узнать ничего ни от Пика, ни от Марчеллы и Мака. Он не хотел их начать, но они были нужны, и он их коснулся и начал. Положение его представлялось ему скверным и унизительным, но он не мог создать себе иного.

Спустя значительное время он решился выйти и обошел студии Пика и Мака и других старых знакомых и увидел, что все они работают не без недостатков, но увереннее и лучше его. Сюжеты их картин казались ему независимее, а техника смелее и выше. Они, без сомнения, ушли вперед, а он застоялся.

Фебуфис впал в унылость, худел и сделался мрачен. Часто с утра он уходил и бродил, где попало, или сидел в дальних тавернах и играл в домино с содержательницами этих заведений или с их плохими гостями.

Пик и Мак и Марчелла замечали эти странности и старались его ободрить и повернуть к другому порядку, но это ни к чему не вело. Фебуфис был в полном упадке. Пик и Мак однажды зашли к нему в его отсутствие и, открыв с дружеским дерзновением его холсты, стали в тупик: все холсты были начаты и все оставлены, потому что все они были из рук вон слабы.

Оба художника молча закрыли холсты, посмотрели в ящике старинный кожаный кошелек и, найдя его опустевшим, в нерешительности восполнили его несколькими червонцами и удалились к Марчелле.

Возвратившийся Фебуфис заметил следы этого посещения, взял кошелек и отправился с ним к Марчелле, где надеялся встретить друзей и не ошибся: Пик и Мак сидели с хозяйкою дома на веранде и говорили о нем.

Фебуфис услыхал издали свое имя и остановился. Его не видали, и он остался на месте. Разговор шел дружеский, но слишком откровенный и слишком тяжелый для Фебуфиса. Пик и Мак говорили о нем при Марчелле в самом дружеском, но сострадательном тоне: оба они находили его характер павшим до немощи и талант его потерявшим всю свою силу. Во взглядах их было только то различие, что Пик надеялся еще на какое-то случайное возрождение его сил, а Мак считал его «человеком конченым». Марчелла же, выслушав все это, сказала, что, может быть, и Пик и Мак, оба правы, — что Фебуфис, быть может, и «кончен», если его никто не спасет, но что он и может воспрянуть, если явится спасенье.

— Кто же может принести ему это спасенье? — спросил, сомневаясь, Мак.

— Его жена.

— То есть что же еще она может сделать? Ведь она его уже не беспокоит, и он очень хорошо знает, что здесь она ему безопасна.

— Вот это и есть. Надо, чтобы она его обеспокоила, чтобы она пришла к нему... плакала, каялась... облила бы его слезами и вымолила себе его прощенье... Это все очень красивые вещи... Они бы его помирили, она бы стала жить с нами просто, и он бы стал горд ее возвращеньем и стал бы ее понемножечку мучить... О, ведь я знаю ваши натуры...

— Но неужели ты думаешь, что он ее любит?

— О да, верь мне как женщине, Мак, — он ее любит, и скажу тебе больше, — она его тоже.

— Ты говоришь, — прости меня, — глупость.

— Нимало.

— Как же это: любила и изменяла?

— Любила и изменяла. А вы думаете, что это невозможно?

— Невозможно.

— Разве вы этого не делаете?

— Мужчина другое дело — в этом ваше превосходство. Это не в женской природе.

Марчелла промолчала и потом раздумчиво сказала:

— Да и так ли еще все это важно?

— Что такое? Измена-то?

— Да.

— Скажи, пожалуйста! По-твоему, неужели не важно?

— Мне столько раз изменяли, что я утратила возможность понимать это верно.

— Притом измена ее особенно гадка.

— Скажите, почему?

— Она не увлеклась, а продалась.

— Не вижу этого.

— Чем мог увлечь ее герцог, капризный, грубый деспот?

— Герцог? Герцог — деспот и повелитель всей страны! Чем он увлек — он полубог, пред которым склоняется все, что есть самого сильного в целом мире, который его окружает, а он склонялся пред нею, он ожидал ее, стоя за холодною дверью, он нес ее на руках вверх по лестнице... Она была не из тех знатных дам, которых он мог призывать через своих камер-лакеев или целовать их в ложах театра, приказав выйти мужу... Он трепетал, ожидая ее, и когда ее нес, когда под его ногами гнулись ступени, — каждый скрип каждой ступени заставлял замирать ее сердце... и когда он ее приносил, могла ли она себя помнить... Как вы, мужчины, изменяющие любящим вас для смазливой девчонки в таверне или для первой отдающейся вам женщины только ради того, чтобы она не сочла вас профанами в искусстве, — как вы не понимаете этого положения, в котором столько обаяния!

— Ты говоришь так, как будто бы ты и сама не устояла, Марчелла.

— Не знаю.

— Ты шутишь.

— Нимало. Но я не пример: я плебейка, я, быть может, отвергла б его с первого шага, — если бы он мне не нравился, и мне он не мог нравиться, опять потому же, что Марчелла — плебейка, но женщины того круга, в котором жил и где выбрал себе жену Фебуфис, имеют другие натуры... и я их прощаю, и жену Фебуфиса так строго, как вы, я судить не могу. Вы говорите одно — что мужчина может изменить

жене и продолжать любить ее, а женщина, будто, этого сделать не может. А я говорю вам — вы лжете: женщина тот же человек, и она может изменить и продолжать любить того, кому изменила... Не смейтесь, не смейтесь! Я ведь женщина, и притом меня ничто не вынуждает лгать перед вами.

— Не солги и скажи, что ты чувствуешь снова любовь к Фебуфису.

— Конечно, — я затем и послала письмо к его жене.

— Послала!.. ты?

— Да, и более того, я получила ответ: она приедет. Она его любит — я не ошиблась. Вот вам моя любовь. С тех пор как я продала себя за золото, чтобы не видеть нищеты и погибели тех, кому дала жизнь от любви, — я не располагаю уже прежним чувством. Я не могу отдаваться любви потому... что...

— Окончи, окончи, Марчелла: почему?

— Потому что это было бы нецеломудренно.

И друзья и Марчелла, все рассмеялись.

— Да, да, — повторила Марчелла, — это нецеломудренно, я не должна больше касаться любви... Я продала это право, но Святая Мадонна порукой, — я еще люблю тех, кого я любила! Я теперь ведь холодная женщина, меня беспокоит корсет, я румяная толстуха, и вся любовь моя выражается одной только заботою дружбы...

— Ты отлично кончаешь свой курс, но замечаешь ли ты, как ты низко ставишь ее, если ты думаешь, что она может вернуться и проделать все те, по твоим словам, «красивые вещи» с слезами и прочим и снова дать счастье и жизнь Фебуфису!

— И притом: неужели Фебуфис ее примет? — горячась, вставил Пик.

— О, оставьте это! Я ничего не думаю ни о нем, ни о ней хуже, чем о себе. Я только желаю им счастья и верю, что оно, быть может, возможно. У людей, которые жили близко с королями, совсем не наши понятия. Среди нас, в простоте нашей жизни, для них, может быть, найдется средство залечить свои раны, а чтобы поднять упавшие руки Фебуфиса, я нашла ему дело по силам. Еврей из Венеции предложил кардиналу драгоценную старую картину Кранаха. На ней ничего уже не видно, но она с несомненным сертификатом и монограммою кровавого скорпиона. Сделан был опыт: скорпиона немножко потерли иглой и этой иглой укололи собаку — собака распухла.

— Какой старый вздор!

— Поверьте — не вздор! Я сама это видела. Напрасно вы думаете, будто это неправда, что Кранах мешал краски с кровью драконов...

— Да нет никаких драконов на свете, Марчелла.

— Я знаю, что их уже нет, но они были прежде.

— И прежде их не было.

— Пусть я легковерна как римлянка, но я знаю, что он с чем-то ужасным мешал свои краски, и собака еврея издохла. Я упросила купить мне эту картину и за нее нынче вечером будут посланы деньги, а завтра ее отнесут к Фебуфису с поручением ее очистить и реставрировать. За это ему кардинал обещал дать царскую плату и в задаток оставил мне две тысячи новых червонцев. Я завтра снесу их нашему другу вместе с людьми, которые принесут картину, и Фебуфис будет занят делом, которое ему по силам, и не будет нуждаться, и так пройдет время, пока придет женщина и, плача, упадет перед ним на колени... Это и будет самый торжественный праздник в сердце Марчеллы.

— И тогда, — перебил ее Пик, — Фебуфис будет низок!

— Да; он тогда упадет окончательно! — подсказал Мак.

— Оба вы глупы, — шутя отвечала Марчелла и отодвинула стул.

Услыхав это движение, Фебуфис немедленно же повернулся и как взошел никем не замеченный, так же незаметно и вышел.

Новость, которую он услыхал, подействовала на него электризующим образом. Она уже по самому первому началу могла обещать нечто значительное, потому что дала ему сильный нравственный толчок. Бледное и унылое лицо его озарилось живым цветом, который одинаково можно было принять за краску стыда и за напряжение воли.

Фебуфис смолчал о всем, что слышал, и прекрасно выдержал себя, когда к нему пришла Марчелла и стала просить его взяться за реставрацию старой картины Кранаха. Он принял и заказ и деньги, врученные ему Марчеллою, и через два дня зашел к ней и сказал:

— Это несомненный Кранах. Картина прелестна. Она в той же манере, как «Поцелуй Иуды». Она стоит очень больших денег, и я благодарю тебя, что ты доставила мне эту работу, я буду заниматься ею с большим вниманием.

И он действительно так занимался картиной, переведя ее снова на другое полотно и потом медленно и осторожно снимая лак сухим способом, а потом открывая вершок за вершком самое изображение. Несмотря на то, что внутри себя Фебуфис таил раздражительные скорби своего личного положения, обращение с произведением его любимого старого мастера, которому он мечтал подражать и несчастливо подражал в жизни, заняло его сильно и серьезно. Из полученных за реставрацию денег он отнес Пику и Маку все, что ими было ему положено в старин-

ном кожаном мешочке, и затем не выходил из дома, беспрестанно работая и любуясь открываемыми из-под темного налета разнообразными величественными, грациозными и нежными фигурами картины, написанной широкой и строгой кистью могущественного соперника Альбрехта Дюрера.

— Ты его реставрируешь так, как будто ты его изучаешь, — говорил, заходя к нему, Пик.

— Это правда, — отвечал Фебуфис. — Я теперь даже могу сказать время, когда Кранах написал эту картину: рисунок здесь сух и драпировки жестки: картина писана раньше 1493 года.

— То есть раньше, чем он уехал с Фридрихом.

— Да. Краски хранят до сего дня свою первобытную свежесть. Я воззову их жить снова на многие веки.

— И сам напиши так же, как Кранах, «портрет Кардинала». Он тебе предлагает этот заказ и пять тысяч червонцев.

— Хорошо, хорошо! — отвечал Фебуфис и, положив на табуретку палитру и кисть, добродушно улыбнулся.

— Чему ты смеешься?

— Временам, добрый друг Пик. Смеюся тому, как время все изменяет. Мог ли я семь лет назад думать, что я рад буду сделаться старым реставратором, и еще того меньше, что мне придется сидеть глаз на глаз с этим почтенным кардиналом и писать с него портрет в его регалиях, когда я писал его в «Loge de Lisisca». Все время; да, время все делает.

Фебуфис взял кисть и губку, потер в одном месте картину и, вздохнув, молвил:

— Да!.. А между тем... не надо, чтобы оно все сделало.

— Сделает.

— Нет. Оно не должно нас по крайней мере делать смешными и низкими.

— Что смешно и что низко?

— Низко то, что самому человеку не дозволяет думать о себе без унизительной муки.

— Все это относительно, — отвечал Пик, полагая не без основания, что Фебуфис говорит о себе, но тот ничего не ответил, а потер губкою поле и, когда на этом месте слабо, как из тумана, обозначилась монограмма Кранаха, сказал:

— Как страшно жив этот крылатый дракон! Ты знаешь предание, будто он это писал с драконовой кровью?.. В этой краске есть яд.

— Это вздор.

— Очень возможно.

И он опять продолжал работать, и реставрация уже приближалась к окончанию. Картина вся стояла во всей стройности своего рисунка и поразительной силе освеженных красок. Последними усилиями была реставрация монограммы. Красный крылатый дракон был выписан Кранахом очень затейно, и Фебуфис восстанавливал его с усиленнейшим старанием средневекового миниатюриста, и в самый тот день и в тот час, когда он положил кисть, потому что все было кончено и в картине не оставалось ничего более делать, к нему вошла его старая служанка и подала ему небольшой сверток.

— Что это? — спросил художник.

— Мальчик из города говорил, что прислан приезжею дамой из гостиницы «Stella Romana».

Фебуфис выслал старуху, развернул быстро сверток и тяжело опустился с ним в кресло.

В руках у него был портрет Помоны, писанный им в столице герцога и проколотый ее золотою шпилькою. Затея Марчеллы исполнилась... Помона приехала... она в Риме... Она прислала этот портрет, чтобы тронуть его, чтобы напомнить ему, что он был жесток и груб с нею... что он сам виноват и сам толкал ее в бездну... Затем будут слезы... рыдания... Нет!.. так не будет.

Фебуфис бросил портрет на постель, оделся и отправился в город.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ[1]

В «Stella Romana» не приезжала Помона. Фебуфис там нашел сопутствовавшую его жене белокурую придворную даму. Она его насилу узнала.

— Три года много вас изменили, — сказала она Фебуфису.

— Я не за тем пришел, чтобы узнать, какое я произвожу на вас впечатление. Мне прислан портрет... Для чего?

— Та, с кого он написан, очень несчастна.

— Возможно...

— И любит...

— Возможно, возможно! Что же дальше?

— Она видеться хочет... хочет молить о прощенье!

— К дьяволу! к дьяволу все!.. Она здесь... Говорите! Где она?.. Я вижу, как шевелится дверная портьера... Мне не нужно герцогской подачки...

— Нет, не подачки! Сядьте и, если в вас есть сердце, выслушайте меня одну минуту.

— Она там?.. тут?.. за портьерой? — говорил, не обращая на нее внимания и задыхаясь, Фебуфис.

— Не тут она и не за портьерой, но...

— Где?

— Близко!

---

[1] Под словами «Часть четвертая» Лесков поставил римскую цифру I, но перед текстом «На другой день во всех студиях Рима...» (см. ниже, с. 193) повторил обозначение «Часть четвертая» (примеч. сост.).

— Га!.. Я слушаю... Откройте мне портьеру!

— Там нет Помоны!

— Есть! — бешено вскрикнул Фебуфис и, не ожидая нового слова от баронессы, кинулся за спущенные портьеры ее спальни, где у изголовья кровати стояла бледная и испуганная Марчелла.

Фебуфис сначала ее не узнал, а потом бросился к ней на грудь, обнял ее и горько заплакал.

Обе женщины были тронуты этим неожиданным оборотом и стали ухаживать за ним, как за больным или за ребенком. Марчелла села и склонила себе на плечо его голову, а баронесса подала ему воды и обтирала ему лоб одеколоном из своего дорожного флакона.

Фебуфис скоро оправился и, тихо извиняясь перед баронессою за сделанное ей беспокойство, сказал:

— Я стал очень нервен и не знаю, что привело меня в это глупое состояние, но говорите мне: что вы от меня хотите? Ей дурно жить... она покинута... ею пренебрегают... что? что еще?

— Ничего из этого сего, что вы сказали, — отвечала баронесса. — Напротив, о ней вспомнили... ее не покидают, ее зовут опять...

— Ага, опять!

— Да, мы получили приглашение возвратиться... и ей никто не будет сметь пренебрегать... Вы знаете — какие нравы... но она сама не хочет возвращаться туда, а рвется к вам... под кров чести. С нею дитя...

— Дитя!

— Да, они остались во Флоренции, и через три дня оба вместе будут здесь... Неужто вы оттолкнете ее раскаяние и ее любовь?

Фебуфис встал и, пройдясь, ответил:

— Нет... я ее не оттолкну.

— Вы мне даете слово?

— Да.

— О, как я счастлива и как будет счастлива страдалица Помона!

— Прощайте.

— Вы больше ничего не скажете?

— Мне нечего сказать.

— Она больна. Я сейчас же уеду к ней и ровно через три дня привезу ее сюда.

— Через три дня... прекрасно.

И Фебуфис вышел; баронесса тотчас же уехала во Флоренцию за Помоной, а Марчелла возвратилась домой несколько смущенная и удивленная легкостью своего успеха — примирить Фебуфиса с женою и возвратить им семейное счастье.

Она к этому стремилась, но его сговорчивость и быстрота его решения на нее подействовали неприятно. Это ее беспокоило как неведомое предчувствие, и она сказала об этом за кофе Пику и Маку. Пик оказал внимание заботам Марчеллы и сказал, что он на следующее же утро придет рано к Фебуфису и постарается не оставлять его, а Мак только пожал плечами и лениво заметил, что он не понимает никаких забот и хлопот, потому что все это, по его мнению, не более как какие-то хитрости дрянных людей рабского нрава.

— Ты никогда ничего хорошего не видишь в людях, — с неудовольствием заметила Марчелла и попросила Мака сказать им, что же ему кажется, — что он знает или что подозревает в таких простых и ясных комбинациях, какие открылись с появлением баронессы.

— Я ничего наверно не знаю, — отвечал Мак, — но я подозреваю, что тут есть ловушка.

— Почему? Разве в женщине не могло пробудиться чувство к мужу?

— Пробудиться, Марчелла, может только то, что спало или что дремало, а не то, чего никогда не было.

— Никогда! ты уверен, что она его никогда не любила?

— Я так думаю. Любя, не изменяют для герцогов.

— Нет, изменяют, и именно изменяют только для герцогов, но уж об этом мы довольно говорили. А вот теперь, когда герцог о ней опять снова вспомнил и зовет ее, она не хочет его внимания. Она теперь выше увлечения и предпочитает все, чем может окружить ее герцог, тому, что может ожидать ее с мужем. Это доказывает, что она его любит.

— Порывы, Марчелла, только порывы, а совсем не любовь. А я не даю высокой цены подобным порывам, если они даже и искренни, их достает ненадолго.

— А ты допускаешь даже искренность.

— Допускаю.

— Какую?

— Она изверилась в постоянстве герцога и боится возврата его вожделений... Ей будет худо, когда он опять ее бросит... она стала практична, а ее провожатая еще практичней ее: она ведь была раньше в фаворе и опять, может быть, будет. Тут все что-то скверное!

— Кроме ребенка, надеюсь. Ты забываешь, что у жены Фебуфиса дитя...

— О, я не верю, чтобы дитя для нее значило много. А впрочем, мне это все так надоело, что я больше не хочу ни о ком из них думать и удивляюсь, как эти люди долго носятся с своим стыдом и не выдумают ничего красивого, чтобы с ним расстаться.

А в то время как это говорили, красивая выдумка уже была готова. Фебуфис лежал мертвый на полу в своей комнате. Дверь ее была заперта, окна завешены тяжелыми темными занавесами; на камине, оплывая, догорала свеча.

Пик, уходя домой от Марчеллы, захотел наведаться к Фебуфису, чтобы посмотреть, в каком он состоянии. Рано опущенные занавесы и слабый свет свечи, который Пик заметил в маленькую щель неплотно прилегавшей занавесы, показался ему подозрительным и даже страшным. Он начал стучать в окно, потом стал рвать дверь и, не получая ответа, бросился догонять Мака, который шел тихо к городу.

— Остановись! — закричал он ему. — Есть что-то ужасное!

— Что еще?

— Я боюсь, что с Фебуфисом что-то случилось... Ты, может быть, отгадал: ему надоел его стыд... Он заперся в своей комнате, закрыл окна, и у него горит свеча, а он не отзывается.

— Ты громко звал его?

— Да; я звал, стучал и обил все руки, но нет отклика... Бежим к нему, чтобы он не сделал чего-нибудь... красивого.

Но «красивое» было уже сделано; когда встревоженные друзья сорвали с петель дверь, они нашли Фебуфиса на полу: он, как сказано, — был мертв и лежал ниц с открытою грудью. На его белой нежной коже в том месте, где билося сердце, был тщательно изображен уколами дракон... Совершенно такой дракон, какого ставил Лука Кранах монограммою на своих картинах. Он был так же красен, или кровав, и обозначался значительною припухлостию. Без сомнения, Фебуфис татуировал себя этим красивым знаком недавно. Точки уколов были затерты чем-то красным и, очень может быть, ядовитым. Едва заметные остатки этой смеси были размазаны и сильно въелись на небольшой белой палитре из слоновой кости. Она покрыта бумажкой, на которой написано: «Не касайтесь! Здесь впитан яд кровавого дракона, который я извлек из Кранаха».

Но от чего же пришла смерть? От женской булавки.

Кровавый дракон был как будто приколот к груди Фебуфиса золотым многогранным шариком, который составлял головку большой головной булавки его жены, а конец этой булавки вошел в его тело и проколол сердце, из которого выступила и застыла только одна капля крови...

Пик зарыдал и, упав, стал обнимать мертвого друга. Мак вынул булавку и положил ее рядом с слоновой палитрой, потом поднял тело, отнес его на постель и сказал:

— Закрой свои глаза, несчастный Фебуфис: ты умер красиво, как все, что ты делал, было красиво.

— О, да! — произнес плачучи Пик и не переставал плакать, пока Мак завел своими руками глаза мертвеца и, обратясь к товарищу, проговорил:

— Ну не плачь, Пик. Все кончено. Здесь более нечего делать.

— Да; пойдем. Мы теперь должны сделать ему то, что можем: мы сделаем красивое погребение.

— Делай, что хочешь.

— Но ведь ты тоже согласен?

— С чем?

— Мы должны ему устроить погребение... он так много страдал.

— Я равнодушен к умершим.

— Нет, нет! Человек, которого жизнь прошла так...

— Жалко и пусто...

— Нет; не говори этого над ним. Его жизнь была необычайна, он ее кончил необычайно, и мы его схороним необычайно... Необычайно... Все необычайно... Пусть знают, пусть слышат...

— Да; это самое главное...

Они закрыли двери и направились молча к городу. Пик в самом деле обдумывал план похорон, а Мак думал о том: объявить или нет о настоящей причине кончины покойного, и решил объявить.

На другой день во всех студиях Рима было известно, что Фебуфис умер необыкновенною смертью, к рассказам о которой присоединяли не менее красивые вымыслы. Марчелла и другие женщины укрыли труп Фебуфиса цветами. Пик весь исчез в заботах о церемонии похорон, которую хотел сделать «великолепною». Два дня прошли в этих хлопотах, и Мак увидал Пика только ночью перед похоронами. Он был измучен и, придя к Маку, упал в кресло и сказал:

— Все будет в его вкусе... как он любил...

— Красиво?

— Да... и внушительно.

— Что же это внушит?

Пик посмотрел на Мака, вздохнул и отвечал:

— Ты в самом деле несносен!.. Я уважаю смерть.

— А я ее не уважаю или, пожалуй, я ее уважаю только тогда, когда она забирает с земли злодеев.

— Это не от нас.

— Совершенно справедливо.

— А похороны будут красивые.
— А похорон красивых не бывает.
— Почему?
— Потому, что в смерти ничего нет красивого и незачем прикрашивать того, что к ней касается.
— А вот ты увидишь, что эти похороны будут с эффектом.

И Пик не говорил лишнего. Похороны Фебуфиса совершились действительно с большим эффектом. Его вынесли на кладбище перед вечером, в гробе, буквально засыпанном букетами и цветочными венками, в числе которых поражали своею громадностию белый венок от Марчеллы и ярко-красный от «неизвестного друга». Этот «друг» был кардинал. День был превосходный, — ясное солнце, склоняясь к закату, обливало усыпанную цветами гробницу мягкими и теплыми лучами. Процессию главным образом составляли художники всех наций, к которым на ходу пристала несметная толпа народа, до того плотно запружавшая все улицы, по которым лежал путь, что здесь делалось невозможным никакое другое движение. Чем ближе шествие подвигалось к кладбищу, тем толпа становилась огромнее, и у выезда из города она запрудила все пространство. На мосту, около которого процессия проходила, принимая направление в сторону, столпилося множество экипажей, в числе которых напереди, стало быть, ближе прочих к проходящей процессии, стоял красивый дорожный экипаж, в котором помещались три дамы: одна изящная блондинка в черной мантилии и в черной шляпе, другая более молодая и еще более изящная брюнетка в серо-пепельном дорожном костюме и в соломенной шляпе с широкими полями, а против них, на переднем месте пожилая женщина, державшая на руках малолетнее дитя.

Экипаж этот стал здесь раньше других и по длине вереницы, которая собралась далее его, ясно было, что путницы задержаны здесь уже немалое время. На их лицах было заметно неудовольствие и досада на остановку. Более других нетерпеливо относилась к задержке белокурая дама в черном, а наименее — пожилая женщина с ребенком, которая встала на ноги и смотрела на проходившую процессию. Дама же в сером платье и в широкополой шляпе казалась тревожною и погруженною в тяжелое раздумье. Но вскоре все их положения переменились и произошло нечто неожиданное и чрезвычайное.

Один смелый прохожий, желавший видеть процессию, вскочил на обод переднего колеса экипажа путешественниц и, держась за медный ободок, окружавший кучерское сиденье, просил кучера не лишать его

этого места, пока пронесут гроб, за что и предложил ему серебряную монету. Кучер принял монету и согласился. После такой завязки знакомства они сейчас же вступили в разговор, который был слышен дамам. Кучер удивлялся чрезмерно большой толпе, провожавшей гроб, и расспрашивал: кто был умерший и чем он был славен?

— О, он был славен! — отвечал взволнованно прохожий, жадно вперяя взор к приближавшемуся гробу, который подвигался, качаясь, на открытом высоком катафалке, облитый красным огнем факелов, которые теперь эффектно освещали колесницу, потому что уже опустилася тьма.

— Ну да, я и хочу знать: чем же именно он был славен? Разве он офицер папской гвардии?

— Если бы он был офицер папской гвардии, над ним бы пели попы, а вы видите — здесь идут все свободные люди.

— Капиталист или принц?

— Он был великий художник.

— Maestro?

— Да. Смотрите, смотрите!.. вот сейчас гроб пронесут перед нами... Я уже вижу лицо!.. Боже мой, какое лицо!.. Он умер от укушения дракона.

— Дракона!

— Да... огненного, кровавого дракона... Такой змей с крыльями.

— Где же он ему попался?

— Он сам приставил его к своему сердцу... и тот выпил из него всю кровь до капли... Видите, какое лицо... Я никогда не видал такого страдальческого лица... Оно бледное как мел, и смотрите, смотрите, какие прекрасные кудри!

— Да, черт побери, я близорук и ничего не вижу, сеньор!

— Нате вам, нате скорей мою трубку... Смотрите!.. Это достойно того, чтобы запомнить навеки, что может сделать женщина с человеком, у которого благородное сердце.

Незнакомец передал кучеру свой бинокль и, глядя на проносимый гроб, продолжал говорить:

— Он был женат, и его жена ему изменила.

— Как обычно на свете, сеньор.

— Нет! в том-то и дело, что хуже: она увлеклась не страстью, а изменила ему для герцога.

— А, тогда это подло!

— Он им всем отомстил... он умер, когда она захотела к нему возвратиться... Пусть они знают... пусть знает весь мир, как они глупы и как горд и как благороден был Фебуфис!

В то время как незнакомец делал эти пояснения, которые слушали и кучер и стоявшая возле них пожилая женщина с ребенком, между дамами, помещавшимися на заднем сидении, произошло сильное движение. Дама в сером платье и широкополой шляпе с серой лентой стала подвигаться ближе, глаза ее принимали болезненное, страшное выражение, и она стала порываться вперед и мять руками свою шляпу. Дама в черном схватила ее за руки, но едва незнакомец произнес имя «Февуфис», взволнованная женщина вырвалась, вскрикнула ужасным голосом и вдруг как импетом выкинулась из коляски, сорвала с себя шляпу и с рассыпавшимися по плечам черными как смоль волосами бросилась в толпу, которая ее поглотила и скрыла от глаз всех оставшихся в экипаже.

Один только незнакомец, вооруженный биноклем, на минуту дольше других видел, как перед нею все раздвинулись и снова сомкнулись, и затем вдруг шествие стало...

— Что там?.. Боже мой! — воскликнула в испуге дама в коляске. В толпе ей в ответ проносилось:

— Женщина... упала между колес!

— Кто она и чего ей хотелось?

— Верно, хотела, чтобы ее задавило... Она очень красива... ее вынули, и Цезарина обтерла ей пыль с лица и ведет ее под руки. Она не хочет, чтобы ее удалили... Она, верно, лишилась рассудка и шепчет: «Это мой муж! Это мой муж! Это я его убийца!»

Услыхав это, дама в черном забылась и воскликнула:

— Ах, это правда!.. Помона — жена Февуфиса.

И с этим баронесса (это была она) сама прыгнула из экипажа и вошла в толпу, чтобы достигнуть Помоны и быть с нею на случай еще более трагический, но толпа не внимала усилиям баронессы и затерла ее, отдалив от Помоны настолько, что они не могли ни соединиться, ни видеть друг друга, и обе одна для другой потерялись.

В экипаже осталась одна мамка, которая подняла дитя над головою, чтобы показать ему отца, и затем вздохнула, прочитала «Ave Maria» и, сев на опустевшее место, стала кормить грудью ребенка.

Теперь была уже ночь, настоящая темно-синяя римская ночь, в которой все три приехавшие в одном экипаже женщины растерялись и ни одна из них не знала, где искать прочих.

Мамка-флорентийка была, впрочем, довольно умна и находчиво заняла помещение в самом лучшем отеле. Здесь ее немного спустя после полуночи нашла баронесса, которая была очень смущена и испугана.

Она подверглась всем движениям толпы, проводившей Фебуфиса до кладбища, слышала толки, и слезы, и речи и опять раздирающий вопль, в котором признала голос Помоны, но ее самой не видала. Как она ни стремилась достичь до нее — все это было напрасно. Толпа как будто нарочно волною относила их друг от друга. Баронесса, потеряв надежду справиться с этим бедствием собственными усилиями, поехала просить начальника папской полиции оказать ей помощь, и это ей послужило в пользу: ей дали адрес мамки с ребенком и указали след Помоны, которую увезла с собою Марчелла. Баронесса была страшно встревожена этим последним известием.

— Боже мой! — воскликнула она. — Кто же эта женщина и что она может с нею сделать?

Начальник полиции успокоил баронессу, сказав ей, что Марчелла такая женщина, которую дипломатический агент может не принять у себя на официальном рауте, но отец семейства, умирая, может поручить ей своих дочерей.

— Она из тех, — заключил он, — имя которых гораздо менее значит, чем ее дела. Не беспокойте Марчеллу до утра, потому что... говоря между нами... Как вам близка эта дама, которую вы ищете?

— Она моя соотечественница.

— В таком случае вы должны знать, что она слишком потрясена и, может быть... лишилась рассудка.

Так эффектно и «в своем роде красиво» были завершены похоронные помпы эффектного Фебуфиса.

Так это было полно картинности и трагического содержания, что даже Пик, поглощенный заботами о вящем эффекте, теперь, сидя у Марчеллы при постели, на которой лежала с остолбенелыми глазами Помона, — уныло качал головою и повторял:

— О, как это страшно — столько несчастий!

И он мог хорошо это чувствовать, потому что просидел здесь целую ночь над безмолвной Помоной, так как Марчелла, встревоженная судьбою пропавшего дитяти, оставила Помону на попечение Пика, а сама в сопровождении Мака возвратилась в Рим и всю ночь до утра без успеха ходила из отеля в отель, разыскивая ребенка. Они нашли дитя едва лишь утром и возвращались с несколько облегченною душою: теперь, если несчастная придет в себя и спросит о дитяти, ей по крайней мере не приложат к одному горю другого, — не скажут, что вчера, когда зарывали ее мужа, она лишилась и ребенка.

Марчелла была женщина и мать: она знала, как материнское чувство сильно над многими другими в женском сердце... Они, эти ненадежные

люди, которые называются мужчинами, умеют заставить полюбить себя и иногда бывают так низки, что могут дать силу разлюбить их, но дети... матери ничто не даст силы их разлюбить. Она, эта женщина, теперь окоченела от горя, но придет час... и теперь он даже, быть может, уже пришел, что она вспомнит дитя, и это ее оживит и заставит заплакать...

В таких мыслях Марчелла вошла к себе в дом через сад; оставила усталого Мака на террасе, а сама тихими шагами подкралась к дверям своей спальни и остановилась, прислушиваясь... За дверями раздавалось дыхание одного спящего человека... Марчелла приподняла портьеру и увидела, что это спал Пик: он лежал, свернувшись как пудель, на ковре возле кровати, на которой вчера уложили Помону... а его восторженная головка с проседью в каштановых кудрях помещалась на подножной скамейке. И он спал крепко с беззаботностью человека, который устал до изнеможения и к тому же имеет чистую совесть.

Но где же она, где же Помона! Где эта черная россыпь черных волос, закрывавших полотно белых подушек... Этого нет! Ничего этого нет! Все ровно, все однотонно, все в один цвет... издали серо, — вблизи же, когда Марчелла сделала один шаг, она увидала, что голова Помоны была бела так же, как полотно наволочек, покрывавших подушки...

Марчелла не выдержала себя и, всплеснув руками, громко вскрикнула. Этот звук пробудил Пика, который торопливо оглянулся и, увидав белые волосы Помоны, стал от нее пятиться по полу и наконец, схватив руку Марчеллы, выбежал с нею вместе на террасу к Маку.

Помона не спала, глядела во все глаза, уставясь в одну точку, и ничего не говорила. Марчелла и Пик рассказывали Маку о том, что случилось, и Пик сравнивал это положение с тем, что было с Марией Антуанеттой.

Мак отвечал, что подобное бывало и не с одними королевами, но что эффектов уж слишком довольно и надо помочь этой женщине поправиться и обдумать, что ей далее делать.

— А для этого, — сказал он, — я думаю, ей самою лучшею советницею будет дама, с которою она приехала и с которой у нее, вероятно, гораздо более общего, нежели с нами.

И Мак не ошибался: они были ближе и лучше поняли друг друга. В то самое время, как друзья о них разговаривали, к дому Марчеллы подъехала баронесса и, будучи проведена к Помоне, скоро вывела ее под руки и увезла в своей коляске. Перед вечером Помона прислала за Марчеллой и сказала ей, что она осталась в Риме одна, что ее при-

ятельница уехала на родину, как этого требовали неотложные обстоятельства, и с нею же отправлено туда дитя, которое не должно потерять покровительства того, кто дал ему жизнь.

— Боже мой! — воскликнула Марчелла, — разве его отец был не Фебуфис!

Помона промолчала на это, но начала говорить:

— Вы сами мать...

— Да, — перебила пылкая итальянка, — но я знаю, кто отец каждого из моих детей... Извините, меня ведь всегда бросали, сеньора, но я не могла расстаться с детьми и потому веду жизнь, которая не даст мне почтенного места в обществе. Впрочем, я слишком мало значу, чтобы мной заниматься... Чем я могу вам служить, пока вы здесь остаетесь?

— Я остаюсь здесь навсегда. Вы были добры к моему покойному мужу, и я умоляю вас не отказать мне в доле участья...

— Все, что вам угодно, сеньора!

— Я никогда не удалюсь отсюда, где его покрыли землею... я останусь здесь навсегда, пока придет время, что и моя жизнь будет кончена... Я чувствую, что мне не придется ждать этого долго. Не откажите мне обещать похоронить меня в ногах Фебуфиса.

— О, сеньора, к чему эти мысли! Пока мы живем, надобно жить и делать, что можем, для тех, кому можем что-нибудь сделать. Для того я и жалею, что вы отпустили дитя к чужим людям... он бы рос здесь у нас, на глазах, и резвился бы вместе с моими детьми, а мы бы порою, глядя на них, могли вспоминать...

Но тут Марчелла сообразила, что, глядя на ребенка Помоны, им не пришлось бы вспоминать Фебуфиса, и поспешно добавила:

— Впрочем, я совершенно готова служить вам во всем, чего вы хотите.

— Я хочу поселиться в том самом домике, где он жил, и умереть в той комнате, где он умер, если только Небо не будет ко мне так милостиво, чтобы позволить мне умереть на его могиле.

— Пусть Небо исполнит все ваши желания, а что касается до вашего устройства в домике, где жил Фебуфис, то вы можете считать это конченым. Я переговорю с хозяйкою, и вы будете помещены, как вы хотите.

— Пусть там все остается как было.

— Непременно, сеньора. И от этого вы можете переехать в домик, если хотите, сегодня. Я буду вас навещать, если хотите, и постараюсь, как можно, облегчать вашу горесть.

— Вы очень добры. Горе мое должно быть со мной неразлучно. Я займу себя делом — я должна привести в порядок его могилу и поставить достойный его памятник...

Марчелла немножко покраснела и ушла в замешательстве, сказав, что она ни в чем сеньоре не помешает и надеется скоро известить ее, что бывшее жилье Фебуфиса готово к ее услугам.

Через час она послала Помоне вполне удовлетворительный ответ с старшим сыном. Красивый мальчик возвратился, держа в руке новый червонец, который ему дали и с которым он не знал что делать.

— Это очень жалкая и очень странная женщина! — проговорила довольно сильно сконфуженная Марчелла, обращаясь к Пику и Маку.

Оба друга молчали, но потом Мак взял в руки положенный мальчиком червонец и, поворачивая его, спросил:

— Cui bono?[1]

— Отдай это тому, кто сегодня не ел, и не говори об этом более ни по-итальянски, ни по-латыни, — отвечала Марчелла. — Я хочу знать только то, что она мне жалка и что я непременно должна быть ей полезной.

— Cui bono? — опять повторил Мак.

— Ну, «cui bono»! Что за вопрос?.. Ты неделикатен, если хочешь заставить меня напомнить, что было время, когда тот, кого мы схоронили, был дорог душе моей, и потому, что́ ему после было дороже и милее меня, мне становится близко и мило.

Пик этого не выдержал, — он вскочил, схватил руку Марчеллы и, поцеловав ее, воскликнул со слезами в голосе:

— Ты наша святая, Марчелла! Прими меня под свое покровительство и дай мне тоже возможность быть полезным вдове Фебуфиса.

— Ты можешь быть ей полезным в заботах о памятнике.

— Прекрасно! Прекрасно!

— А мне дайте сделать надпись, — вставил Мак.

— Нет, ты, Мак, слишком большой резонер, ты нам не нужен.

— Правда, я подожду, когда она ляжет у него в ногах, и тогда надпишу над ними Ejusdem farinae.[2]

Того, чего хотел дожить Мак, не пришлось ждать слишком долго. Романическая история пошла быстро к развязке и притом одновременно несколькими путями.

---

[1] Кому на пользу? (*лат.*)

[2] Из того же теста (*лат.*)

Помона возводила памятник над могилою мужа. Пик ей помогал самым усердным образом и со всем бескорыстием тратил на это дорогое для него время. В благодарность за это он получал холодное равнодушие Помоны, которая едва говорила ему самые необходимые слова, касающиеся дела. Пик на это не обращал никакого внимания и никому не жаловался и не убавлял усердия. Мак не принимал участия в томной даме и не разделял сожалений, выражаемых о ней Марчеллой и Пиком. Последнему он, впрочем, советовал влюбиться в интересную высокую вдову с белой шевелюрой.

— Этим ты, может быть, доставил бы ей самое действительное утешение, но жаль только, что ты при своем великодушии очень мал ростом.

Марчелла иногда на это улыбалась и не негодовала, что «дама» не только не просила ее ни о каких дружеских услугах, но даже тщательно избегала всяких с нею сношений.

— Это понятно, — ей не до меня, — говорила Марчелла и продолжала издали за ней наблюдать, чтобы ей было спокойно и чтобы она не встречала у себя в доме никаких неудобств.

Но Помона, впрочем, и не жила дома. Каждый день она вставала утром рано и уходила на кладбище, где под руководством Пика над могилою Фебуфиса возводилась художественная каплица. Помона оставалась здесь при работах целые дни и возвращалась домой только в сумерки с тем, чтобы завтрашний день опять начать и провести точно так же.

Она всегда шла туда и назад в одном и том же черном платье с массивной золотой цепью, на которой висел спрятанный под корсажем золотой медальон с миниатюрным портретом Фебуфиса. На голове ее всегда была черная широкополая шляпа, из-под которой красиво, но несколько страшно выставлялись ее пышные и совершенно белые волосы. Изящное лицо ее исхудало и поблекло, синие глаза впали и сделались еще больше, нос и подбородок вытянулись, черные брови при седой голове казались как будто нарисованными на белой маске... Ее нельзя было видеть и позабыть, — еще труднее было ее не заметить, и ее все замечали и знали и прозвали ее «Dolorosa».[1] Многие ей кланялись из сострадания к ее горю и из уважения к ее «верной скорби», но она никогда не отвечала ни на приветы, ни на поклоны. Вид ее яснее всего выражал совершенную утрату внимания ко всему, ее окружавшему, и сильное желание умереть.

---

[1] Скорбящая (*итал.*)

Пик опасался того, что как только будет достроена каплица, Помона придет туда и сама там покончит с своей жизнью.

Марчелла слушала Пика и шептала:

— Это ужасно! ужасно!.. Она любила его, но ты не говори Маку, что я это сказала, потому что он скажет «cui bono?» Любила, а cui bono... не всегда любят, чтобы было «bono». Но, может быть, ты, Пик, ошибаешься: она спешит делать каплицу вовсе не за тем, чтобы убить себя на ее помосте.

— Увидим! увидим! — говорил Пик, и они действительно увидели нечто другое и зато нечто более страшное.

Несмотря на непродолжительность свидания Марчеллы с мамкой-флорентийкой, этим двум женщинам довольно было, чтобы остаться в памяти друг у друга, и в один день, недалеко отошедший от того случая, по которому происходил приведенный выше разговор, Марчелла получила из Флоренции неожиданное и довольно странное и страшное письмо.

«Сеньора, — писала мамка, — я видела, что вы добры и потому могу сказать вам про очень дурное дело. Я сделала это, послушавшись еще более дурной и жестокой женщины, чем я. Мы не повезли этого дитя, которое с нами отправили, куда нам надо было его доставить. Важная дама, при которой я ехала, сказала мне, что отец этого ребенка именно тот человек, на похороны которого мы попали по ужасному случаю, отчего молодая госпожа сошла с ума и не хотела ехать далее. Тот же, к кому она велела отвезти это дитя, очень важная и могущественная особа, которой об этом никто не может решиться сказать, не подвергая себя большой неприятности. Дама мне предложила получить все следующее мне за год жалованье вперед и еще пятьсот франков более с тем, чтобы я передала ребенка другой кормилице и возвратилась домой и об этом молчала. Мне было так скучно о своей покинутой семье и так хотелось скорее вернуться назад, что я позволила себя на это уговорить и, к стыду моему, взяла предложенные мне деньги. Мы остановились в Альпах в местечке Marmolato, где дама с помощью содержательницы гостиницы нашла женщину, согласившуюся взять дитя на воспитание за деньги, которые ей тут же дама и заплатила, а потом обещала выслать больше. Женщина же та смуглая, как цыганка, и сказала, что если денег не будут присылать, то она отдаст дитя в цирк в Венгрию или цыганам. Но я, как вернулась домой, все вижу это дитя во сне, как он улыбался и разводил ручками, и не могу себе простить моей низости, что на это согласилась, потому что мне кажется, что дама его бросила цыганке

и денег высылать не будет, и цыганка его отдаст, куда обещала, и мне от этого так тяжело, что я решилась все это вам написать и во всем признаться. Думайте обо мне, синьора, как вам угодно дурно, потому что я этого заслужила, но постарайтесь известить обо всем мать для того, что если это действительно дитя герцогское, то для чего ему быть у жестоких цыганов».

Марчелла, прочитав это письмо, затрепетала, не спала всю ночь и утром пошла к Помоне. Она застала вдову Фебуфиса одетую и готовую к выходу на кладбище.

— Сеньора, — сказала она, — простите меня, что я вас беспокою...

— Я ухожу на могилу.

— Так... Я это знаю, но уделите одну минуту делу, которое касается вас не менее, чем могила.

— Меня более ничто не касается.

— Нет, сеньора, касается... Прочтите это письмо.

Помона неохотно взяла письмо, отошла с ним, как была в шляпе, к окну, вынула листок из конверта и, прочитав, возвратила его молча Марчелле.

— Что делать? — спросила Марчелла.

Помона взглянула на нее глазами, выражающими тягостное страдание, и, заломив свои бледные красивые руки, проговорила:

— Боже мой, как мучительна жизнь!

— Спешите взять ваше дитя, и жизнь станет легче, сеньора!

Помона присела к столу, облокотилась на него обеими руками и, положив на них голову, воскликнула:

— Все, что ко мне близко, — все погибает.

Марчелла подала ей воды и, когда Помона, сделав несколько глотков, отдала ей назад стакан, она удержала ее руку, поцеловала ее и, обняв за талию, прошептала:

— Поедемте в Marmolato, синьора. Я буду вас провожать... мы сыщем дитя... Поверьте — колыбель больше нуждается в вас, чем могила. Вы узнаете лучшее, самое лучшее чувство, когда ваше дитя станет вам улыбаться. Кто бы ни был отец его — вы его мать, и мы здесь все слишком просты, чтобы разбирать генеалогию. Едем!.. сегодня же едем в Marmolato, сеньора!

— Для чего же сегодня?

— Для того, что сегодня принадлежит нам, и мы теперь можем делать все, что в нашей возможности, а завтра не наше. Едем сейчас.

— Нет, завтра!..

Она бросила на Марчеллу умоляющий взгляд и еще раз простонала:

— Завтра! — и, спешно надев на шею свою золотую цепь с золотым медальоном, спешно же вышла, как бы боясь, что Марчелла ее насильно удержит или еще раз скажет слово о ребенке.

А «завтра» действительно бывает не в нашем распоряжении, и тут с этим «не нашим» днем случилось то же самое. Завтра нельзя было выехать, потому что Помона вечером в свой обыкновенный час не возвратилась. Это было с нею первый раз, как она жила в Риме. Марчелла постучалась к ней в окно за час до полночи, чтобы узнать: будет ли она готова ехать утром, но Помоны еще не было дома. Не было ее дома и утром. Она совсем у себя не ночевала.

Марчеллу это встревожило, и она поехала к Пику, который должен был видеть вчера Помону на работе каплицы и, вероятно, мог дать о ней какие-нибудь сведения, но известие само спешило навстречу Марчелле: в фиакр к ней вскочил бледный и потерянный Пик и заговорил:

— Убитая там... Если хочешь видеть ее прежде, чем ее увезут, — спеши на кладбище... Это сверх моих сил. Вчера я ее просил уйти вместе со мною... потому что уже становилось темно... Она весь день не ела и мне ничего не отвечала. Она не хотела, не хотела уйти... и вот — проклятая ночь сделала свое дело.

— Что?.. о чем ты говоришь?.. Я ничего не знаю!

— Помона убита.

— Где, кем, за что?

— Там... там... на кладбище! Ты еще можешь застать... Она лежит на полу над самой могилой мужа... Ее задушили... два негодяя... Задушили, срывая с нее ее золотую цепь и медальон, который она ценила для себя дороже всего, и... видно, как она его... и себя защищала... Они будут найдены... Один негодяй был папский зуав...

— Почему это известно?

— У нее в руке замерла пуговица, которую Помона оторвала в борьбе... О, в этом стройном и гибком создании была, видно, страшная сила, и она долго защищалась от двух или даже, может статься, от трех человек...

— Почему это видно?.. Почему ты это так говоришь.

— О лучше бы ты меня об этом не спрашивала!.. Ведь ты сама женщина и должна помнить, что есть такие преступления, которых не может сделать один человек. Несчастная страшно оскорблена в самую последнюю минуту жизни и на могиле своего мужа... Что еще спрашивать!

И действительно нечего было спрашивать. Помона нашла себе кончину на могиле своего мужа, но кончина ее была ужасна: смерть пришла к ней с грабежом и поруганием...

Оба актера терзательной пьесы ушли за кулисы переодеваться для нового выхода в ролях, какие даст им режиссер в ином существовании.

Оставалось дитя, папский зуав, Пик и Мак и Марчелла, и вдали стоял, опершись на меч, герцог. Они тоже достойны быть убранными.

О ребенке, имевшем право на заботы и расположение своей матери и двух отцов, новых вестей не приходило. Он мог быть с одинаковой вероятностью у смуглой женщины, или у цыган, или в цирке, или наконец — в могиле. Папский зуав, несмотря на пуговицу, предъявленную мертвой и обесчещенной Помоной, не был ни судим, ни расстрелян. — Полиция не могла похвалиться тем, что отыскала злодея и его собратий. Это дало значительную работу кардиналу, заведовавшему дипломатическими сношениями, чтобы успокоить представителя герцога, желавшего не попустить безнаказанного преступления над подданной его державы. Святейший отец и его кардинал с своей стороны тоже не могли попустить, чтобы их зуав был уличен в таком преступлении в ограде священной обители смерти. Зуав ad majorem Dei gloriam[1] был мирно опущен в каменный мешок, откуда никто не мог слышать его бреда о могильщике, с которым он разделил пополам цену золота, снятого с Помоны, и деньгах, данных ему удивительным английским путешественником, имевшим подло извращенные вкусы. Дипломатическое затруднение было устранено назначением во владения герцога такого римского епископа, который Бога не боялся и людей не стыдился, но власти земной был послушлив. Это покрыло все, что касалось жизни и чести Помоны и престижа страны, которая была ей отчизной. И Бог, имя которого грешно призывать в деле нечистом, не был поруган: кардинал-дипломат был неожиданно отозван от своей должности и умолк перед необходимостью развернуть свиток своей совести перед всевидящим оком. Торопясь в нежданном ответе, он покинул все свои драгоценности у Марчеллы, деликатная натура которой приковала к себе его усталую эминенцию, не требовавшую уже от Венеры и Амура ничего, кроме легкой бисквиты, обмокнутой в шоколад рукой красивой женщины с веселой и доброй улыбкой. Его персидский ларец с чистым золотом остался подножьем у туалета Марчеллы.

Пик был очень занят: что́ Марчелла сделает с этим золотом, которое Пик звал «золотом подлым». Был этим занят и Мак, который находил, что «золото, собранное злодеями, всего правильнее должно быть

---

[1] к вящей славе Бога (*лат.*)

употреблено на погубление злодеев», — о чем в Риме тогда уже было довольно забот и стараний, хотя дело велось пока тихой сапой.

Пик ждал, что Марчелла покажет «плебейскую гордость», что она откроет подножье в своем туалете, выберет оттуда золото, камни и бумаги английского банка и принесет это все и бросит как сор, ее не достойный, святейшему папе.

Мак думал, что ей не нужно с такой тяжестью к папе, а гораздо законней — все вверить ему для вручения тем, которые знали кой-что о лихом молодце Гарибальди, — молодце, который тоже не раз строил куры и самой Марчелле.

И Пик и Мак, по праву коротких друзей, оба спросили Марчеллу, «что она думает сделать с своим туалетным подножьем»? А при этом и тот и другой ей сказали, как бы они обошлися с этим богатством, если бы на ее были месте.

Она промолчала и подумала долго; а потом, поводя большой черепаховой шпилькой по пробору между густых черно-синих волос своей головы, отвечала:

— Видите, оба вы говорите прекрасно... так прекрасно, что если бы я была бы мужчина, то мне очень бы трудно сделалось выбрать: которого из вас больше послушать, так как я с обоими с вами согласна. Хорошо швырнуть деньги старому святейшему папе!..

— Хорошо! — вскрикнул Пик.

— Вот тебе... нам и без золота весело!

— Весело, весело, дорогая Марчелла!

— Но хорошо и прикрыть голые плечи тех, кого обирают на пурпур кардиналам и на послов Ватикана...

— Недурно, Марчелла, — отозвался Мак.

— О, я ведь недаром римлянка. Я знаю, что в темницах у святейшего папы есть население и что разбить дверь туда не мешает, и что на это надобен молот, а чтобы молот сковать, нужно золото... И один вздох освобожденных, которых можно спасти, без сравненья отрадней, чем видеть досаду и гримасы старика в золотом колпаке...

— Ну, конечно, так! Ты черт знает как умна сегодня, Марчелла.

— Погоди, честный Мак, еще погоди. Я не кончила и тебе не пришлось бы взять обратно свои похвалы, потому что я, может быть, умна только как баба и потому — дослушайте бабу.

— Этот кардинал... да простит Бог его душу...

— Если он ее имел! — вставил Мак.

Марчелла покачала головою и продолжала:

— Он не всегда ел одни бисквиты, как белый какаду... Он в молодости был очень и очень предприимчив и счастлив, и об этом кое-что знают очень серьезные дамы с весьма высоким теперь настроением. Черт побери — если пришло время покаяться, так я лучше вам и раскаюсь в том, чего не хочу открывать духовным... Случалось, что я сама на себя принимала роль исповедника, и его эминенция мне болтал с бисквитой во рту о том, где и какие имел он удачи и как это все позагладилось так, что и следа не осталось...

— Еще бы!

— У них все без следа!

— Да, Пик и Мак, но только не это... У него были дети и... вы знаете, настоящие дети... с телом, с душою и с дыханием жизни в ноздрях, будто совсем они созданы Богом, хотя их отец боялся признать их, а их матери были еще гаже отца их...

— Corruptio optimi pessima![1]— заметил Мак.

— Да, — подхватил Пик, — самое лучшее становится самым худшим.

— И это бывает всегда, когда женщина позволяет себе быть бессердечней мужчины, — продолжала Марчелла. — Когда дети не знают отца — в этом всегда мать виновата. Мне же известны плоды его предприятий... Я знаю их имена, их есть пять, и я их всех отыщу и все, что осталось, я разделю на девять равных частей... Помогите мне кончить задачу: пять частей детям счастливой поры кардинала; шестая... для того, кто брошен в Marmolato... Я ведь завтра же поеду, я ведь его непременно же найду и возьму...

— Браво, Марчелла! браво, наша святая Марчелла!

— Пожалуйста, только не святая!.. А три остальные части мы разделим втроем между собою: вы оба и я, так чтобы ни одному не иметь друг над другом ни в чем превосходства. И я свою часть даю Маку, чтобы он как знает доставил это тому, кто может сноситься с Джузеппе... А вы, Пик и Мак, как хотите!

— Да, тоже, конечно, и мы думаем то же.

— И еще... начал было и остановился Пик.

— Говори! — время кончить.

— Я хотел бы сказать, что мне стало ясно... что глупо и праздно так губить себя, как мы губили себя с своим романтизмом и черт его знает с чем... И потому знаете ли... к деньгам надо бы прибавить и...

---

[1] Хуже всего — портить лучшее! (*лат.*)

— Прибавляй!

— Свою жизнь.

— Прибавляй! — повторил Мак и, вынув из кармана согнутый вчетверо лист бумаги, положил его перед Пиком.

Пик разогнул и увидал надпись: «Список друзей благоразумной экономии сил». Затем список имен... Много имен в два столбца и между ними Мак и Марчелла.

— Что это за союз «экономии сил»? — спросил с недоумением Пик.

— Это союз людей, которые не хотят жертвовать собою ни для эффектов, ни для гримас, а хотят сберечь себя на дело, достойное цели человеческой жизни.

— Что же я должен сделать, ежели присоединюсь к ним?

— Ты прежде всего перестанешь считать за важное то, что неважно, — забудешь о герцогских ласках и о личных мелких обидах и станешь думать о бедствиях общих и о том, что можно сделать для общего блага. Ты честен и добр и имеешь горячее сердце — сбереги это все к тому делу, которому нужны будут все наши силы для достижения лучшего будущего, и тогда — дело само укажет тебе, где положить свою жизнь за справедливое дело.

— Я присоединяюсь! — отвечал Пик и, взяв в руки перо, поданное ему Марчеллою, подписал свое имя.

Мак взял от него бумагу, обнял Пика и проговорил:

— Вот теперь ты увидишь, как ты свободен: истина скрыта в том, чтобы любить других больше себя. Эта истина делает человека свободным. Мы желаем свободы.

— Свободы, — повторил Пик.

— Да, свободы, а она начинается тем, чтобы сделать себя свободным от пустых предрассудков и надутых желаний, через которые человек делается пленником дьявола и вертится в его лапах как чертова кукла. Пусть будет предан забвению весь романтический бред и пусть вечно живет простой здравый разум и забота о водворении правды и милости в жизни. Довольно стремиться к тому, чтобы блистать в сиянии герцогов. Не нам исправлять их грехи и ошибки. Наше дело приготовить себя и других, за нами идущих, к тому, чтобы не почитать себя важными и быть менее злыми.

Пик молча пожал руку Мака и кротко заметил:

— Ты мог бы быть очень хороший оратор.

— Может быть, — отвечал Мак, — но я лучше буду стараться о том, чтобы ты не превзошел меня в исполнении того, о чем я говорю.

Ты добрей и нежнее меня, и, раз что ты отвел свой взгляд от того, что не стоит заботы, и обратил его туда, куда нужно, ты — я уверен, — сделаешь больше того, о чем я умею сказать.

— Evviva! Evviva![1] — воскликнула Марчелла и, соединив их руки, дружески их обоих поцеловала.

Союз был заключен, и Пик оживился: он видел опять впереди себя цель, для которой стоит жить всегда, после всякой личной сердечной утраты.

Богатство Марчеллы в этом отношении было еще изобильнее. Это были ее дети, число которых увеличилось скоро красивым ребенком, за которым она ездила и которого легко купила за небольшие деньги в горном Marmolato. Мальчик был дивно хорош и с могучею, крепкою натурою, которая уже выдержала суровую борьбу с пренебрежением и жестокостию злой женщины, которой его прикинула светская дама. Он был бы воплощенным подобием герцога, если бы простое и полное участливости воспитание в доме нежной Марчеллы не смягчило взгляда его больших серых глаз и не дало всем чертам его лица прекрасной простоты. Он был силен телом и крепок душою, но имел горячее сердце и твердый решительный характер. Ему было не нужно вписывать свое имя в реестр обещавших «экономию сил». К тому возрасту, когда он мог быть участником в событиях Италии, люди, преданные идеям добра и свободы, хорошо узнавали друг друга уже без реестров. Имя его было Марко Марчели, имя в честь матери, за которую почитал он Марчеллу. О настоящих своих родителях он не знал ничего. Пик с Маком и также Марчелла — все вместе считали это неважным. Недостроенная каплица над могилою Фебуфиса распалась и сделалась добычею тех, кому на что-нибудь был пригоден материал, употребленный на ее сооружение. Могила Помоны осталась неизвестной, потому что полиция, распоряжавшаяся погребением убитой, сложила останки Помоны в общей могиле. Совпавшая с этим смерть кардинала помешала Марчелле выпросить тело Помоны и погребсти ее «в ногах Фебуфиса». Пик и Мак, почитая Помону виновницею бед Фебуфиса, совсем не заботились об исполнении ее последнего желания.

Когда Марк принес аттестат из своей школы — он возвратился взволнованным и смущенным, и на вопрос Марчеллы: что мешает его спокойствию — он, краснея, сказал ей:

---

[1] Да здравствует! Да здравствует! (*итал.*)

— Я боюсь, что ты не захочешь мне отвечать на то, о чем я желал бы услыхать твое слово.

— Бедный ребенок, ты ошибаешься, — отвечала Марчелла, — на все, что ты хочешь, я отвечу тебе ясно и прямо, что мне известно.

— О, это тебе должно быть известно!

— В таком случае спрашивай смело.

— Кто мой отец?

— Бог.

Марк посмотрел на Марчеллу полными слез глазами и молвил:

— И только!

— Как! неужели это мало? Через него ты в родстве со всем миром! Он Отец всех, в ком есть жизнь... все, кто любит добро — его дети...

— О довольно! довольно! — перебил ее, болезненно вскрикнув, ребенок и, кинувшись на грудь ей с рыданиями и обливаясь слезами, целовал ее глаза и руки и говорил ей: «Он твой Отец! твой!»

— Мой тоже.

— Он создал твою чудную душу! Он привел меня к тебе на колени... Он мне дает эти слезы, чтоб плакать у тебя на груди, припав к твоему чистому сердцу... О, моя мать!.. О, как добр мой Отец! О, как это много!

И Марк, говоря это, все спускался на колени перед тою, которую Отец дал ему в матери и, положив голову на ее колени, плакал все тише; потом поднял голову, взглянул утешенными глазами в ясные глаза Марчеллы и сказал:

— Ты права: это много!

— Довольно, Марк! Я хочу за тебя радоваться, но не хочу с тобой плакать.

— Так ты скажи: чем я тебе заплачу за твои заботы, что я отдам тебе взамен добра и счастья, которыми ты меня окружила?

— Ты отдашь то же самое... только не мне... не мне, мой чудесный ребенок, другим, кого гложет горе...

— О, будь уверена, мать, — они получат твой долг от твоего сына с хорошей приплатой.

Марчелла его обняла и, поцеловав его в лоб, стала разводить его кудри, а он глядел ей в глаза и продолжал, будто присягая в наитии духа:

— Марк возвратит твои семена, моя добрая мать. Марк отсыпет за все оказанное тобою зерном отвеянным, чистым сверху краев утрясен-

ною полною мерою, чтобы Тот, кого ты назвала моим «Отцом», мог быть доволен тобою.

— Да, мальчик, да!

— Только и ты обещай мне.

— Все, что может дать тебе силу для честного дела.

— Вот именно это! Обещай мне не забыть наших сегодняшних слов, если когда-нибудь... меч пройдет тебе в душу!

Марчелла взяла его обе руки в свои и опустила их книзу. Они оба молчали, руки Марчеллы делались холодны — лицо покрылось тенью.

Меч уже касался своим острием ее сердца... Скоро Марчелла узнала и то, как он ранит, входя в душу все глубже и глубже. Она томилась горем долгие годы, когда ее Марк переходил из одного австрийского заключения в другое, а потом, быв в числе первых, приставших к рядам Гарибальди, первым и умер возле народного героя, которому завещал передать Марчелле прощальный поцелуй и одно только слово: «Я отдал...»

Он «отдал жизнь». Больше этого нельзя дать ничего. Сын герцога пал первым за идеи, в которых не было ничего сродного идеям его земного отца.

Если бы могила Марка была известна и на ней потребовалось выразить его эпитафией, то такою эпитафиею могли бы послужить библейские слова: «От ядущаго ядомое изыде, и от крепкого изыде сладкое».

Рукопись на этом кончается, и по заключительной картине очевидно, что повествование доведено автором до полного окончания. Подписи автора нет, и имя его и даже самая национальность, равно как и время сочинения повести, остаются неизвестными. Может быть, это даже перевод, сделанный с рукописи неизвестного иностранного автора, почему-либо в оригинале не напечатанной, но есть основания думать, что вся описанная здесь история происходила в действительности, в чем и убеждают сделанные кем-то карандашом отметки против имен лиц, выведенных в повествовании. Если бы верить этим отметкам, то пришлось признать в изображенных здесь фигурах людей, действительно живших и занимавших в свое время очень видное положение. Тогда повествование могло бы иметь даже некоторое историческое значение; но как положиться на карандашные отметки неизвестного лица весьма рискованно и даже непозволительно и невозможно, то надо оставить их без внимания и рассматривать предложенную выше историю как простое литера-

турное произведение, написанное — как автор хотел показать в своем эпиграфе — «для того, чтобы рассказывать, а не для того, чтобы доказывать! Ad narrandum, non ad probandum».[1]

Ночь на 9 апреля 89...
Николай Лесков. Заутреня.

[1] Для рассказывания, а не для доказывания. (*лат.*)



ДОПОЛНЕНИЯ

НАБРОСКИ ПЕРВЫХ ГЛАВ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»

ЧЕРТОВА КУКЛА

Фантастическая повесть

I

Мы обедали часом позже обыкновенного, потому что матушка поджидала отца, который был уже четвертый день в городе. Поэтому я и две мои младшие сестры Людмила и Варя очень проголодались и с аппетитом съели вкусные пшеничные ватрушки с луком, которые очень любил папа и которые для него были приготовлены. Няня Арина за это назвала нас «бесчувственными и алчными, которые не думают об отце», но мама не сказала ни слова и даже сама разломила нам последнюю лепешку и тотчас после обеда отпустила нас на гору. Гора была недалеко, в виду нашего небольшого сельского «мелкопоместного» домика, за речонкою у родника, из которого все брали воду, и, неся ее в ведрах, поплескивали на дорогу, так что гора была как будто полита и представляла все удобства для катания с ней в салазках, на льдинах и на скамейках, в чем я при простоте моего мелкопоместного дворянского воспитания был большой мастер. Мама знала о моем искусстве и не только мне самому не возбраняла этого удовольствия, но даже позволяла мне брать себе в колени сестру Людмилу, да и Варю мне не позволялось брать не потому, чтобы ей от этого предвиделась опасность, но потому, что она была «крикуха» и «решительно всего боялась!» За это

мы с нашим кузеном Брасовым, поощряя мужественность Людмилы, звали ее «реничкой» или королевочкой, а Варе говорили, что она «Варя — жид».



ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Фантастический рассказ

Вы не то делаете, что хотели бы...
Павел (Гал., V, 17)

I

Нас было три товарища, и мы были не только товарищи, но и друзья. Детство наше шло порознь, и мы узнали друг друга только в университете, в который явились одновременно на экзамен! Это было в 1851 году, стало быть, незадолго перед Крымскою войною и последовавшими за нею большой важности событиями. Все мы трое выдержали экзамен превосходно и поступили на словесный факультет.

Друзья мои, о которых здесь будет идти речь, назывались один Безбедович, другой Брасов, — моя фамилия Коренев. Наши средства к жизни были не равны: я получал от своего старика отца, который служил советником в палате, триста рублей в год; Брасов был сын одной из знатных наших помещиц и потому, конечно, мог получать несравненно больше, но сколько он получал, ни я, ни Безбедович не знали и никогда его об этом не спрашивали.

Безбедович же был сын ссыльного униатского попа и не имел из дома ровно ничего, но тем не менее мы хотели жить вместе и поселились на одной квартире в доме оригинальнейшей дамы Матрены Степановны Скорбогатки. У нее был муж Петр Степанович, но об нем не говорилось: он был просто «Матренин муж». Мы занимали небольшой деревянный флигель внутри двора и держали для прислуги мальчика. Квартира была теплою, стол сытный, и мы жили недорого. Тогда еще не отошло дешевое время, Безбедовичу, однако, и это было тяжело, так

как он содержал себя уроками, и потому мы экономили «во всем», чтобы не отягощать своего беднейшего приятеля, и зато жили мы весело и очень счастливо. Воспоминание об этой поре и теперь после самых разнообразных трепок и охлаждений согревает и веселит меня. Думаю, что то же самое оно приносит и им, моим друзьям, с которыми я вас должен познакомить. Начну с Платона Николаевича Брасова, который был всех нас моложе и пользовался у меня и у Безбедовича исключительным фавором, дошедшим до того, что мы ему всегда и во всем уступали первенство. Пусть это будет так и здесь при этом описании.

Как неравны были наши судьбы, так неравно было и наше общественное положение, в котором все преимущества были на стороне Брасова. Он происходил из весьма известного в нашем краю дворянского рода, и отцу его принадлежали довольно большие имения, но с отцом его что-то случилось: он как-то одно время очень фигурировал, и как местный предводитель, и как агроном, и как покровитель искусств, ради чего был директором местного театра, но все это было когда-то давно, так что я знал об этом только по слухам. Потом его просто как-то не было, и я сам, не зная, в чем это заключалось и заключается, сойдясь с молодым Брасовым в университете, никогда и словом не намекнул ему о его отце.

Той же самой манеры держался и Безбедович. Мы оба чувствовали, что здесь есть какая-то деликатная материя и никогда ее не касались. Так как все мы трое были почти из одной местности, то мы, конечно, знали, что в селе Брасове жила мать нашего товарища, и мне даже было известно, что ее звали Лидия Николаевна, что она, когда была молода, то была очень хороша и где-то блистала, но потом много лет живет безвыездно в Брасове, никого не принимает и сама никуда не ездит. Она жила там не одна, но с детьми, которых у нее одни считали трое, а другие насчитывали четверо и даже пятеро. Я этого наверно никогда не знал, да и не интересовался до самой той поры, когда Платон Николаич неожиданно сделался моим товарищем в университете. Тут у меня, разумеется, был повод осведомиться о его семействе (так как я обучался в гимназии, Безбедович в семинарии, а Брасов в частном пансионе, и мы друг друга до этой встречи в университете не знали), и я однажды совсем было уже заговорил с ним в этом роде, но вдруг спохватился и остановился. Сам не знаю, я почему-то чувствовал, что тут что-то такое, чего не надо касаться. Брасов сам сказал нам, что у него есть брат Кирилл и две сестры Прасковья и Гоиль. Но когда Безбедович, удивленный последним столь необыкновенным у нас женским именем, переспросил Брасова: «Это твоя сестра Гоиль?», Платон вдруг

смешался и весь попунцовел и притворился, что будто ему жмет ногу обувь, но потом, оправясь, ответил с немножко излишнею твердостью:

— Да, Гоиль — это моя младшая сестра; у нас у всех немножко претенциозные имена, ее зовут Гоиль Николаевна. Это, впрочем, на мой слух не худо.

— Очень хорошо, — ответил Безбедович, как будто ничего не замечая, между тем как и он не хуже меня приметил смущение Платона при вопросе об Гоили и усиленную твердость в его о ней рассказе.

Мы оба с ним ничего друг другу не сказали, но оба заподозрили то, что нам показалось и что вскоре после оправдалось. Брат Пимена был старше его двумя годами. Оба брата обучались в одном московском пансионе и окончили курс вместе, но тут и разошлись. Кирилл поступил в самый блестящий гвардейский полк, а Пимен в университет. Это была какая-то замечательная для братьев эпоха, у них в это время произошло что-то, разделившее их навеки. Кирилл, говорили, был матушкин любимец и стоил ей больших денег, а потому полагали, что это могло возбуждать в Пимене зависть, но мне это казалось невероятным и последствия это оправдали.

Кроме этого брата у Пимена был еще какой-то родственник Костя Готовцев. В какой степени родства он приходился Брасовым, я этого не знал и вообще на этот счет в то время все были какие-то неточности. Он в доме у них не жил, но мать их за него платила учителю гимназии, у которого он и жил и учился. Его взяли прежде окончания курса и куда-то отправили. По слухам, он готовился быть ветеринаром. Это было очень странное и загадочное лицо, с которым мы ниже встретимся.

Из двух своих сестер Пимен Брасов особенно любил старшую Прасковью, которая была моложе его только двумя годами. Они беспрестанно переписывались, и я не знаю, как это у нас завелось, что мы ее письма стали считать общим нашим достоянием. Кажется, вначале Пимен сам прочитал нам одно ее письмо, служившее ответом на сделанное им описание нашей жизни и наших характеров. Она поместила о нас свои очень веские и меткие суждения и сделала много похвал Безбедовичу. С тех пор, чуть получалось письмо, подписанное ее рукою, мы, бывало, просим Пимена прочесть нам «что можно», и он читал нам почти все. Таким образом, мы, никогда не видев этой девушки, успели уже с нею познакомиться и полюбили ее за ее прелестный ум и прелестную душу. Она это, вероятно, знала и приписывала нам поклоны. Пимен и Прасковья Николаевна, по-видимому, так и рвались друг к другу душами. В первые же каникулы нам с Бебедовичем предстояло с нею

познакомиться, но, конечно, совсем не при тех обстоятельствах, как это случилось.

Мой отец не имел родословной, но по проживавшей у нас тетушке вдове попадье Пелагеи Дмитриевне я с детства знал, что отец мой вышел из духовного звания. Он служил советником, был известен за хорошего, весьма проницательного следователя и очень честного человека. У нас был свой дом и хутор с двадцатью крестьянами и более ничего.

О родстве моем здесь не буду распространяться, так как из него к этой истории относится только одна моя жена, о которой речь впереди.

Происхождение Безбедовича было еще темнее моего, он был сын униатского попа, который не поладил в чем-то с Симашкою во время присоединения униатов к православию и был сослан в наш город. Он здесь проживал в величайшей нужде частными уроками и кое-как воспитывал сына. Впрочем, Адам с четвертого класса содержал себя своим собственным заработком и, окончив курс, вместе со мною, явился в университет без гроша. Он и здесь должен был продовольствовать себя своими собственными средствами точно так же, как продовольствовал в гимназии. И он этого не боялся и достигал, конечно, не без трудов и не без усилий, но они его, впрочем, никогда не сокрушали. Жили мы очень скромно.

Лучше всех нас воспитанный и лучше нас поставленный Пимен Брасов имел передо мною и Безбедовичем много преимуществ, перечисляя которые надо начать с наружности.

Я был ни хорош, ни дурен, — так себе, обыкновенный русский малый, довольно топорной обделки; а Безбедович был даже немного безобразен. При довольно высоком мужском росте он обладал какою-то особенною, не по-мужски, а по-женски расположившеюся дородностию и имел нечто бабье в лице и в походке, а также в звонком трескучем голосе, которым напоминал сварливую торговку. Его сходство с женщиною было так велико, что мы с Пименом переделали его крестное имя Адам Львович в «Мадам Львович», и эта кличка так к нему пристала, что он остался с нею даже до сего дня.

Брасов же был воплощенная милота: я не говорю красота, но именно милота. При небольшом росте и некоторой сутуловости он был сложен очень крепко и пропорционально; имел очень небольшую ногу, замечательно красивые, аристократические руки и умное благородное лицо с превосходными карими глазами из тех, что называются «говорящими». Не произнося ни одного слова, он давал вам чувствовать все, что приходит в его душу и как это в ней перерабатывается. У него был пре-

восходный прямой нос, открытый лоб и густые каштановые волосы. Словом, не будучи красавцем, он казался очень красивым, и мещанские девушки тех скромных улиц, где была наша студенческая квартира, подстерегали его, когда он возвращался домой с лекций, с тем, чтобы взглянуть на него одним глазком через узенький створ калитки и крикнуть ему:

— Черные глазки ангелочка, — и опять хлопнуть калитку и убежать.

Он очень забавно на это сердился и чрезвычайно мило конфузился, когда мы с Безбедовичем подсмеивались над ним, называли его «хорошеньким».

Женщины в него влюблялись еще с самой его юности и по сбывшемуся над ним пророчеству Безбедовича устроили несчастие всей его жизни. И в этом, конечно, нет ничего особенного, потому что мало ли в чьих судьбах женщины не играли самой важной роли, но дело в том, что участие их, женщин, в судьбе моего друга, представляет нечто странное и достойное внимания как явление борьбы бродящих начал нашего времени.

III

Безбедович имел какой-то несчастный дар прорицания, которого он и сам иногда побаивался. Я же боялся этого его дара более, чем он сам, и чувствовал всегда неодолимую потребность ему противоречить, но в этом случае, с предсказаниями его насчет зависимости судьбы Брасова от женщин, я был согласен. И мне весьма удивительно, почему в этом-то именно я и был согласен, когда все свойства прекрасной души Брасова, его нежное сердце, целомудренность его взгляда, его ласковость и преданность, и вообще все его прекрасное поведение должны бы были мне внушать одно спокойное убеждение, что этот человек рожден для самых глубоких привязанностей, что он будет превосходным семьянином и осчастливит всякую женщину, которую изберет его сердце. И это так было: он действительно все это имел, но тем не менее предчувствие, — темное, неясное, но непоколебимое предчувствие дружбы, которою все мы были связаны и дышали как одним воздухом, говорило, что он обречен на какое-то ужасное несчастие, которое понесет не за свои пороки, а именно за то, что в нем есть благороднейшего и лучшего.

Это печальное преимущество русских людей — страдать не за свои пороки, а за свои достоинства — было его оброком, и я это чувствовал, но никогда не уяснял себе, пока однажды в отсутствие Брасова у меня за-

шел о нем очень памятный мне разговор с Безбедовичем. Мы валялись на своих кроватях: Безбедович читал, а я думал о Брасове и сказал:

— Послушай, Мадам Львович, оставь, пожалуйста, твою книгу: я хочу с тобою поговорить.

— Изволь, Саша, изволь, поговори, — отвечал он и свернул книгу.

— Только я с тобою хочу поговорить об очень серьезном деле, которое меня тревожит.

Безбедович повернул ко мне свое бабье лицо и спросил:

— Ну что еще за глупости будут?

— Никаких не будет глупостей, а я хочу говорить о твоем пророческом даре.

— Только-то! — протянул он и снова хотел взяться за свою книгу, но я вскочил с места, пересел к нему на кровать и, схватив его за руку, сказал:

— Нет, Мадам Львович, ты, пожалуйста, не капризничай, а выслушай, что я скажу тебе.

— Ну, хорошо, говори, да только складно.

— Речь будет о Пиме (так звали мы в ласкательной форме Пимена Брасова).

— Прекрасно, я тебя слушаю, но к чему же тут мое пророчество?

— Сейчас увидишь: помнишь ли ты ему говорил, что он будет «чертовою куклою»?

— Ну так что же?

— Только и всего: скажи, помнишь ли ты, что ты это говорил?

— Право, не помню, когда что было, но от слова не отрекаюсь.

— Не отрекаешься?

— Да, не отрекаюсь!

— Стало быть, ты это не шутишь, а в самом деле уверен, что при всех дарованиях, которыми Брасов нас с тобою превосходит, из него не выйдет ничего, что он опять, как ты сказал, будет чертовой куклой.

— Да, Саша, я в этом уверен, — отвечал тихо Безбедович.

— И, конечно, ты не станешь меня уверять, что вещаешь это, как пророк, по вдохновению, и скажешь, почему ты это так вывел.

— Изволь, братец, изволь, только ты отойди от меня прочь или сядь подальше, а то твоя дружба и преданность так тебя согревает, что ты сообщаешь мне излишний жар. А чтобы излагать тебе такую материю, на какую ты меня вызываешь, я хочу быть похладнокровнее.

Я отодвинулся к его ногам, а он, поправив под спину подушку, прислонился к спинке кровати и произнес мне следующее, навсегда остав-

шееся у меня в памяти поучение, которое положило во мне семя веры в неотразимость судьбы Брасова.

Помня эти слова, я приведу их здесь в точном изложении, которое покажет и несколько оригинальный, но не лишенный основательности взгляд Безбедовича и может послужить определением наших характеров и отношений гораздо лучше, чем бы я сделал это своими словами.

IV

— С тобою, брат Саша, трудно об этом говорить, — начал Безбедович, — потому что ты очень уж счастливый человек, чтобы понимать иного рода несчастия.

— Я, — говорю, — тебя и не понимаю в эту минуту.

— Ну, да это так и должно быть; ты не обидься, пожалуйста, я совсем не хочу сказать, что ты глуп или что тебе не достает ума понимать что-нибудь дальше твоего носа. Я знаю, что ты парень умный и способный понимать очень многое, может быть, гораздо тоньше, чем я, или Брасов: но я тебе сказал, что ты уже очень счастлив; ты от природы все сам в себе заключаешь и можешь жить в ладу с самим собою.

— Мне кажется, что могу.

— Непременно можешь, ты существо органическое, простое...

Я засмеялся.

— Право, мне все кажется, что ты думаешь, будто я тебя ставлю по уму на низшую ступень. Это меня смущает.

— Ну, ничего, ничего, говори, не смущайся, а продолжай. Я существо органическое и простое и потому могу быть безмерно счастлив...

— Ну, вот уже и «безмерно». — Я этого не сказал, но ты, в самом деле, будешь находить примиряющее начало во всех положениях жизни. Ты весь в свою меру растешь: ты рожден не в богатстве и не важного рода, но ты и не знал нищеты, как я, и не зрел ранних смущений, как друг наш Брасов...

— А он какие зрел смущения?

— Погоди; дай одно кончить, ты, так сказать, слагался органически: дан тебе ум, ты им и рассуждаешь о том, что предложить твоему ближайшему обсуждению, и судишь очень хорошо, благородно и правильно; дано тебе доброе сердце, и ты зла не делаешь и на добро изрядно подвижен. Многого ты от жизни не требуешь и со всем обойдешься, и оттого ты моя большая утеха и я тебя люблю больше всех людей на свете. Что, тебя, небось, это удивляет, а это именно так, ты моя утеха: когда

мне заморозит на душе и былое, и настоящее, и грядущее, в котором, как ты думаешь, мне будто бы позволено засматривать, я всегда стараюсь взглянуть поскорее на тебя, в твою простую душу и успокоюсь. Я вижу тебя не в одном том моменте, в котором ты мне тогда представляешься, а во всей твоей долговечной протяженности во времени и пространстве и вижу, как ты переживешь и меня и Пимена и будешь благополучен и мирен, а мы нет. Вот тебе опять пророчество, только на этот раз самое утешительное и для тебя и для меня, потому что я люблю тебя, моя божья коровка, и радуюсь, что тебя обойдут сорные вихри, которых нам с Брасовым не избегнуть, хотя нам с ним и не одна дорога.

Этот намек на предлежащие нам разные дороги, напоминавший мне всегда смущавшую меня необходимость расстаться, омрачил мою мысль и отогнал на минуту внимательность, с какою я слушал нашего старшего друга. Безбедович сейчас же это заметил и, взяв мою руку, крепко-крепко сжал ее своею мягкою теплою рукою и продолжал:

— Не грусти, это еще далеко, да и что значит разлука для людей, которые так хорошо друг друга любят, как ты, я и Пимен. Куда нас ни раскинет, верь, мы всегда будем вместе, потому что всякий из нас по частичке своей души в душах друг друга оставит. Это не пройдет, как не проходит беременность; мы будем носить наши чувства, покуда будем чувствовать. Но нельзя же, чтобы я нищий плебей, которому вся дорога от печи до порога, претендовал на такую же карьеру, какая может ждать в известной мере тебя и в очень большой степени Пимена. Ты поползешь, он поползет, а я сяду где-нибудь учителем, если не дам ходу моим мошенническим инстинктам и не сверну в овраг на сторону. Я знаю, что ты хочешь возражать против моего сознания в моих мошеннических склонностях, но, право, это будет напрасно: ты знаешь, что я ведь немножко буддист и верю в то, что душа, приходя откуда-то в тело, приносит с собою известные готовые и совсем сформированные инстинкты и свойства: во мне или в моей душе много злого и плутовского. Я совсем не добрый и не честный человек по природе: у меня все первые побуждения всегда самые гадкие, но я не даю им только воли и кажусь тебе лучшим потому, что я не люблю одного мерзавца тешить, но по натуре, поверь, я очень злой человек: я свиреп, я мстителен, я завистлив и страстен. Последнее уже совсем и не идет к моей роже, ну да все-таки я таков: я пасу, братец, самых гадких свиней и не могу от этого воздержаться. Я много страдал, Саша, и все, кого я любил в моем детстве, все они много страдали и до сих пор страдают и страдают безвинно. Я много-много рассуждал об этом и видел в этом ужасную несправедливость и доходил даже до богохульства, потом до безверия.

— А теперь? — перебил я.

— Теперь?.. молчи и слушай. В детстве, когда я урывками мог мечтать, я, бывало, выходил украдкою по ночам на высокую досчатую галерею, где развешивала сушить белье разделявшая с нами одну квартиру прачка. Там, бывало, свистит и гудит ветер, и сырые белые простыни тяжело колышатся, как привидения, а внизу сонный город, и я все, бывало, стою и думаю: «Ах, с каким бы удовольствием я зажег этот подлый город, в котором нет никакого участия ни к моему несчастному отцу, ни к моей матери, ни к моей голодной сестренке и к этой прачке, которая работала с утра до ночи для того только, чтобы на ночь похлебать из грязной чашки капустных листьев, заправленных водой. Я зажег бы этот город и отнял бы у всех все, что мог отнять и... потом раздал бы тем, у кого ничего не было.

Раз я стоял на этой галерее в ужасном волнении, моя маленькая сестренка была больна, и мы с матерью весь день за нею ухаживали, но у нас не было денег не только на то, чтобы позвать доктора, но даже на то, чтобы купить ей моченое яблоко, которым она бредила, прося его в жару горячки. Усталый отец пришел поздно и ничего не принес: богатый купец, у которого он учил сына, не дал ему в этот день денег.

Мы легли спать ничего не евши, сестра снова забредила о яблоке, усталая мать уже не могла подняться, но отец встал и начал утешать ребенка, а я потихоньку выскочил из комнаты и ушел на галерею и, захватив здесь под мышки две бельевые веревки, начал ими в ярости размахивать из стороны в сторону, пока оборвал одну из них и только что вымытое белье полетело на сорные половицы. Это произвело шум, на который прибежал мой отец, и я должен был ему сознаться в моей вине и принести другое более пространное покаяние в мыслях, под влиянием которых я забрался на галерею.

Он меня выслушал и сказал своим образным языком полупольской структуры:

— Ну, от сего маешь соби добрый приклад того, як водит душу чертяка. Мстити, хлопче, дило не наше и не восхищай суда Божия, а ты за чертями взманом не ходи, бо он с галереи почнет ставити да так аж до виселицы догонит и тодди расхохочится, что добру шутку человеку устроил. Противляйся; нехай тобою, як куклою, не забавляется: май соби в сердце правило.

Я его и имею. Это правило, чтобы не плясать по чертовой дудке, и все, что ты во мне знаешь доброго, — это не свободное, как у тебя, а это сделано, потому что не хочу быть чертовою куклою, злиться злюсь и, когда так разозлюсь, что и ты мне не помогаешь, то иду пасти

моих свиней (этим он намекал на свою несчастную страсть к загулу, от которой никак не мог отучиться). С свиньями я смиряюсь и чувствую, какая я сам дрянь, и опять берусь за работу. Но вот, что я не знаю куда скинуть: это мою подозрительность. Я тебе скажу, что во мне нет духа пророческого, а во мне дух соглядая, — попросту сказать, сыщика. Шпионом бы я не годился быть, потому что ненавижу тех, кому шпионы нужны, но а сыщик во мне сидит и открывает мне в людях то, что они всего тщательнее скрывают. Это опять он, как мой отец говорил, «чертяка» мне, кажется, помогает, чтобы мне не было покоя и сладких увлечений. Для меня нет однех маскирующих декораций, а я вижу пружины, канаты и блоки, на которых их спускают и подвигают, и это моя казнь. Я очень люблю у Пушкина: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», но не могу поверить: как это обман может возвышать? Разве если я никогда не открою, что это был обман, но это так только и будет обман, а я не люблю ни людей обманывать, ни сам обманываться, и вот за это еще раз признаюсь тебе в любви: ты не обманщик. Понимая тебя как ты есть органически, я могу видеть тебя в далеком историческом, я могу с вероятностью сказать, что́ ты сделаешь и чего не сделаешь. Если мне скажут, что Александр Александрович Коренов отрастил себе бороду и живет пустынником, — это будет странно, но я этому поверю, а если скажут, что ты за неправое дело стоял, хотя бы для блага самого дорогого тебе лица, я тому не поверю. Значит, я почти знаю, какой ты человек и к чему ты способен, потому что ты человек, получающий побуждения органически: ты всегда стремишься к тому, чего хочешь.

— Это правда.

— А во мне мое органическое борется с моим историческим, и я усиливаюсь делать то, что должен, но чего не желаю.

— Ты лжешь на себя.

— Нимало, но во мне есть сила разбирать, что́ я могу и чего не могу, и при том я достаточно гадок по натуре, чтобы сносить гадкое, а Пимен...

— Что же Пимен? У него перед нами во всем преимущества: ум быстрее, таланты очень разносторонние, сердце добрейшее, и великодушие, и милота, и простота...

— Все правда, говорю, Адамушка, правда, но что же тут худого?

— Худого вот что: он мотишка.

— Что ты это говоришь; в чем ты его упрекаешь? — сказал я с тенью некоторой обиды за отсутствующего Брасова, умеренность которого можно было считать образцовою.

Безбедович улыбнулся.

— Браво, браво, — воскликнул он, — я с головою отвечаю, что ты меня не понял, и мне очень смешно, как я совсем нехотя тебя замистифировал. Неужто ты мог подумать, будто я считаю Брасова мотом в денежном отношении? Фуй, какая глупость, милый Саша; стыдись братец, стыдись, если ты так подумал.

Я отвечал, что я действительно так подумал и готов стыдиться, но не понимаю: как я должен был принять эти слова иначе.

— А вот как, братец, — отвечал Безбедович: — можно мотать не одни деньги и сокровища, полученные от предков. В этом роде Брасов до сих пор укору не подлежит, хотя я не сомневаюсь, что он мог бы быть и в этом роде изрядным мотом.

— И если бы это так было, то я уверен, что он все промотал бы не на свое удовольствие, а на что-нибудь лучшее, к благу других, — перебил я снова, чувствуя в душе некоторую обиду за Брасова.

— Будь по-твоему: я не стану этого оспоривать...

— Да и не можешь.

— Ну-у, не знаю, могу или не могу, но только не стану, хотя скажу тебе, что и людское благо любит не как благо, ради любви к ближнему, а ради собственного удовольствия... просто вкус к тому чувствовать.

Это меня еще больше рассердило, и я сказал:

— Мне не нравится, что ты говоришь, Мадам Львович: этак все можно перетолковать, и ты знаешь, что есть люди, которые всю миссию Христа объясняют одним его вкусом к добру, но согласись, что это очень недостойно и глупо.

— Да, — отвечал Безбедович, — в применении к тому, кого ты назвал, это и недостойно, и глупо, — я с тобою в этом согласен; но мы Христа не будем касаться — я не люблю тормошить Его имя в наших мелких делишках. Я не знаю, как обойдется Лука[1] со своим состоянием, хотя весьма возможно, что он его не убережет, но я тебе скажу по секрету, что у него немного и будет этого состояния. По крайней мере, гораздо меньше, чем ты думаешь. Мой отец писал кое-что по найму в опеке, и я от него кое-что слышал; но я тебе расскажу это после; а теперь узнай, что я всего менее думаю о его состоянии. Сбережет ли он его или так или иначе промотает, — это в моих глазах все равно. Вижу, что ты опять меня хочешь перебить и даже чувствую, что ты намерен мне сказать, но это напрасно: я знаю, что он не купеческий сынок и кутить не может, с цыганками плясать не пойдет и в карты играть не бу-

[1] Так у Лескова. См. с. 342, коммент. к с. 226 (примеч. сост.).

дет, а если спустит, то спустит все и не на аферы, а так... трудно предсказать на что именно, но на что-нибудь очень благородное. Что же? — тем лучше, и я этого нимало не боюсь, да и мне пролетарию было бы смешно бояться за человека только потому, что у него нет состояния. Брасов не только не может умереть с голода, но он должен даже никогда ни в чем не нуждаться, потому что у него целое состояние в нем самом: он умен, талантлив, производит на всех очень выгодное для него впечатление, а при том же у него есть родство и связи и хорошее, как говорят, имя, так, стало быть, чего еще бояться.

— Да и я не вижу, чего ты боишься?

— А вот чего: я боюсь самого страшного мотовства. Это того мотовства, когда человек мотает самим собою.

— Самим собою?

— Да, когда он проматывает зря свои лучшие силы и способности и остается к старости нищим. Этого рода моты и жалки и ужасны и по вреду, который они приносят и себе и людям; они не в пример хуже денежных расточителей, хотя, по правде сказать, и те, по моему мнению, ужасная сволочь, но моты, к числу которых принадлежит и наш Брасов, — эти уже и еще того хуже: они весь свой бисер свиньям под ноги разбросают, а потом сами сядут на гноище и скряжничают. Я не люблю ни мотов, ни скряг.

— Однако же, надеюсь, ты Брасова любишь?

— Люблю.

— Как же это?

— А вот так же, как и ты его любишь.

— Но я не вижу в нем тех пороков, о которых ты говоришь.

— Полно врать.

— Право, не вру.

— Полно врать, говорю.

Я замолчал и призадумался.

Действительно, я чувствовал, что тут есть какая-то правда. Брасов действительно был в известном отношении мотом: он расточал свои дары на все, увлекался всем и, увлекаясь, не жалел себя для этих увлечений и потом, разочаровываясь в них, отходил от них прочь не жалея, с тем, чтобы снова увлечься и снова бросить.

Я высказал это Безбедовичу и спросил его: это ли он считает тем страшным мотовством, которое, по его соображениям, должно принести исключимые беды нашему другу.

— Да, между прочим, и это, — отвечал Безбедович. По-моему, это все скверно и именно потому скверно, что это его измотает раньше сро-

ка и оставит в душевном холоде и голоде к тому времени, когда надо греться и мягкую кашу есть.

И он опять обобщил вдруг свой вывод в полуприточной форме:

— Говорю тебе еще раз, что он опасен, он мне представляется каким-то даровитым и отважным вождем, который ведет свои силы в бой не для одержания полезных побед, а для того, чтобы скорее раздать вверенные ему георгиевские кресты, и тычет их направо и налево кому попало, а когда дело будет в критическом положении и для спасения его явится настоящий герой, ему нечего будет дать ему, и он явится несправедливым и неблагодарным. Хочешь доказательств?

— Хочу.

— Наблюдай его и спрашивай, как он поступает, и как бы ты поступил в данном случае. Ты хорошее мерило, потому что ты органический человек и поступаешь всегда, как требуют обстоятельства. Наблюдай же!

Я с этих пор действительно стал наблюдать того, кого до сих пор только любил, и обстоятельства скоро представили к тому большие удобства.

V

Проведя первый год университетской жизни, мы должны были расстаться на все каникулярное время: Брасов ехал домой и приглашал нас гостить к себе, но мы оба отказались. Безбедович набрал себе на все каникулярное время кучу уроков «с лентяями» и оставался в городе. Это ему было совершенно необходимо, чтобы поправить свои обстоятельства и усилить цифру вспомоществования, которое он посылал своему бедному семейству. Я же мог бы поехать с Брасовым в нашу сторону, чтобы повидаться с родителями и погостить в Брасове, но у меня вдруг явилось несколько причин не ехать. Все оне с виду были довольно ничтожны, но, однако, одна из них самая ничтожная была достаточно сильна, чтобы даже преодолеть во мне довольно нетерпеливое намерение видеть отца и мать: я боялся мысли быть в брасовском доме. Не подумайте, что это происходило от излишней дикости и застенчивости, свойственной людям, страдающим самолюбием, — нет, но просто боялся туда показываться, хотя и очень расположен был любить семью моего любимого друга. Приехать же в свой город и не побывать в Брасове было дело невозможное. И вот я решил себе, что так как и мои родители люди не богатые, то и мне не лишне потрудиться и облегчить их, самому для себя кое-что заработать.

Случай к тому не замедлил представиться самый благоприятный: Безбедовича, как репетитора, приобретшего себе уже большую известность умением «подгонять лентяев», пригласили на лето в один помещичий дом, а как он не мог соединить этого приглашения с городскими уроками, которые были им набраны ранее, то и предложил эту «кондицию» мне. Пригласившие его, веря его рекомендации, охотно согласились меня взять, а я охотно согласился к ним ехать. Деревня эта была в очень хорошей местности и в недалеком расстоянии от города, так что...



ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Роман

> Несть наша брань не к крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным.
>
> *Ефес. VI, 12*

Часть первая

РАПСОДИИ

I

На дворе бушевала жестокая зимняя вьюга: три дня как она уже не унималась, а напротив, все более и более разыгрываясь, сравняла с нанесенными ею снежными холмами низенькие избы обширного села Брасова. Высокий господский дом, несмотря на ежедневные усилия крестьян отгресть от него сугробы и промести дорожки, находился почти в таком же неприступном положении, как и расстилавшаяся у подножья его деревня, — даже он терпел от ударов бури гораздо более, чем крестьянские избы, что было и весьма понятно, потому что низенькие жилища крестьян тянулись двумя порядками вдоль довольно узкого удолья, где вьюге не было простора разыграться, меж тем как высокий, старый дом

стоял на взгорье, которое давало ему видное и господствующее над всею местностью положение.

Положение это было очень выгодно и прекрасно во всякое время, кроме таких жестоких бурь, в какую мы видим теперь сквозь тьму и метель мигающие огни высоких запушенных снегом окон старого дома.

Брасовский дом по отношению к избам крестьян, его владельцам, напоминает басню о дубе и тростнике: меж тем как он, отстаивая свою позицию, трещит и стонет под зверскими порывами вьюги, — те пригнулись и спят под пушистым белым покрывалом.

Такую же разницу ощутил бы тот, кто проник бы теперь и во внутреннюю жизнь этих жилищ: в душной тесноте изб все живое давно покоилось мирным сном, — лишь изредка перерываемым детским плачем или тихим полусонным мычанием взятого сюда от мороза новорожденного теленка, — в широком просторе дома никто не знал покоя. Слуги, находившиеся в довольно большом изобилии в передних мужской и женской половины дома, дремали одетые, кто где нашел для себя удобнее прислониться: в разрядной комнате, куда по вечерам обыкновенно являлись за приказаниями бурмистр и конторщик, тускло горела на столе сальная свеча, перед которою, утупясь глазами в шахматную доску, сидели два человека: один рослый, сухой, с несколько резкою, как бы собачьею физиономиею был конторщик, другой небольшой пухлый как подушка — буфетчик.

Не нужно было никакой особенной наблюдательности, чтобы заметить, что игра доставляла им мало удовольствия: они убивали за нею скучное время, которое, конечно, предпочли бы проводить каждый в своей постели.

— Не едет, — проговорил, собирая сыгранные шашки, буфетчик.

— И не приедет, — отвечал ему тем же сухим тоном конторщик.

— Вы почему так думаете?..

— Разве не слышите, погода.

— Да, погода... А я у вас сейчас фук возьму.

Но прежде чем взять с своего партнера фук, буфетчик был поражен долетевшим до него из передней дружным храпом нескольких носов и, быстро встав, поплыл на этот звук, чтобы растолкать ленивых рабов.

Но были ли они теперь рабы? В том то и дело, что нет: вчера им был прочитан манифест, окончивший их рабство, и сегодня они проводили первый день своего свободного состояния, которого не могли понять, но которое чувствовали, и, по наблюдениям буфетчика, уже успели начать «повреждаться».

— Храпят? — спросил его, когда он снова сел, конторщик.

— Да что теперь внушите? — отвечал буфетчик.

— А если не приедет сам, да и скажут ночью посылать: ей богу, Петр Андреич, не пойду.

— А что?

— Да не поедут.

— Ну!

— Ей богу, не поедут.

— Нет, будто тихо... верно, не пошлют. Погода только... ух лютует.

И они оба прислушались к визгу ветра, которому вторил где-то под крыльцом заунывный вой легавой собаки. Буфетчик встал и вышел, чтобы послать прогнать ее и, возвратясь, застал, что конторщик, положив голову на руки, спал крепким сном. Он посмотрел на него, улыбнулся и, достав из кармана табакерку, стал сворачивать бумажного гусара; но как конторщик очень предусмотрительно спрятал нос между руками, то буфетчик оставил свою затею и, понюхав табаку, и сам последовал примеру своего собеседника.

Те же сцены и картины происходили и в девичьей, с тою лишь разницею, что здесь беспокойный полусон был несколько спокойнее, потому что зоркий глаз имевшей здесь наблюдение ключницы был дольше.

Эта почтенная дородная особа, имевшая большое сходство с только что виденным нами буфетчиком, которому она доводилась сестрою, находилась в это время довольно далеко от своего командирского поста в девичьей. Она сидела и, не торопясь, шила что-то в просторной чайной, из которой полурастворенная дверь вела в другой покой, слабо освещенный ночною лампою под темно-синим колпаком.

Из этой дальней комнаты слышалось тихое прерывистое дыхание, за которым ключница следила с напряженным вниманием: чуть дыхание ослабевало, или усиливалось, эта женщина тотчас втыкала в работу иглу и как бы ожидала зова; но ее никто не звал, и она, или снова бралась за иглу, или, вытащив из кармана засаленную колоду игральных карт, тихо раскладывала под столом у себя на коленях гадальную фигуру, озираясь при этом постоянно назад, к дверям, через которые эти комнаты сообщались с другими покоями.

Но пестрый фараон мало-помалу так овладел ее вниманием, что она не заметила, как в возбуждавшей ее осторожность двери показалась высокая сухощавая и слишком без грации прямая женская фигура в чрезвычайно простом платье из серой фланели с лиловыми мушками.

На вид этой женщине можно было дать лет под пятьдесят, лицо ее, вероятно, некогда весьма красивое, было очень благородно, но несколько сухо, хотя сухость эта, очевидно, происходила не от недостатка серд-

ца, но от большой привычки сдерживать себя и, может быть, даже управлять другими. Тип у нее был иностранный, чисто английский, а оригинальная прическа, состоявшая из полуседых локонов и гладкого натянутого гребнем взлыза на лбу, давала ей сходство с англичанками времен Елизаветы.

Появясь на пороге со свечою в одной руке и большим портфелем из темной тафты в другой, она одним взглядом обнаружила таинственное занятие ключницы и, наморщив строгие брови, переложила портфель под мышку и, взяв гадальщицу за руку, тихо проговорила:

— Александра Андреевна: вы опять гадали!

— Простите, Сарра Игнатьевна, — отвечала, покраснев, испуганная этой неожиданностью женщина, и карты полетели с ее колен на ковер, покрывавший комнату.

— Я много раз просила вас понять, что вы не меня этим оскорбляете, и я прощать вас не могу: возьмите их! — докончила она, указывая ей повелительно пальцем на рассыпанные карты.

Вальяжная Александра Андреевна присела и, подбирая карты, в свое извинение проговорила:

— Я всего один разочек, матушка, и разложила.

— Да, — уронила англичанка.

— И хорошо так вышло: она здорова будет.

— Конечно... Этот добрый ваш приятель...

— Ах, что это, сударыня! какой приятель...

— Приятель ваш, к которому вы обращаетесь за тайными ответами в гаданьях...

— Помилуй Бог!

И Александра Андреевна вздрогнула и заплакала.

— Он никому и никогда доброго совета не дал. Подайте ваши карты и прочитайте «Отче наш».

С этим она взяла из ее рук карты и бросила их в печку, тихо закрыла заслонку и так же тихо удалилась в ту дальнюю комнату, где чуть зримо светила ночная лампа и чуть слышалось слабое дыхание какого-то несомненно весьма слабого и трудно больного существа.

С уходом мисс Сарры Александра Андреевна тотчас же стала перед освещенным лампадою образом, прочитала «Отче наш», положила набожно земной поклон, затем, прислушавшись к тому, что происходит в соседней комнате, она подползла на коленях к печке и, забрав оттуда торопливою рукою карты, поспешно сунула их в карман.

Но едва ей удалось спасти это сокровище и отряхнуть приставшую к рукам золу, как англичанка снова появилась на пороге и, подавая Алек-

сандре Андреевне два конверта, сказала, чтобы она сейчас же разбудила конторщика и своего брата и велела им сию же секунду послать на тройках в город и в Княжое.

Из города должен приехать доктор, за которым уже снаряжалась третья посылка, а из Княжого — брат Сарры Яковлевны, Александр Яковлевич Фрич, управлявший огромными поместьями княгини Д. и состоявший в ближайших дружеских и родственных связях с домом, куда его требовали в такую необыкновенную пору и при погоде, делавшей всякое ночное путешествие почти совершенно невозможным.

Александра Алексеевна сообразила все это и, прижав к груди конверты, решилась произнесть:

— Ах, матушка, не попусту бы... право: оне здоровы будут.

Но старая мисс остановила ее замечанием, что ее «приятель», дающий ей эти надежды, есть исконный лжец и велела, чтобы распоряжение было сию минуту исполнено.

— Да, постойте, — сказала она и, взяв конверт, адресованный доктору, приписала сверху: «последнее измерение в 1 час 35 минут: пульс, температура».

II

Услав Александру Алексеевну и заместив ее дежурный пост другою женщиною, которой было поручено наблюдать малейшее движение в комнате больной, англичанка не возвратилась туда: с тою же решительною, но легкою походкой и с тою же свечою в руках прошла через три небольшие темные комнаты и, свернув здесь у маленькой колоннады вправо, стала подниматься на довольно неуклюжую широкую деревянную лестницу, устроенную спирально вокруг толстой деревянной колонны.

Лестница эта вверху оканчивалась просторною террасою, образовавшею собою комнату, которая была почти пуста: в ней только у самых перил лестницы стоял маленький старый диван и с середины потолка висела небольшая лампа, светильня которой была спущена донельзя и едва теплилась, давая самый слабый свет и довольно сильный запах раскаленной меди.

Англичанка остановилась, прибавила огня и внимательно взглянула на все три двери, которые были в каждой из стен, окаймлявших террасу: все они были затворены, но в узкий паз одной из них, выходившей налево, светился огонь.

Мисс Сарра отворила эту дверь и слегка постучала.

Молодой звучный подходивший к контральто голос отвечал ей по-английски:

— Это вы, добрая Сарра, войдите!

И когда Сарра открыла дверь, ее на половине очень просто, но удобно мебелированной комнаты встретила очень молодая девушка. На вид ей было не более семнадцати лет, и высокой весьма милой ее девственной фигуре еще не доставало полной сформированности: она была костлява и выигрывала в линиях тела только от мягких складок покрывавшего ее шерстяного бледно-розового капота. Типически русское личико девушки могло бы назваться красивым, если бы в нем не светилось что-то иное, отвлекавшее от созерцания и оценки ее внешности. Это была превосходная, трогающая и чарующая смесь выражения детской наивности, сердечной чистоты и простой ясности ума, раскрытого каким-то дивным вдохновеньям.

— Что с мамою, — проговорила она, зорко взглянув на англичанку.

— Почти все то же, — отвечала мисс Сарра и, задув свою свечку, села в кресло у письменного стола, на котором лежала перед лампою большая книга и недописанная тетрадь.

— И вы, и мама запретили мне сегодня вечером приходить к ней, и я не приходила.

— Вы всегда умны, милая Praskovie,[1] и вы будете награждены за это.

Она нагнула к себе голову девушки и, поцеловав ее в лоб, добавила:

— Я знаю, что для вас это было большое лишение не видать весь вечер вашу больную мать, но вы это выдержали.

— Я знала, что это нужно.

— Вы отгадали: это было нужно, мое дитя.

— Нет; я это не отгадала, а я знала это.

— Знали?

— Да, знала, потому что я знаю вас и верю, что вы не потребовали бы от меня жертвы, которая не была необходима.

— «Знаю и верю», — проговорила за нею англичанка и снова повторила: «Я знаю потому, что верю, и верю потому, что знаю», — вы, мой друг, — говорите прекрасные истины: никто ничего не может знать, если он не будет верить знающему. Это объясняет нам всю силу Откровения, показывающего нам связь нашу с Тем, Кого мы можем знать только тогда, если будем Ему верить. Я была уверена, что вы не спите и пришла навестить вас и взглянуть, что вы в этот поздний час делаете.

---

[1] Прасковья

И англичанка, нагнувшись, взглянула в недописанную тетрадь, пробежала страницу глазами и потом повторила ее вслух.

«Пришли годы, в которых нет мне больше удовольствия: они подвигают новые тучи вслед за дождем, обратившим в слякоть последние пути мои. И вот близок день, когда вздрогнут стерегущие дом, согнутся мужи силы и помрачится лицо, глядящее в окно, и затворится дверь на улицу; замолкнет звук жернова и не встанет встававшая по крику петуха. Всякой вещи свое время под солнцем; зацвел миндаль, отяжелел кузнечик, рассыпались каперсы: на высотах стоит страх, в долинах стелятся ужасы; отходит человек в вечность. Цепь порвалась, кувшин разбился; прах возвращается в землю, а дух к Богу, Который дал его».

— Аминь, — заключила Сарра и, положив руки на тетрадь, она подняла глаза вверх и, прочтя короткую мелодическую молитву, благоговейно поцеловала разогнутые листы Библии, из которой были сделаны рукою девушки выше приведенные выписки.

Я не сумела бы присоветовать вам размышлений лучше тех, какие взяли вы, Praskovie, из этой святой книги. Благословен будь Тот, кто дал мне научить вас обращаться к ней за советами в дни радости и скорби, и верьте, в совете с нею вы никогда не сделаетесь куклой <u>этого злодея</u>, которого я не хочу называть. Но говорившей не было нужды называть <u>его</u>, потому что та, которой это было сказано, хорошо знала, что «<u>этот злодей</u>» есть тот, кого мисс Сарра час тому назад называла ключнице ее коварным «приятелем» и «лжецом».

— О, Вышний! Запрети <u>ему</u> развеять нас, как пшеницу, — окончила англичанка и, обротясь к своей воспитаннице, спросила ее: чувствует ли она себя достаточно спокойною?

Девушка взглянула на нее, как бы желая прочесть, к чему клонит этот вопрос, и тихо отвечала:

— Да.

— Соберите в себя весь ум, который дан вам и пойдемте.

— К маман?

— Да... вы поняли: час испытаний настал, «уже зацвел миндаль, отяжелел кузнечик и рассыпаются каперсы»: ваша мать идет в вечность.

Девушка тихо простонала, закрыла левою рукою глаза и, покачнувшись, взялась другою за спинку кресла.

— Пусть Бог пошлет вам силы.

— Я сильна, — ответила девушка и, быстро подойдя к мраморному рукомойнику, обтерла покрасневшее лицо мокрым полотенцем, сказала:

— Распоряжайтесь мной, мисс Сарра: позвольте только мне пойти и приготовить немножечко сестру.

— Это совсем не нужно.

— Но она спит и, когда ее вдруг потревожат спросонья... Это ее ужасно встревожит.

— Не бойтесь, этого не случится: подломленное колесо не рушится до завтра, я час тому назад еще раз измеряла температуру.

— Она все выше?

— Да, еще осьмая градуса и жизнь сгорит, но до нового лихорадочного припадка повышения не будет, а пароксизм придет только утром. Теперь же мать ваша в чувствах и хочет с вами говорить.

— Я готова.

— Нет, еще одну минуту: вы должны быть готовы услыхать необыкновенные вещи и даже не предсмертное прощание. Ваша мать чувствует приближение конца и... не боится его: она ему рада.

— О, бедная, бедная мать.

— Да, она много страдала: злодей играл ею и много над ней издевался, но Замедлявший пришел, и сердце ее в Его руке: извергу не удастся быть на нее свидетельницей: она сама засвидетельствует о себе. Вы, мое дитя, должны принять в свое сердце тайные скорби вашей матери и...

— Что сделать?.. ради Бога.

— Дать мир ее мятущейся душе.

— Ценою собственной готова.

— Готова? — англичанка протянула ей руку.

— О, могли ли вы в этом сомневаться, мисс Сарра. Лучше научите меня, что́ я могу ей сказать, чтоб облегчить ее страдающую душу?

Англичанка подняла вверх указательный палец и, глядя в упор в умные глаза девушки, отвечала:

— В твоей воле должно быть решенье; а Он сам внушит тебе, что говорить и делать, когда пред тобою откроется вся тайна. Идем.

И она опять зажгла свою свечу и, держа девушку за руку, стала с нею спускаться с лестницы.

В это же самое время два человека, опоясанные концами одной довольно длинной веревки, шли шагах в двадцати друг от друга, среди непроглядной метели. В руках у них были фонари и длинные шесты, которыми они старались, сколько то было возможно, ощупывать дорогу. Буря валила их с ног, фонари их не светили на один шаг вперед, и оба эти человека, остановясь в бессилии, перевели дух.

— Что же? — вскричал один, — пойдем назад: если черт взял деревню, пусть он берет и госпожу — я не пойду дальше.

— И назад нет дороги: мы сбились и замерзнем, если чья-нибудь молитва не выручит.

— Да, жди теперь молитвы! — и с этим говоривший с проклятьями рухнул в сугроб и потянул другого: фонари их разбились и пропали вместе с ними самими в море снега.

— Господи! спаси теперь бедных путников, — проговорила мисс Сарра, проходя мимо лестничного окна, когда ветер сквозь внезапно открывшуюся форточку задул и их свечу и самих их обдал снежной пылью.

III

Полутемная комната, перед которою сидела дежурившая у больной женщина, была спальня самой Анастасии Николаевны Брасовой, состояние здоровья которой причиняло столько беспокойства всему дому. Это была просторная, даже очень большая, но причудливая комната: она находилась в новой, относительно недавней пристройке старого дома и относилась к его главному корпусу глаголем. У нее были наружные стены и в каждой из этих стен по три окна, так что на какой бы точке своего течения ни находилось солнце, лучам его сюда был всегда свободный доступ.

Преизбыток света и вся эта масса окон, не оставлявших ни одной стены, к которой можно было бы придвинуть кровать, по-видимому, не смущали ту, больная душа которой придумала себе этот покой и устроила его сообразно если не своему вкусу, то своей фантазии или, еще вернее, ноющим требованиям своего тревожного духа.

Вкус тут, вероятно, был ни при чем или даже он не совсем и одобрял это убежище больной и боролся с невозможностью помирить самые непримиримые сочетания. Чего тут ни было собрано и размещено с очевидным желанием, но без успеха сделать из этого покоя что-то укромное, приятное и отвечающее на вкус и требования общежития. Две стены и один угол комнаты были заняты широким турецким диваном без спинки, которую заменяли мягкие подушки, обитые одинаково с диваном турецкою букетною материею. Над этим диваном висел в довольно скромной красной рамке с бронзовыми углами портрет, плотно закутанный зеленым коленкором и едва ли когда-нибудь открываемый. Под портретом местилась маленькая совершенно черная рамочка, в которой за стеклом был виден надгробный памятник, крест и над ними развесистая плакучая береза — все это было сделало из темнорусых человеческих волос и, очевидно, служило напоминанием о ком-то умершем.

Из-за угольной подушки торчал конец охотничьего ружья в старом фризовом чехле. Ружье было поставлено так, чтобы его и нельзя и можно было видеть. Другой угол комнаты и прилегающая к нему стена были обставлены настоящею дамскою будуарною мебелью, сделанною в раковины и обитою новым ситцем. Тут же в одном из простенков стояло трюмо; в другом — высокая мужская кабинетная конторка красного дерева с бронзой и перед нею высокий табурет самой простой домашней работы, с привязанною к нему сверху ремнем сидельною подушкою из давно порыжевшей и лоснящейся кожи.

Несмотря на то, что турецкий диван и эта конторка всего менее шли к дамской спальне, они были едва ли не самою необходимою мебелью для их хозяйки. Необыкновенно много читая, она всегда читала только лежа на этом неуклюжем диване и писала только за этой конторкою. По крайней мере, так было с тех пор, как в один поздний зимний месяц быстро и торопливо возникла эта наскоро пристроенная к дому комната и в нее привезли откуда-то эти вещи; а это случилось, когда нынешняя девица Прасковья Дмитриевна Брасова была еще пятилетнею девочкой. Она это едва помнила и то, вероятно, потому что ей в детстве воспрещалось вспоминать об этом и разговаривать.

Так как в этой, в больших торопях осенью пристроенной, комнате дуло полами и этому горю зимою не могли пособить ни войлок, ни клеенка, ни большой во всю комнату ковер, то по совету брата мисс Сарры, Александра Яковлевича Фрича посредине комнаты, на том месте, где стояла под пологом кровать, было сделано из досок возвышение. Оно, кажется, едва ли принесло какую-нибудь пользу, но зато очень основательно обезобразило комнату, придав поставленной на это возвышение кровати под пологом вид усыпального одра.

Теперь болящая Брасова сама находила это возвышение «ужасным», равно как и пестрый сброд наполнявшей ее приют мебели, но все это оставалось по-старому: полы на другой год осели и ими больше не дуло, а хозяйка не хотела оставить своего приюта для каких бы то ни было переделок. Так здесь все это и оставалось со множеством других неизвестно почему попавших сюда предметов, вроде большого шкафа с французскими книгами, за которым в скрытом угле висело большое черное распятие без фигуры, но с засохшим венком иммортелей. Конечно, весь этот «сбор дружины» попал сюда не по недостатку вкуса или по недостатку места, где бы его удобнее было можно разместить. Дом был очень просторен, а хозяйка его для многих была в свое время образцом изящества и вкуса; но настал в ее жизни когда-то темный день, который перевернул вокруг нее все кверху дном, и с тех пор она была неуз-

наваема и так и осталась для всех в известном роде загадкою. Давно посещаема изредка и притом весьма немногими, она вдруг перестала принимать всех, не исключая человека, которого все в доме считали своим другом, а дети любили и мисс Сарра любила его как родного. Этот человек был довольно богатый сосед их по имению Пимен Николаич Игин: он когда-то был в старом брасовском доме ежедневным гостем и даже имел здесь в одном из флигелей особо назначенные для его ночлегов покои, и потом вдруг исчез в эпоху всеобщего исчезновения всех посторонних людей с брасовского горизонта.

С тех пор Настасия Алексеевна оставалась только в обществе двух своих маленьких дочерей Прасковьи и Зои, их воспитательницы мисс Сарры и учителя, довольно пожилого уже университетского кандидата Адама Львовича Безбедовича. Оба эти лица были близки к дому, особенно мисс Сарра, которая была другом Брасовой, прежде чем у нее родились дети, которых эта методистка взяла на свои руки с детства и воспитала их до того возраста, в котором их застает наше повествование: Прасковье шел восемнадцатый год, а Зое, которой мы еще не видали, кончался шестнадцатый. Кроме этих двух дочерей у Настасьи Алексеевны были два сына: Аркадий и Валерий, но они не воспитывались дома с детства и теперь здесь не жили. В данную минуту оба они находились далеко: младший Валерий в Петербурге, где он служил офицером в одном из блестящих гвардейских полков, а старший Аркадий... еще дальше, потому что пребывание его в течение целого года оставалось не известным никому. Он где-то пропал... По крайней мере так полагали, потому что говорить об этом никто не смел. Это была история, или, лучше сказать, одна из многих историй этого тяжелорочного семейства, историй, из коих некоторые теперь готовы вскрыться, а некоторые еще более запутаться.

В дом к Анастасии Алексеевне кроме уездного лекаря и станового езжал только брат Сарры, отставной кирасирский поручик Александр Яковлевич Фрич, женатый на двоюродной сестре Брасовой и управлявший неподалеку обширными имениями графа П., слывшего тогда «справедливым и великолепным вельможею».

У Анастасии Алексеевны было много близких именитых родственников с ее собственной и мужниной стороны, — один брат ее мужа успел прослыть в новое царское царствование человеком замечательнейших административных способностей и, заняв первое место во главе весьма важного учреждения, пользовался всеобщею в государстве известностью, а родной ее брат, по фамилии Бобин, приобретал большое литературное значение, с которым ревниво, но несмело начинали счи-

таться властные люди, и в числе сих последних особенно Брасов, который сам помогал вначале литературной карьере Бобина и сам же первый начал ей завидовать и помышлять о том, чтобы остричь ему длинно выросшие ногти. И родной брат, и шурин Анастасии Алексеевны были женаты и имели: первый довольно большое, а последний менее значительное имение неподалеку от села Брасова, и сами они, и их семьи нередко гощивали летом в своих имениях; но Анастасии Алексеевны никогда не навещали. Так шли дела с тех пор, как умер муж Анастасии Алексеевны, Дмитрий Николаевич Брасов, в определении времени смерти которого существовала какая-то загадочная сбивчивость и неточность, разъяснять которые в доме было не принято до самого того случая, когда мы вместе с Саррою и молодою Брасовою вступаем в полутемный покой, где мать последней томится в последней борьбе с прошедшими терзаниями жизни и с страхом приближающейся к ней смерти.

IV

Покой был тот самый, как мы его старались представить. Дисгармоническое убранство его, заметное новому человеку, конечно, не оставляло на себе внимание глаз давно к нему привыкших. Притом же окраины этой просторной комнаты, едва освещенной небольшою, стоявшею у кровати лампочкою, тонули в густом полумраке. Тяжелые темные суконные шторы, закрывавшие окна, еще более скрадывали свет в своих спокойных мягких складках, по которым, казалось, тихо спускались с темного потолка на пол таинственные гномы и затем быстро катились к светлому пятну, в котором обозначалась на смятой подушке откинутая назад голова больной.

Это освещенное место с этим худым слабым и нервным лицом было тем, что в живописи называют художественным пятном картины: здесь группировалась вся суть, здесь, перед этим скорбным образом все эти ползучие тени формировались в определенно очерченные фигуры и воскрешали в памяти больной разнохарактерные воспоминания.

Их слет и подходы, равно как вид их и возбуждаемые ими впечатления, очевидно, были неприятны больной, но положение ее духа, как ситуация занимаемого ею места в ее собственном покое, было таково, что ей, очевидно, некуда было укрыться от них, и она лежала, закинув назад голову, по небольшому прорезанному характерною морщиною лбу которой выступал каплями холодный пот, собиравшийся каплями у нежного, оттененного синеватыми жилками виска.

На больной был ночной немного спавший назад чепец, широкие лопасти которого сбивались к подбородку и как бы поддерживали его, точно она была уже трупом, а не живая и так недавно еще замечательно красивая женщина. Покрывавшее ее мягкое, голубое марселевое одеяло было немного сбито к ногам и открывало белую кофту, под которою видны слабые плечи и впалая, несомненно много настрадавшаяся грудь, в которой теперь едва переводилось скорое, но едва заметное дыхание. Руки ее с застегнутыми у кистей обшивками рукавов лежали вытянутыми вдоль стана: они были точно не нужны ей ни для чего, даже для защиты от роя осаждавших ее тяжелых призраков и воспоминаний.

Но вот Сарра, шедшая теперь впереди Прасковьи Дмитриевны, приблизясь к порогу комнаты, тихо кашлянула, и больная тотчас же встрепенулась: она, очевидно, поняла этот знак. Взглянув полуоборотом в сторону входивших, она нервически вздрогнула и как бы от чего-то сверкнувшего перед ее глазами невыносимо ярким блеском закрыла глаза исхудалою бледною рукою. Довольно широкие кружева обшивки при этом движении разослались по ее лицу и, покрыв почти все ее лицо, тихо колебались на устах, которые два раза повторили одно имя.

— Паша! не здесь, Паша!

Это было сказано так тихо, что молодая девушка их не расслышала и продолжала оставаться на коленях у материнской кровати.

— Встань, Паша! — повторила громче с очевидным усилием больная, — встань и сядь в кресло.

Девушка встала и, поцеловав лежавшую в покое руку матери, хотела опуститься в глубокое ковровое кресло, помещавшееся в ногах с той стороны кровати, где она стояла, но слабая рука двукратно тихо пожала ее руку, и не менее слабый голос прошептал ей:

— Нет... приди сюда... Сядь с этой стороны.

На той стороне также стояло кресло, но приглашение пересесть на него, по-видимому, заключало в себе нечто необыкновенное, как бы удивившее молодую девушку и не сразу ею понятое.

Это кресло относилось также к одной из «фантазий» Анастасии Алексеевны: оно было взято сюда из ее желтой гостиной, которую она некогда весьма любила и в которую потом вот уже много лет кряду не вступала ногою. Зачем и по каким побуждениям было перенесено сюда из всей мебелировки желтой гостиной одно это огромное, обитое желтым штофом кресло, — это было неизвестно никому, кроме самой Анастасии Алексеевны, которая сама перекатила его сюда ночью и, поставив его сбоку своей кровати, не любила, чтобы на него обращали какое-нибудь внимание. Домашними замечено было также, что она резко

отклоняла предложение переменить на этом кресле полинявшую и не идущую к цвету прочей мебели материю и не любила, чтобы на него кто-нибудь садился. Если же сначала ее чудачеств кто-нибудь обнаруживал такое покушение, то она быстро подвигала гостю стул или табурет и пересаживала его.

Вот почему дочь ее теперь как бы не сразу поняла материно приглашение и, поняв, тоже не сразу его исполнила.

— Сядь там... с той стороны... в это кресло, — повторила больная.

Девушка обошла кровать и, постояв секунду, нерешительно села.

Больная вздрогнула и, по-прежнему не открывая лица, прошептала:

— Да, тут.

Они помещались теперь таким образом, что стоявшая справа лампа освещала гораздо более лицо дочери, оставляя голову матери в полутени за полуоборотом, который она приняла при вступлении девушки и ее старой гувернантки.

Настала минута короткого, но мучительного молчания, в продолжение которого больная боролась с, очевидно, трудно одолеваемым усилием и наконец, как могла, громко сказала:

— Сарра.

— Я здесь.

— Не правда ли, ты здесь?

— Я здесь, я здесь.

— Но где же ты?

При этих словах матери девушка сделала движение, чтобы взглянуть на Сарру, и увидала, что та с поникшею головою и схваченными внизу руками стояла в темном угле перед черным распятием.

Дверь в комнату к девушке была затворена и тяжелые портьеры были спущены.

— Мы одни, Сарра?

— С нами нет никого, для которого было бы лишнее видеть наши сердца.

— Это хорошо Сарра... и если бы ты могла...

— Я уже могу.

— Нет, прочесть мне... хотя бы одну страницу из Джона Буниана.

— Не время для этого.

— Настойчивость, — прошептала больная, — у меня ее никогда не было... Никогда!.. Нет, хуже: ее не было, когда она была нужна... для всех, и она была... когда все было поздно, когда было бы лучше, если бы ее совсем не было. Ты молишься теперь за меня, Сарра?

— Все, что ты чувствуешь, я чувствую в моей душе.

— Благодарю: ты видишь, я послушна. Дочь моя!

— Maman!

— Я умираю.

Девушка заплакала.

— Не плачь, — тихо остановила ее мать, — я верю... ты меня любила... и тебе будет жаль меня, а между тем... я... я тоже люблю вас, но мне не жаль жизни. Поверь, не жаль: я даже рада... Конец, конец всему.

— И начало, — молвила со своего места Сарра.

— Да... быть может... Сарра говорит, — продолжала она, очевидно, относя свои слова исключительно к дочери, — она уверена, что будет жизнь, что она даже не кончится; что это... как солнце, садясь с одной стороны горизонта, осветит уже другое полушарие... Быть может... все быть может, но я не знаю: я не желала бы этого...

— Это не то, что ты должна сказать, — проговорила настойчиво англичанка.

— Да, какая бы ни была, это жизнь, но я... я не умею жить: жить для меня значит ошибаться, ошибаться и страдать; поправлять ошибки и делать еще худшие. Я устала: я прошу у Бога отдыха, покоя, и... если при этом можно будет видеть вас и других... Нет, одних вас, которые будут страдать здесь за мои грехи. Это так написано, и Сарра уверяет, что это так будет: если я не буду свидетельствовать о себе здесь, то там явится клеветник и наговорит на меня больше, а я не буду в силах отвечать ему. Все это касается того, что я хочу тебе сказать и для чего это нужно: я хочу помириться с собою.

Девушка, несколько раз порывавшаяся перебить мать во время ее разговора, при последнем ее слове не выдержала и, встав с места, сказала, что она не может и не должна слушать матушкиных признаний.

— Нет; ты должна, — отвечала больная, — ты должна это для меня, для моего спокойствия.

— Вы святы для меня, maman, и всегда свято и чисто будет мне воспоминание о вас.

— «Свято и чисто»... Все, что свято и чисто, то не во мне, и не со мною: я грешница, большая грешница, и что я имею силу сказать тебе это, и этому я даже обязана не себе, а ей, Сарре, которая нашла и указала мне этот путь для моего примирения. Ты хорошая девушка, Паша?

— Maman, я стараюсь быть вас достойною.

Больная быстро приподнялась с изголовья и, положив руку на уста дочери, нетерпеливо ее остановила.

— Не меня; не меня! Ты не знаешь, как мне это мучительно слышать! Ты просто хорошая девушка, и я тебе, и я тебе ничем не помога-

ла быть такою: меня воспитывала и вела чужая женщина и тебя тоже; ты моя дочь по крови, душа твоя рождена Саррою... Но и это не то: Сарра же воспитывала и твою сестру, и твоих братьев, но и Зоя не такова, как ты, и ты не такова... Я не знаю, отчего это делается. Ты любишь твое отечество: эту деревню... всякую деревню... я их никогда не любила... Да, я иногда скучала о них: они мне были почему-то порою нужны; но я их не любила и... и теперь не люблю и не вижу, за что их любить. У меня не было на это способности... у тебя есть; ты что-то любишь в этих простых людях... мужиках, их детях... мне это нравилось... всегда нравилось в тебе и в твоем брате... в Аркадии, но сама я не могла: мне их жаль, но я их не люблю, и они это знают, и они не любят меня. Это справедливо: я не люблю России, потому что она жестокая; очень жестокая... Говорят, будто она добра, но я этому не верю; да, не верю. Она меня пугала с тех пор, как я учила ее историю: все скучное и одно и то же: плахи, рабство, страдание... Я не понимала, за что ее кто-нибудь может любить, и теперь этого не понимаю, да и не нужно. Я все прошедшее, все ее настоящее поняла по себе, из того, что я могла и чего не могла... что вынесла... отчего так рада, что наконец это кончено! Я умираю. Я вышла замуж такая, как ты теперь, даже моложе тебя днями... в восемнадцать лет я была уже матерью: у меня родился брат твой Аркадий... потом другой... тот Валериан...

Больная вздохнула, перевела дух и добавила:

— А после ты... не скоро, да, не скоро, когда я узнала уже высшее несчастие, когда я была брошена и потом найдена и опять осталась одинокою... Ты дитя моего большого страдания и с твоим рождением пошли наши общие беды. Я никогда тебя не спрашивала: ты нимало не помнишь своего отца.

— Нимало, maman, — отвечала шепотом девушка.

— Он был хорош собой: ты и Аркадий имеете с ним сходство... Валерий больше Бобин, — он в моего отца...

— А Зоя?

— Зоя?.. Что ты спрашиваешь «Зоя»? Смотри в глаза мне: Зоя... похожа на своего отца!

Больная наклонила к себе лицо дочери и, держа ее голову в своих руках, пристально посмотрела ей в один глаз, потом в другой и, освободив ее, проговорила:

— Слава Богу: я сказала тебе то, чего не могла выговорить пятнадцать лет и мне теперь легче.

Она обняла снова голову дочери и, поцеловав ее в лоб, моментально произнесла:

— Прости меня, Паша!

— О, в чем, maman?

— Во всем: ведь это не все... И люби ее.

— Maman, maman, она сестра мне.

— Да... и я знала, что ты так скажешь и будешь любить ее, но...

— Мы все ее любим и будем любить.

— Все!

Больная горько улыбнулась.

— Нет; не все, Паша.

— Но кто же...

— Молчи, молчи: я не хочу называть... я не могу назвать его и ты не говори ему этого, что он убийца... Да, пусть это так и будет. Тебе я все... я все теперь открою. У меня было железное здоровье, о какое железное: я все переносила, мой скорбный дух не мог его убить, а он... убил...

— Аркадий? — спросила девушка, с болезненною истомою глядя в лицо матери.

Но та тяжело вздохнула и отвечала:

— Нет.

Лицо девушки если не просияло, то просветлело: меж тем больная торопливо вынула из-за кофты вчетверо сложенный лист бумаги и, торопливо сунув его в руки дочери, проговорила:

— Читай!

Девушка дрожащими руками развернула лист странной для нее казенной формы и еще более странного содержания: только увидав внизу текста подписанную знакомую фамилию местного губернатора, она могла сообразить, что это деловая бумага, и тогда, начав с усилием вникать в ее смысл, уразумела, что от матери ее требуются какие-то обстоятельные отчеты и возвращенье сумм, составлявших собственность ее братьев, из которых один, именно Валериан, просит вытребовать их как «крайне ему необходимые для поддержания себя с достоинством в полку, в котором он находился на службе».

Паша, по правде сказать, не все в этом понимала: она чувствовала, что тут



* * *

I

Полная луна, высоко стоя на безоблачном летнем небе, освещала большой губернский город N: в домах везде еще горели огни и по большим улицам спешною походкою шли люди разного пола, чина и звания. Движение шло, по-видимому, к большому историческому саду, где гремел довольно плохой оркестр, под звуки которого обычно веселится местное население. Боковые улицы были гораздо пустыннее и темнее, и из одной такой улицы, обставленной довольно хорошими деревянными домами, выехала на паре рослых лошадей четвероместная коляска, в которой сидел пожилой мужчина в широкополой серой шляпе и женщина в маленькой круглой черной бархатной шапочке с небольшим голубым крылом.

Коляска взяла из темной улицы за угол и намеревалась перерезать людную улицу, по которой шло движение к саду, но вдруг неожиданно остановилась.

Это, очевидно, было совсем некстати и весьма встревожило сидевших в коляске пожилого человека и женщину, которая первая сделала нетерпеливое движение и произнесла:

— Ах, дядя!..

— Что ты, что ты, чего закипятилась, — отвечал мужчина, выдавая беспокойною интонациею своего голоса свое собственное беспокойство, с которым привскочил с места и, обратясь к кучеру, спросил: что случилось?

— Распряглось опять, — отвечал флегматически кучер и, замотав на козлах вожжи, стал спускаться к лошадям.

Тот, кого молодая девушка называла «дядею», несмотря на свои почтенные годы, был проворнее своего кучера и прежде его очутился у дышла, которое, расцепясь от хомутов, висело между лошадями.

— Я говорил, что не годятся эти ваши пряжки, — проговорил кучер.

— Молчи, братец, молчи, — тихо отвечал хозяин и, озираясь по сторонам, проворно вынул из кармана складной нож с шилом и начал что-то ладить в висевших ремнях; и в то же время, обротясь к оставленной им в коляске племяннице, сказал ей по-французски:

— Не сердись, Пашет, не сердись, у нас время еще есть: всего четверть десятого, а поезд приходит ровно в десять.

— Да, но мы ведь с вашими новыми приспособлениями, дядя, еще несколько раз будем останавливаться, и я его не встречу.

— Встретим, встретим, мое дитя, — не беспокойся, встретим... вот я все сейчас в одну минуту улажу и через четверть часа мы будем в вокзале...

— Все это русский народ, — добавил он, обратясь по-русски к кучеру. — Экой славный народ, экой умный народ... Что ты тут напутал? А, что напутал?

— Ничего не напутал: сами видите, не держит.

— Молчи, молчи, — проговорил, ущипнув его за рукав, дядя и шепотом добавил ему на ухо: «Дай веревочки, Христа ради, дай веревочки».

— Где ее взять: разве домой сбегать.

— Куда домой сбегать: когда ты сбегаешь? — И на лице говорившего выразилась мучительная тоска: он продолжал вертеть шилом в одном месте, в другом, колол руки, обливался потом и наконец, сбросив на землю шляпу, обернулся в отчаянии к тротуару, на котором остановилось несколько зевак и крикнул на них:

— Ну чего стали! а? что интересного не видали.

— Взаправду, чего интересного не видали: как у Александра Яковлевича Фрича лошади распрягаются, что ли? Эка невидаль, — отозвался на этот крик веселый здоровый голос, и с тротуара к распряженному экипажу быстро подошла небольшая коренастая фигура в белом парусиновом саке и низенькой соломенной шляпе.

— Ах, Мадам Львович! — иди сюда, — позвал подошедшего Фрич.

— На, на, на, голубушка, — отвечал тот, — знаю, что тебе нужно.

— Веревку.

— Да; и всегда пучок имею при себе для твоего спасения.

С этим он подал Фричу действительно оказавшийся у него в кармане пучок сахарных бечевок и, получив от него вместо благодарности шутливый толчок в спину, подошел к коляске.

— Это вы, Адам Львович? — позвала его племянница Фрича. — Ах, как кстати: возьмите, пожалуйста, меня с собою и пойдемте хоть пешком на железную дорогу. — Вы знаете: мы всего час тому назад получили депешу, что сегодня будет брат Аркадий.

— Кто?.. брат Аркадий! Аркадий Дмитрич? Как, откуда и зачем так неожиданно?.. По-прежнему: сюрпризы любит.

— Ах, оставьте его с его сюрпризами и со всем, что он любил прежде: что было то прошло, и он за это наказан и страдал: да он наконец, по моему мнению, ничего особенно дурного и не сделал...

— Так сделает.

Девушка взглянула в лицо собеседника и покраснела, но сейчас же сдержала порывы и, погрозив пальцем, произнесла улыбнувшись:

— Мадам Львович!

— Что «Мадам Львович», — разве есть кто-нибудь, кто живет и не делает дурного? Что же ваш брат: почему он должен быть исключением?

— Знаю.

— Не потому ли, что вы его так любите, а? Полюбите, пожалуйста, и меня немножко в таком случае: авось и я исправляться стану?

— А вам от чего исправляться? Вы, Мадам Львович, превосходны и сами себе во всем госпожа.

— Да; но, впрочем, теперь не обо мне дело; а если спешить, так спешить: ваш дядя ведь не справится и...

Адам Львович не кончил, потому что Фрич толкнул его в бок и, проворно садясь в коляску, проговорил:

— А вот же и справился, а ты не интригуй и на меня племяннице не нашептывай; а садись да поедем.

— Зачем же я поеду?

— Да ну полно ломаться: садись, — встретим вместе Аркашу, — он бедный рад будет.

— Да то-то: рад ли будет?

— Адам Львович, садитесь, — молвила девушка, — прибирая с передней лавочки лежавший там плед.

— Ну, быть по-вашему: Прасковья Дмитриевна приказывает...

— Место лишнее есть, и я еду, — договорила за него Прасковья Дмитриевна, — видите, как я вас знаю.

— Да, вы меня знаете, — отвечал, садясь, Адам Львович, и когда коляска, переехав улицу, покатила по обросшему деревьями шоссе, он притворно вздохнул и добавил: а мудрено ли и знать бедную Мадам Львович: вся она на виду, злющая баба.

— Ого!

— Ей, право, так.

— Вы вовсе не злы.

— Ей, право, зол; ей зол, — я только воли себе не даю. Ну а мы как? — добавил он, обратясь к девушке, — «вся бледна, холодна, замираю, дрожу», что ли?

— Дрожит, — отвечал за племянницу Фрич.

— Отчего же это?

— От благодарности вам в эту минуту, — живо ответила девушка.

— Что же ты не видишь, что ли, что она подает тебе руки? — вмешался Фрич.

— А руку: простите, значит, поцеловать можно.

— Можете, — отвечала девушка, и в то время, когда он нагнулся к ее руке, она сама пригнулась и поцеловала его в голову.

Адам Львович сжал ее руки и проговорил:

— Я рад, что его встречу.

— Спасибо.

— И...

— Да, перестаньте: сами же сказали: все прошлое прошло.

Но в это время впереди опять что-то щелкнуло и коляска снова остановилась в виду открывавшегося в конце аллеи железнодорожного вокзала.

— Баста! — вскричал Адам Львович и, быстро выскочив из экипажа, подал девушке руку.

— Не вставайте: я сейчас морским узлом завяжу.

— Нет, дядя некогда: вокзал близко и мы добежим.

— Ни морским, ни сухопутным узлам мы не верим, — крикнул Адам Львович и, обратясь к спутнице, добавил на ходу: все узлы дело путают. Правда?

— Правда.

— Правда, Прасковья Дмитриевна?

— Правда, Адам Львович.

— Мы свободу любим?

— Что это вам вздумалось меня допрашивáть?

— Ну, вот и допрашивать; я просто разговариваю: вы любите свободу, и я ее люблю, и дядя ваш любит и брат ваш... не тот, который в Петербурге судьбами заправляет, не Валерьян Дмитриевич, а вот этот скиталец Аркадий, тоже жаркий поклонник свободы...

— Да, — уронила тихо девушка, путаясь на скором ходу в юбке своего длинного платья.

— А кто из нас ее надежнее достигнет?

— Кого?

— Свободы.

— Я, право, не знаю, о чем вы говорите.

— Отчего же это?

Девушка не отвечала.

— Вы меня не слушаете?

— Да; я хочу видеть брата!

И она быстро сдернула свою руку с локтя провожатого и, нетерпеливо захватив свою длинную юбку, побежала к вокзалу в виду медленно подходившего поезда.

II

Представленная мною особа была уже не первой молодости для девичьего века: ей шел двадцать восьмой год, она имела хороший рост, прекрасную фигуру и превосходные каштановые волосы, мягко окаймлявшие продолговатый овал ее приятного и даже красивого лица.

Самое замечательное во всей ее внешности были ее большие серые глаза под длинными темными ресницами и горячая бледность страстного лица, на котором уже видны были следы житейской борьбы и замечательной сдержанности. Прекрасная легкая походка и грация всех движений, возвышая прелесть ее милой наружности, могут закончить собою описание ее внешности, производившей всегда и почти на всех впечатление доброе и отрадное.

Это самое можно было видеть и теперь, когда она, поспешая встретить брата, переходила торопливо через наполненную людьми залу бангофа; очень многие ей приветливо кланялись, — все уступали ей дорогу, не исключая даже придверника, который, пропуская ее, не лишил себя низко ей поклониться и сказать:

— Здравствуйте, Прасковья Дмитриевна.

Незнакомые с нею, заинтересовавшись этим общим к ней почтением, получили о ней от своих знакомых следующие краткие сведения.

— Это Брасова... Девушка очень хорошего рода; состояние у них большое имели да потеряли, — один брат у нее в Петербурге частью управляет; другой где-то пропал, а она здесь с теткою, которая за англичанином Фричем пансион держит. Сопровождавшего Брасову коренастого мужчину в коломянковом пальто и соломенной шляпе называли председателем местной контрольной палаты Безбедовичем. При сильном освещении железнодорожного вокзала мы можем видеть, что этот человек, может быть, в самом деле, вполне, или, по крайней мере, отчасти таков, каким он себя желал представить: у него смуглое сухое лицо и строгие карие маленькие глазки, широкий рот с тонкими губами и короткие руки. Он и дурно скроен, и нехорошо сшит и производит впечатление злого человека, если не совсем таков на самом деле.



ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Повесть

«Вы не то делаете, что хотели бы».
Павел (Гал. 5, 17)

I

На левом берегу Оки, вниз по течению, верстах в двух от губернского города, известного своею хлебною торговлею и беспрестанными пожарами, в которых он десятки лет горел как хоривская купина и которые, если верить молве, были специальностью учредившегося там особого цеха поджигателей, раскинулось небольшое село Брасово. В нем всего около двадцати крестьянских дворов, небольшая деревянная церковь и господская усадьба с небольшим домиком, крытым толем и выкрашенным веселою голубовато-серою краскою.

Местность, занятая всем этим поселением, довольно приятна, привольна, но скромна, — это настоящая тихая русская местность серединной полосы государства. Внизу широкое песчаное русло реки, по которому едва струится мелкий ручей, собирающийся из-под шлюзов, которыми воды реки схвачены выше города для спуска хлебных караванов. Без этой плотины, которая получила у жителей название «фальшивой мельницы», Ока здесь была бы несудоходна.

Русло реки наполняется водою только при спусках или когда накопление воды вверху, поднимаясь выше положенных номеров флагштока, начинает обременять плотину. Это случается обыкновенно недели в две раз, — иногда, впрочем, при дождливой погоде немножко чаще, а при больших засухах и жарах еще реже. Тогда это пустое, покрытое мелким сыпучим песком дно широкой, но мелководной реки ничего не прибавляет к красотам незатейливых окрестных картин, а, напротив, дает к всему к ней прилегающему колорит скучный и унылый. Пески, улегшись прямыми грядами под напором спускной воды, по уходе ее начинают сохнуть, выветриваться и «переползать»: гребни гряд белеют, ленивый ветер, как бы нехотя, тихо метет их в рудожелтые межи, где несколько дольше держится влажность, и все это сначала выровняется, как необъятный песчаный ток, а потом при первом усиленном ветре вдруг заходит, образуя пологие холмы и рытвины, на дне которых валяются ракуши и мелкий сор, невесть откуда сюда занесенный. Пустят

сверху воду, пробежит она быстро, как сорвавшийся конь, которого некогда и рассмотреть в его быстрой скачке, и опять снова то же: песок то мокнет, то сохнет, то лежит грядами, то переползает. Немного радости глазу.

Тот, кто заводил здесь брасовский поселок (а это был тот, кого мы сейчас встретим), без сомнения, имел вкус и немало практической сообразительности, что построил свой дом и вытянул крестьянский порядок не по берегу реки, а взял место поодаль, на добрую четверть версты от русла, почти в самом верху покатой плоскости, образовавшей широкий и привольный выгон для скота, который пасся тут на свободе, не грозя ничьим нажитям и огородам. Последние прилегали к ручью, который вливался в реку под прямым углом и образовывал тихую лощину, где и сидела деревня. Изб со стороны реки почти совсем не было видно, так плотно они ютились в ложбине, откуда едва слегка холмились вершины двух-трех соломенных крыш, да ровной каймой меж яркой зеленью молодого кустарника лежала голубая полоса капусты.

Скромный барский дом был поставлен еще расчетливее: он был дальше от ручья и стоял выше на взгорочке, с которого как бы господствовал над местностью и в то же время был прекрасно защищен со всех сторон от осенних и зимних непогод окружавшим его густым парком. Парк этот был самый неприхотливый, попросту сказать, немножко подчищенный лесок, который окопали канавой и пробили в нем две-три дорожки; но в общем это было недурно: скромный парк, в котором ютился брасовский домик, не смешил своею претенциозностью и давал в зимние сиверки затишь, а в знойное лето прохладу обитателям этого скромного уголка.

В конце парка на самом угле его стояла деревянная церковь, — очень маленькая, очень скромная и необыкновенно опрятная. Она была срублена из чистых отборных бревен, покрыта просто в четыре ската с маленькою звонничкою, на которой висели в ряд три колокола, один немного побольше и два подголоска. Казенных желтых, белых и зеленых цветов на ней не было, но, просто выстроенная, она была просто проолифлена и стояла во всей красоте, точно вырезанная из репы игрушечка за стеклянным поставцем. Ее так и звали «игрушечка».

— Ишь брасовский барин какую церковь выставил — точно игрушка, — говорили на проходящих стругах люди и с удовольствием заглядывались и крестились на эту благообразную и благочестивую игрушку. Все было скромно укрыто и лишь одна церковка выставлена на показное место, может быть, тоже не без расчета. Благодаря ей никак

нельзя было с первым взглядом на это человеческое гнездо не получать самого мирного впечатления, которое давало чувствовать, что здесь живут тихо и умно, и содержат в сердце Того, кто все содержит в своей воле.

Развитие нашей повести покажет, обманчиво или основательно было это впечатление.

Около церкви, которая была виновницею таких дум, ни вблизи, ни вдали не было видно ни могильных крестов, ни своехарактерных зданий, по которым узнают сельскую поповку. Скромное здание молитвы живых стояло одно-одинешенько, вдали ото всего обыденного.

— Кто же тут по́пит и поет? — пытался проникнуть захожий, окидывая недоумевающим ⟨взглядом⟩ окрестность, и ничего не проникал.

Тайна, самая простая тайна этой загадки была у брасовского барина.

Церковка, впрочем, не стояла совсем без призора; у крыльца в небольшой каморе под звонничкой жил старый солдат, нужный здесь не для сторожи, а для того, чтобы поливать разведенный у цоколя небольшой цветничок да ударять веревкою в колокол часы.

Башенных часов при церкви не было, вероятно, потому что они стоят дорого, а брасовский барин не богат, солдат же не обременялся своею обязанностью ударять в колокол по врученному ему старинному карманному цилиндру, так как от него эта работа требовалась только с третьих петухов, когда встает на труд и страду крестьянский мир, и до девятого часа, который, по мнению брасовского барина, был урочный час покоя для земледельца.

Ночью солдат мог спать так же спокойно, как и всякий другой рабочий человек, потому что двери церкви запирались от него изнутри хорошим аглицким замком, прочность которого едва ли стал бы кто-нибудь и пробовать, потому что нечего было ценного украсть в маленькой церкви. Так это устроил брасовский барин.

Старинный цилиндр ходил верно, а наблюдавший его служивый был аккуратен: спущенная вниз с невысокой звонницы бичева всегда тянула колокол в свое время и малиновый звон разливался ко всем, кому надо было его слышать.

Часы служили свою службу и своим, брасовским, и чужим людям, которые их слышали и находили в том свое удобство и хвалили за то опять-таки того же брасовского барина, о котором мы уже столько раз упомянули, что долг вежливости заставляет показать его поближе.

II

Брасовский барин был в полном смысле новый человек, хотя никто другой, как он, так сильно не сердился бы за это определение, если бы оно ему было высказано. Это его не испугало б и не обидело бы, а именно только рассердило бы, потому что привело бы ему на память целую группу воспоминаний, с которыми он не любил возиться. Если ему доводилось выпутать кого-нибудь из хлопот об отчислении его к той или другой категории людей по направлению, то он всегда спешил назвать себя «человеком без направления» и смотря по расположению доказывал это иногда довольно мило и остроумно, иногда коротко и резко, но всегда искренно.

Человека, о котором идет наша ⟨речь⟩ звали Пимен Николаевич Брасов, — он был член довольно старинной хорошей дворянской фамилии и имел немало близких родственников, занимавших весьма видные места в провинциальной и даже в столичной сфере: один родной брат его губернаторствовал, другой предводительствовал, а один из кузенов стоял у министерского портфеля. Родная его сестра и одна из кузин играли видные роли в самом избранном кругу петербургского общества и «могли многое», но Пимен Брасов не только ко всем ним не ютился, но даже избегал с ними часто якшаться и с немалыми пожертвованиями для своего небольшого состояния выселился с своей частью крестьян на «новые места», к небольшому лесному островку и сел здесь подосиновиком. Насмешники звали его однодворцем, но мои читатели, наверное, могли уже заметить, что этот однодворец был не с однодворческим вкусом и затеями.

Основание им нового Брасова и переселение его сюда с крестьянами от ближайшего соседства замужней сестры, владевшей старым Брасовым, он сделал тотчас после Крымской войны, в которой участвовал как дружинный офицер местного ополчения. Тогда уже ходили слухи о вероятной близости предстоящей эмансипации, но это его не смущало и не удерживало его от больших по его средствам затрат на отстройку крестьянских дворов, которые зато были каждый что твое колечко.

Крымские невзгоды, давшие всем русским людям многозначительные уроки, дались знать и Брасову, но не совсем так, как другим.

Участвуя в одном из достославных, но несчастных для русского оружия дел, он был тяжело контужен в голову и оставался без сознания между жизнью и смертью, пока совершались многие другие события и пронеслась весть о кончине императора Николая.

Брасов, лежа на койке подвижного госпиталя, смутно приметил это обстоятельство, видя, как люди крестились и навзрыд плакали. Он не принимал и не мог принять в этом никакого участия, а когда он совсем пришел в себя, он уже увидел другие чувства, которых не хотел усиливать своим сочувствием. Это напоминало ему тех иерусалимских жидов, которые расстилали одежды свои и пели «Осанна» Тому, которого через пять дней предавали чужеземцу, вопя «Да проклят будет».

Еще полуживой, на койке Брасов мерзил этим чувством и, обмогнувшись, скоро, вступил «в противоречие с жизнью».

— Если это жизнь, если это называется направление, то я не хочу ни этой жизни и останусь без направления.

Выше сказано, что он был того убеждения, что сберег свою свободу ума и чувств от всех направлений.

Но этого мало:



ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Фантастическая повесть

Наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

Ефес. VI, 12

I

В небольшом кружке русских, собравшихся на иностранных целебных водах, мы читали новое произведение даровитейшего из наших русских писателей: это был роман, в котором описывалась страсть замужней женщины к стороннему человеку и отмщение, какое должна была принять героиня за свои увлечения, от так называемого общественного мнения и от своей собственной совести. Роман, как художественное произведение, изобиловал многими достоинствами, но производил странное впечатление: описанная в нем женщина, вместо того чтобы вы-

зывать осуждение, возбуждала во всех самое сильное сочувствие: все чувствовали, что ее весьма художественно изображенный муж не мог дать ее живому, чуткому сердцу ни одной капли высокого чувства, называемого любовью, и все мы грешные люди страстно желали отвратить от злополучной мщение, повешенное над ее головою автором в эпиграфе его произведения. Между нами были люди молодые и старые, мужчины и женщины, и все мы были согласны на счет того, что эту женщину надо помиловать. Особенно единодушны на этот счет были дамы, из которых одна, с весьма свойственною современным дамам реальностию, заметила, что роман берет вопрос довольно узко и слишком с односторонней точки зрения, — точки зрения местной русской, установившейся под влиянием закона о нерасторжимости брака, закона не всеми принимаемого с одинаким сочувствием и уважением к его целесообразности в настоящем росте общества.

— Судите сами, — сказала эта слушательница, — происходи все это не у нас в России, а в любой европейской стране, где закон милостиво относится к человеческой ошибке в выборе супруга или супруги, эта пара получила бы развод и для всех страхов и ахов, какие привел автор, не было бы места. Она вышла бы за того, которого полюбила; муж ее тоже мог устроиться по-своему, и ни общество, ни нравы этим не были бы нисколько оскорблены.

— Это правда, — отозвалось несколько голосов, но один из них немного приотстал и секунду позднее заметил:

— А дети? — заметил лечившийся от толщины ректор.

— Что же дети, — отозвалась нетерпеливо дама. — Разве положение детей при разводе родителей хуже, чем при их нелюбви друг к другу и вечной семейной распре? Что до меня, то я этого не думаю, и, судя по опыту, могу сказать, что дети людей, благоразумно оставивших друг друга, всегда гораздо счастливее и лучше, чем дети, вырастающие в отвратительной атмосфере семейной свары.

С говорившею все согласились, и закипел оживленный разговор о брачном вопросе вообще и о разных казусных случайностях, какие кто замечал в своей жизни между несчастливыми супружествами. Предмет, как известно, весьма обильный и неисчерпаемый: всякий знал какое-нибудь несчастное супружество и всякий старался рассказать о нем. Все это будоражило фантазию наших дам до того, что они из читательниц автора, романом которого мы занимались, становились уже пламенными его врагами.

Им это заметили и тем только подлили к огню масла.

— Да, — воскликнула одна из них, далеко уже немолодая и пользующаяся всеобщим уважением дама; да; я считаю такие произведения

окончательно дурными и вредными, и чем они выше и талантливее, тем они, по-моему, противнее и вреднее, и общество наше показывает много ума и такта, когда относится к ним с живым несочувствием, как к этому...

При сих словах энергетически двинутая по столу книга журнала скатилась на пол. Кто-то было нагнулся, чтобы ее поднять, но разгоряченная матрона резко сказала:

— Прошу вас, не поднимайте, — эта книжка моя, и я прикажу ее завтра выбросить, а пока ее место под диваном.

Так мы и разошлись на этом пафосе, а когда на другой день снова тут же встретились, то злополучная книга лежала уже на столе, что всеми было принято за добрый знак примирения ее хозяйки с отсутствующим автором; но когда кто-то об этом вслух заметил, то оказалось дело не так.

— Я отнюдь с ним не помирилась, — возразила хозяйка, — и никогда не помирюсь с этими его суровыми воздаяниями, но я не хочу срывать моего зла на листах бумаги. Пусть книга останется в своем виде и пусть автор повести и весь свет остаются при своей злобе к женщинам, а я их не партизан: я сама счастлива с моим мужем и люблю его, но я видела слишком много женщин несчастных в браке и никогда не подниму камня ни против одной из них за то, что они взяли, как могли, свою долю счастья и дали ее другому.

Все на это промолчали, но толстый ректор тихо заметил, что наша милая хозяйка рассуждает как язычница, а не как христианка, что с христианской точки зрения нельзя строить одного счастья на несчастье другого и что в этом смысле наши законы блюдут апостольское правило «еже Бог сопряжи, человек да не разлучает».

— Пусть так, — отвечала хозяйка, — но вы с вашими законоведами разве знаете, кого Бог сочетал, кого не сочетал? Разве те, которые живут как враги, могут быть названы сопряженными Богом? Что до меня, то я думаю менее богохульно, что, где нет любви, там нет божьего благословения и слова «человек да не разлучает» понимаю в другом смысле.

— А в каком?

— А в том, что пусть человек не смеет расстроивать сердец, одно другое любящих, — иначе я не принимаю и не хочу принимать этих слов, и уверена, что недалеко время, когда они всеми будут приняты только в этом их единственном прямом и достойном почтения смысле.

Когда она это проговорила, из числа гостей один, некто отставной флота капитан Беринтов, встал с места и, взяв со столика изящно пе-

реплетенную маленькую книжечку Нового Завета, молча, запер ее в ящик.

— Зачем вы это сделали? — спросила его хозяйка.

— А чтобы избавить вас от опасности бросить эту книгу туда же, куда была брошена вчера повесть.

— Ага; благодарю вас; но я уверена, что никогда бы до этого не дошла.

— Как знать; вопрос опять становится на ту же бесплодную, казуистическую почву, а на этой почве ничего доброго не родится, кроме распри и гнева.

— Что вы этим хотите сказать? Или, по-вашему, это наше несчастное положение женщины даже не заключает в себе вопроса, которым позволительно людям заняться хоть в частном разговоре?

— Нет; я совсем не то думаю и не то хочу сказать, — отвечал Беринтов: вопрос тут есть, и заниматься им можно, даже должно, при этом отнюдь не в одних только частных разговорах, но не казуистически, как вы это делаете, то притягивая к делу гражданский закон, то автора повести, то вопрос о детях, то, наконец, Апостола письмена, которого я счел не излишним обеспечить от пыла ваших споров.

— А как же, по-вашему, этот вопрос разрешается: по какому закону?

— «По закону, написанному на сердцах наших».

— Нельзя ли высказаться пояснее?

— Извольте.

Мы все взглянули на того, кого я здесь называю Беринтовым, и о нем тут кстати сказать несколько слов.

Флота капитан Петр Петрович Беринтов никому из нас не был коротко известен, но все мы знали двух его братьев, занимающих весьма видные места в России. С самим Петром Петровичем кружок наш познакомился только на водах, а захватил его к себе по праву землячества, обыкновенно предъявляющего свои права при водяной скуке. Петр Петрович всем нам очень понравился: он имел от роду лет под шестьдесят, был довольно крупен и тучен и лечился по его словам «от фигуры»: у него было очень доброе умное лицо, необыкновенная мягкость в манерах, и приятная шутливость, которая делала его беседу легкою и интересною. Наши дамы открыли в его наружности много, соответствующего типу «водевильного дяди», и это было как нельзя более верно. К тому же как бы для полной выдержки этого типа Беринтов был оригинален: он был очень добр и религиозен, но каким-то странным образом, — не причислял себя ни к какой церкви, кроме невидимой, но го-

рячо любил Христа, говорил о нем не иначе как со слезами на глазах и имел редкую у нас в России начитанность в богословской литературе и при всем этом верил в черта и, по собственному его выражению, «вел с ним большую войну». Политически он объявлял себя вне всяких партий и с брезгливостью гнушался слова «направление».

— Я человек без направления, — говорил он, — и все пламеннее благодарю за это так Создавшего мою душу, что она никому не раболепствует и никого не ненавидит: все, что есть нужно до времени.

Таковы были его начала.

О России он толковал охотно, но всегда с несомненнейшей верою в ее призвание: на все шероховатости смотрел без раздражения «и сему, верно, надлежит быть» и никогда о ней не грустил и не пытался ее «спасать» от кого-то или от чего-то. Судил же он обо всем как-то необыкновенно приятно и притом всегда ставил вопрос самым угловатым образом, но, развивая его, мало-помалу поворачивал к собеседникам такою стороною, что все были вынуждены сознаться, что этой-то именно стороны они и не видали.

Поэтому мы любили речи Беринтова, и теперь, когда он вызвался пояснить хозяйке свои положения, внимательно обернулись в его сторону.

Беринтов нам сказал следующее:

— Видите, вы ищете известному поступку оправдания. Это самое мне показывает, что вы в этом поступке, если не видите, то чувствуете не просто поступок, а проступок, — иначе, зачем бы вам метаться на божеские и на гражданские законы с тем, чтобы опорочить их ради оправдания простого дела. Полюбили и живут, — в чем же тут вопрос? А вопрос в том: не погубили ли кого и самих себя? Что вы на меня так недоверчиво смотрите? Я говорю то, что видел и что чувствую. Я не подам голоса за вековечное сохранение существующей на Руси формы нерасторжимого брака и не пристану к толпе, толкующей слово апостола в смысле, не дающем хода и движения брачного вопроса, но я зато и не деловой человек в моей стране, а просто человек без направления, благодарный законам хоть за то, что они меня еще терпят и не дают истязать ни архиерею, ни квартальному. Прежде хуже было, но вопрос, о котором вы заговорили, был и тогда: тогда были несчастные мужья, которых очень сожалели, и несчастливые жены, которых не только жалели, а и защищали где могли и как могли, а если с ними в силу их несчастья случалися и анекдоты того свойства, на котором прочитанный нами автор строит свою мстительную повесть, то и к этим анекдотам умели относиться милосердно, да еще как милосердно — то не по-вашему, в

силу тех или других казуистических соображений, а прямо, как говорили тогда, «по человечеству». Моя мать, упокой, Отец духов, мирный дух ее на своем лоне, была образец кротости и супружеской верности, и отец мой благодаря ей был счастливейший из смертных, а я, мальчишкой бывши, помню, как у нее была приятельница и соседка, молодая барынька, по сиротству выданная замуж за богатого помещика, женившегося на ней третьим уже браком. Человек был отчаянный и порочный и с женою обращался тирански. Та долго терпела, плакала и наконец, найдя сочувствие в одном отдаленном родственнике одной из первых жен своего мужа, полюбила его. Тот ответил ей тем же и, готовый для нее семью и родину забыть, стал изготовляться в путь на чужбину, где они потом и запропали. Но пока все это происходило, муж пронюхал дело и родственника выпроводил, а жену на запор. Так что же вы думаете, моя матушка, — ей ведь до этого никакого прямого дела не было, и холодное благоразумие, конечно, обязывало ее в это дело не мешаться, но она, как я грешный, который, говорят, весь в нее пошел, — она в некотором отношении тоже была без направления — и вмешалась в чужое дело: выкрала чужую жену, берегла у себя со всяким страхом и опасностью в секрете, всем, чем могла, снарядила и сама за границу под паспортом своей горничной вывезла, да и образок им там дала. И во всем этом, поверьте, моя мать никакой безнравственности не сочувствовала и никакого кощунства не видала. А почему? А потому что видела перед собою историю несчастия, которое возникло для женщины, так сказать, органически, и ее надо было спасти от тирана. И мать моя, сколько я знаю, была далеко не исключение в своем роде: так же, или приблизительно так же относились к этим вещам многие, люди добрые и честные, которых не омрачило направление. Но когда к той же моей матушке всего за год до ее смерти раз приехала одна ее недавно вышедшая замуж внучка и стала жаловаться на мужа, что он и груб, и деспотичен, и ни одного ее каприза снесть не хочет, до того-де, что я говорю «надо этот комод поставить к этому окну, а он непременно хочет к другому», то матушка выслушала ее и слезки ей утерла и за стол около себя посадила;



ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Фантастическая повесть (из рассказов отставного флота капитана Беринтова)

«Брань наша не с плотию и кровию, а с миропранителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесными».

Ефес. VI, 12

В небольшом кружке русских, собравшихся за границею на водах, мне довелось встретить одного соотечественника, пожилого весьма образованного и несколько оригинального человека, отставного флота капитана Порфирия Михайловича Беринтова. Он служил некогда в черноморском флоте, пользовался благорасположением Нахимова и участвовал потом во всей обороне Севастополя, но тотчас по окончании войны вышел в отставку, женился и все время жил в своем имении, по его словам, терпеливо и успешно хозяйничал и не жаловался ни на какие «общие порядки». Беринтов по происхождению принадлежал к очень старой дворянской фамилии и мог бы иметь значительные связи; но не пользовался ими, один брат его занимает видную государственную должность, другой состоит в партии, патронирующей издание с представительным сословным оттенком, но Марк Александрович, по-видимому, не симпатизирует деятельности ни одного из своих братьев и упорно молчит всегда, когда при нем заходит речь о поддерживаемых ими направлениях. Сам о себе он не обинуясь говорит, что он «человек без направления» и даже обличает некоторую слабость ставить это на вид, может быть, немного чаще, чем бы это следовало; но это его слабость, облекаемая желанием показывать несостоятельность всех «людей с направлениями», и благодаря этой-то слабости Беринтова всякий разговор, в котором он принимал какое-нибудь участие, тотчас же принимал самое неожиданное и часто весьма оригинальное направление.

Так случилось однажды, когда мы все в сборе читали новый роман графа Толстого: впечатление было весьма разнообразно, и мнения слушателей невозможно было согласить: одни говорили, что Анна Каренина просто «с жиру бесится», другие ее защищали на том основании, что ее мужа любить невозможно; третьи указывали на то, что ее любовник еще хуже ее мужа, а наконец нашлись и такие, которые заметили, что роман не имеет общечеловеческого интереса, что вся его драматическая сторона завязана на слишком узких условиях, чисто местного характера

и что сто́ит все это действие перенести только на другую почву, в страну, где нет условий нашего нерасторжимого брака, как сейчас изменится физиономия всех лиц, и «романа нет», — произойдет простой развод, а за ним новый брак, и дело кончено. К последнему мнению, как представляющему практическое и, может быть, многим весьма желанное разрешение целой группы вопросов, возникающих из условий нерасторжимого брака, примкнуло большинство собеседников и все без исключения собеседницы. Женщины, по обыкновению падкие в наше время к протесту в пользу своих прав, заговорили жарко и быстро перешли к угрожающему тону: стараясь извинять тех, кто, находясь в несчастном брачном союзе, ищет из него исхода per fas et nefas,[1] они сами не замечают, как в неудержимом увлечении полемикою уже слагали апологии браконарушению и клеймили позором не браконарушителей, а общество, которое, видя ужасные условия нерасторжимого брака, клеймило презрением женщину, если она пожелает взять у жизни свою долю счастья с человеком даже весьма достойном и в союзе самом верном.

— Неудивительно после этого, — сказала одна наиболее смелая в суждениях дама, что женский протест не умолкает и что так упорно, хотя и не всегда одинаково остроумно отрицаемый нашими публицистами женский вопрос, у нас все-таки существует и существует с полной живучестью, которая дает полное ручательство, что рано или поздно он добьется своего решения. А до тех пор, — закончила говорившая, — все это будет изнурять общественную жизнь тою непримиримою войною, которая теперь беспрестанно и повсеместно идет между мужчиною и женщиною, стремящимися не осчастливить друг друга, а возобладать друг над другом.

Беринтов во все время разговоров, продолжавшихся на эту тему, хранил спокойное молчание, но тут вдруг отозвался.

— Да, — сказал он, — пощелкивая пальцем по своей табакерке, — что правда, то правда, — вопрос тут есть, и есть и военное положение. По-моему, это даже прекрасно сказано: в наше время женщина в союзе с мужчиною не столько старается сжиться, сколько воевать с ним и его смирить и победить. Но я, право, не знаю: возбуждает ли это вопрос женский или вопрос мужеский: мне даже кажется, что из всех условий нынешнего взаимного отношения полов у нас в России гораздо более намечается мужской вопрос.

— Да вы это, конечно, говорите для оригинальности, — заметила Беринтову дама.

---

[1] правдами и неправдами (*лат.*)

— Совсем нет, — отвечал он: я, как вам, вероятно, известно, человек без всякого направления и не тяну никакого вопроса ни на какую сторону, ни ради какой оригинальности, а сужу просто по тому, что вижу и как понимаю.

— Что же вы видите и как понимаете?

— Вижу, как вы сами справедливо заметили, почти повсеместную войну там, где должен бы царить вечный мир, а понимаю так, что это происходит не от того, что бы женщина в наше время сознала ясно свои права и хотела идти наперекор стесняющим ее свободу условиям, а потому, что она не знает, чего она хочет, и добивается именно того, что ей не нужно и даже не желательно.

— Вот так! браво, Марк Александрович: вы, с позволения вашего сказать, договорились наконец ради оригинальности до шишки на носу туниcского бея. Уже не выходит ли, по-вашему, что женщина вовсе не желает освободиться от тирании мужчины?

— Да, по-моему, она этого не желает, как не желает и облегчения уз брака.

— Во имя чего же она протестует и ведет, как вы сами сознались, войну с мужчиною?

— Да вот говорите же вы: «во имя чего?», а я и сам этого не знаю, а знаю только, что война действительно есть, что женщины действительно добиваются какой-то свободы и что они ее не хотят.

— Не хотят и добиваются?

— Да; не хотят и добиваются. Напрасно вы на меня смотрите с таким удивлением: я говорю о том, что видел, и как человек без направления вывожу мои заключения из опыта: а нравятся ли они кому или не нравятся, — это мне все равно.

— Мы это знаем, — отвечали дамы: мы знаем, что вы не за каким сочувствием не гонитесь...

— Не гонюсь, — спокойно вставил Беринтов.

— Но нам было бы очень любопытно знать что-нибудь о тех опытах, которые привели вас, человека без направления, к вашим оригинальным заключениям.

— Что же, это в самом деле может быть интересно, — отвечал человек без направления, но только жаль, что это очень длинная история.

— А как она длинна?

— О, она длиною во всю мою жизнь.

— Ну, так это для нас вдвое интереснее, и мы все просим вас: расскажите нам ваши истории.

Беринтов подумал, подумал и согласился. Я с его позволения передаю здесь то, что от него слышал, не принимая на себя никакой ответственности ни за взгляды Беринтова, ни за полное отсутствие так называемого направления. Повествование гнется то туда, то сюда, то на сторону симпатий одних, то в пользу вкусов других, но я его передаю, как слышал, не изменяя ничего: даже самое заглавие, как увидят читатели, принадлежит не мне, а органически вытекает из самого рассказа.

Вот эта повесть, как ее излагал Беринтов.

Я никогда не думал рассказывать кому бы то ни было приключения моей жизни потому, что не считаю их ни особенно интересными, ни особенно назидательными; но интерес жизни у нас об эту пору так умаляется, что простительно интересоваться и мелочами частного быта.

Я сын достойных родителей; у меня, как вы знаете, есть два брата, люди очень ревниво служащие двум, говорят, будто бы серьезным, направлениям, и еще были у меня две сестры. Старшая Анна с очень строгим направлением и младшая Паша совсем без направления. Из всех моих единокровных и единоутробных я любил больше всех Пашу, потому что она была всех добрее и, по-моему, всех умнее, но только, как я говорю, в ней, как и во мне, совсем не было того, из чего может выйти в человеке направление. В нас с нею это было замечено с детства, и наш покойный отец и матушка об этом даже немало печалились, но, как они сами и наемные воспитатели ни старались дать нам то, чего не дал Бог, заботы их не увенчались успехами. Сестра Паша выросла простою доброю девушкою; лет до четырнадцати она в свободные от уроков часы играла в куклы и шепталась с своими любимыми горничными девушками, а по семнадцатому году ее выдали замуж. Это последнее событие случилось уже без меня: я тогда был уже в корпусе, а потом сражался, был ранен и, лежа в больнице, начал думать и соображать о себе и о людях то, что мне при более правильном воспитании следовало бы сообразить гораздо ранее; но мой университет, как я вам сказал, был моя больничная койка, к которой меня надолго приковало тяжелое увечье. Врачи присудили меня быть калекою и хотели отнять обе ноги, но Бог судил иначе: пока решались меня оперировать, я начал обмогаться и стал на своих ногах. Однако на это ушло много времени, и я чуть ли не последний из всех раненых вышел из севастопольского госпиталя. Приехав домой, я застал много новостей: отец и мать говорили об «эмансипации», которой, впрочем, мало верили, и ждали разъяснений своих на этот счет недоразумений от брата Дмитрия, который тогда состоял при одном из министерств в Петербурге и слыл за человека со связями. О другом брате Петре отец и матушка говорили с кислою гри-

масою, что он «ударился в литературу», а впрямь он писал хорошие статьи, на которые обращалось много внимания. Родителям это было и приятно, и неприятно: я стоял на стороне брата Петра и, перечитав его статьи, нашел, что они писаны в либеральном духе в пользу «меньшого брата» и одобрил их. Из сестер же старшая делала себе партию за человека, который при новом штате придворных лиц быстро пошел в гору, а о Паше как-то даже и говорить не хотели. Это меня очень удивило, и я все добивался, что бы это такое значило, но матушка сказала мне сухо, что Паша наше семейное несчастье и что о ней, как о женщине без направления, в семье положено не разговаривать. Но что было для меня всего прискорбнее, так это то, что матушка мне добавила:

— Как это ни тяжело и мне, и твоему отцу.



ПРИЛОЖЕНИЯ

А. А. Шелаева

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОМАНА Н. С. ЛЕСКОВА «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»

История создания позднего и во многом необычного для творческой манеры Лескова романа «Чертовы куклы» до сих пор в ряде моментов остается непроясненной.[1] Первая его часть была напечатана в январском номере журнала «Русская мысль» в 1890 г. Она завершалась примечанием от редакции «продолжение следует», но продолжение не появилось ни в «Русской мысли», ни в каком-либо другом издании. Тем не менее начало романа, написанного Лесковым в виде притчи и по характеру повествования близкого произведениям Э. Т. А. Гофмана (на это неоднократно обращал внимание сам писатель[2]), стало жить самостоятельной

---

[1] См. об этом: *Столярова И. В., Шелаева А. А.* К творческой истории романа Н. С. Лескова «Чертовы куклы» // Русская литература. 1971. № 3. С. 102—113; *Шелаева А. А.* Творческая история романа Н. С. Лескова «Чертовы куклы». Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1982.

[2] О том, что «в приеме» он намерен подражать «Серапионовым братьям» (1818—1821) Гофмана, Лесков упоминал в письме к П. К. Щебальскому еще в 1871 г. в связи с другим, более ранним замыслом (см.: *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 327. Ссылки на это издание даются нами далее следующим образом: римской цифрой обозначен том, арабской — страница). В 1889 г., приступив к работе над «Чертовыми куклами», в письме к одному из соредакторов журнала «Русская мысль» В. М. Лаврову Лесков вновь соотнес роман с указанным произведением Гофмана (XI, 431), интерес к которому зародился у писателя, вероятно, еще в 1870 г. в связи с выходом в России Полного собрания сочинений Э. Т. А. Гофмана, куда впервые был включен и полный перевод «Серапионовых братьев». Одна из новелл романа, «Сеньор Формика», отразившая факты биографии известного неаполитанского художника Сальваторе Розы, возможно, послужила импульсом для Лескова, осмыслившего отношения Карла Брюллова и Николая I в духе этой гофмановской новеллы. Не без влияния Гофмана возникла в творчестве Лескова и тема «чертовой куклы», тесно связанная с литературной традицией

литературной жизнью. С подзаголовком «Главы из неоконченного романа» Лесков включил его в 1890 г. в десятый том Собрания сочинений, внеся в текст относительно незначительные изменения.[3] В дальнейшем во всех посмертных изданиях Лескова вплоть до последнего времени роман печатался именно в этой редакции.

Эти обстоятельства позволяли считать, что «Чертовы куклы» так и остались незавершенными. Однако, как свидетельствует письмо писателя к одному из редакторов «Русской мысли» В. А. Гольцеву от 10 мая 1891 г. (XI, 487—488), Лесков намеревался печатать продолжение романа и уже имел окончание в двух частях. Его появлению в журнале, как выясняется из этого же письма, препятствовали прежде всего причины внешнего характера.[4]

Одной из них было весьма настороженное отношение к роману со стороны редакции «Русской мысли». В целом сотрудничество с этим журналом, начавшееся еще в 1887 г., было плодотворным для Лескова. В нем увидели свет его лучшие поздние произведения: рассказы «Человек на часах» (1887), «Инженеры-бессребреники» (1887), очерк «Спиридоны-повороты» (1889), легенда «Аскалонский злодей» (1889).

После закрытия в 1884 г. «Отечественных записок» журнал «Русская мысль» стал наиболее популярным либеральным периодическим изданием, унаследовавшим подписчиков «Отечественных записок» и явившимся в глазах читательской аудитории преемником его традиций.

Соредакторы «Русской мысли» В. М. Лавров и В. А. Гольцев дорожили сотрудничеством известных литераторов, в том числе и Лескова. Однако положение журнала, выходившего в свет без предварительной

изображения людей в виде кукол («Песочный человек» и «Автомат» Гофмана, «Пестрые сказки» В. Ф. Одоевского, а затем и сатирические произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина). См. подробнее: *Шелаева А. А.* Тема «чертовой куклы» в творчестве Лескова 1870—1880-х годов // Творчество Н. С. Лескова: Сб. материалов науч. конференции 1980 г. / Науч. тр. Курск. пед. ин-та. 1980. Т. 213. С. 77—91; *Столярова И. В.* Традиции Гофмана в романе Н. С. Лескова «Чертовы куклы» // От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX—начала XX века. Межвузовский сборник. Л., 1992. С. 170—193.

[3] При сверке этого текста с текстом журнальной публикации мы обнаружили около 200 вариантов, обусловленных в основном стилистической правкой. См. наст. изд., Текстологический паспорт.

[4] В Собрании сочинений Лескова под общей редакцией Б. Я. Бухштаба (М., 1973. Т. 5) и в Собрании сочинений под редакцией В. Ю. Троицкого (М., 1989. Т. 10) в комментариях было указано на существование рукописного окончания романа и пересказано его содержание. См.: *Шелаева А. А.* Примечания к роману «Чертовы куклы» // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1973. Т. 5. С. 414—419; То же. Дополн. Т. 10. С. 410—415.

цензуры, было довольно трудным. Он находился под пристальным оком цензурного комитета, готового при первом же неловком шаге нанести карающий удар. По мнению представителей власти, «Русская мысль» принадлежала к органам «тенденциозной печати, поставившей себе целью изменение современного политического порядка путем резкой и односторонней критики как этого порядка, так и всех мер и распоряжений правительства».[5] За В. А. Гольцевым и Н. Н. Бахметьевым (входившим в редакцию до 1887 г.) был установлен негласный надзор полиции, а относительно деятельности журнала было сказано: «За прекращением издания журнала „Отечественные записки", служившего, как известно, центром, группировавшим около себя лиц, литературная деятельность которых всегда отличалась антиправительственным направлением, „Русская мысль" сделалась новым революционным центром; в ее редакции собрались вновь деятели „Отечественных записок", и журнал, руководимый таким крайним радикалом, как В. А. Гольцев, сделался в высшей степени вредным для спокойствия государства органом».[6] Среди постоянных сотрудников журнала, как свидетельствовало то же донесение, числились «по большей части политически неблагонадежные Шелгунов, Пругавин, Златовратский, Харламов, Короленко, Глеб Успенский, Эртель, Герценштейн, Н. К. Михайловский, профессоры Иванюков и Ключевский и граф Толстой, литературная деятельность которого за последние годы приняла крайний антиправительственный характер».[7] Естественно, что в этих условиях редакция вынуждена была вести осторожную политику, что часто вызывало конфликты с сотрудниками и не в последнюю очередь — с Лесковым.

Поначалу отношения писателя с редакцией журнала складывались идиллически: «Меня заласкали и закормили», — писал Лесков редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому, но тут же не без удивления добавлял, что «свою работу» ему необходимо согласовывать с несколькими сотрудниками и приходится «применяться к разным воззрениям» (XI, 346). Затем было отвергнуто несколько его произведений. Крайнее недовольство Лескова, наконец, вызвало и то обстоятельство, что в 1887 г. втайне от него редакция «Русской мысли» передала для негласной цензуры повесть «Зенон-златокузнец» (впоследствии: «Гора»), усмотрев в ней намек на митрополита Филарета и К. П. По-

---

[5] Из донесения московского оберполицмейстера Козлова. 1886. Редакция и сотрудники «Русской мысли» // Былое. 1917. № 4. С. 100.

[6] Там же.

[7] Там же.

бедоносцева (XI, 411). Лесков воспринял действия редакции как оскорбительное для него недоверие. В итоге повесть не появилась в журнале, и это обстоятельство значительно охладило отношения писателя с редакцией.

Однако к 1889 г. отношения восстановились, и новый роман «Чертовы куклы» Лесков отдал в «Русскую мысль». В декабре в мучительной спешке он правил уже переписанный набело текст первой части — объемом 3.5—4 листа. «Работа и забота о романе, — писал он тогда В. М. Лаврову, — меня поглощает и заставляет забыть о себе. Роман начинает меня удовлетворять» (XI, 449).

В том же письме Лесков сообщал о своих ближайших планах, а также просил у редакции сделать небольшой перерыв в публикации, предполагая, однако, что «к июню роман может кончиться» (Там же). Но с продолжением «Чертовых кукол», видимо, произошло нечто похожее на историю с «Зеноном». Этот притчеобразный роман вызывал у читателя вполне ясные аллюзии: в его героях можно было распознать реальных лиц — прежде всего высочайших особ. Уже поэтому редакция могла опасаться цензурных притеснений.

Тем не менее и в неоконченном виде «Чертовы куклы» — по убеждению Лескова — пользовались вниманием: «Их помнят и о них говорят» (XI, 488), — писал он Гольцеву спустя год.

Не желая отказываться от продолжения романа и надеясь избежать цензурных гонений, писатель предлагает Гольцеву хитроумное решение: провести все «вразнобивку» (Там же), т. е. напечатать сначала третью — по его определению, «удобную и интересную» часть, а затем вторую — «неудобную» (XI, 487). Этот план, однако, не был осуществлен, и Лесков вновь прервал работу над романом, но теперь уже охладев к нему навсегда. По этой причине вторая, третья и четвертая части «Чертовых кукол» остались в черновом виде. В лесковском томе «Литературного наследства»[8] был впервые предпринят опыт реконструкции этой рукописи, имеющей достаточно сложную историю создания.

С большой долей вероятности можно предполагать, что вскоре после смерти Лескова автограф «Чертовых кукол» вместе с другими творческими рукописями писателя попал в руки А. Ф. Маркса.[9] В архиве издательства Маркса долгое время хранилась машинописная копия про-

---

[8] Неизданный Лесков. В 2 кн. М.: Изд. «Наследие», 1997. Кн. 1. С. 259—374.

[9] См. об этом: *Динерштейн Е. А.* «Фабрикант» читателей А. Ф. Маркс. М., 1986. С. 129—136. «Чертовы куклы», однако, не упомянуты автором книги в числе материалов, которыми располагал А. Ф. Маркс.

должения романа, сделанная с автографа.[10] Скорее всего, «обстоятельный немец», как называл Маркса Лесков,[11] при переиздании его собрания сочинений был намерен соединить опубликованную часть с рукописной и таким образом напечатать роман полностью.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Автограф финала с многослойной авторской правкой требовал серьезной текстологической работы. Сотрудники Маркса, видимо, решили максимально упростить задачу и, отметая проблемы текстологии, подготовили машинописную копию, местами исказившую авторский текст до неузнаваемости. Машинопись хранит следы правки синим карандашом и отсылки к оригиналу, которые были сделаны рукой неустановленного лица. Большое количество непрочитанных слов, вместо которых в машинописи оставались пропуски, и грубых опечаток убедительно свидетельствовали о том, что машинописная копия не может быть использована в издательском процессе. На 44-й странице машинописи ее правка неустановленным лицом была прекращена. Видимо, в издательстве было принято решение прекратить попытки «расшифровать» лесковский автограф.

Авторская рукопись «Чертовых кукол» — того, что Лесков называл 2-й и 3-й частями романа, а также возникшей позднее 4-й части, существенно обогащает наше представление о содержании произведения и сложной истории его создания.[12] Чтобы яснее показать, какой характер приняла работа над романом к моменту публикации его первой части в «Русской мысли», приведем некоторые факты из истории его замысла.

Роман под названием «Чертовы куклы» был задуман Лесковым еще в 1871 г. И хотя у нас нет оснований отождествлять этот ранний замысел с поздним романом, генетическая связь между ними вполне возможна.[13] Дело не только в совпадении названия, которое могло быть использова-

---

[10] Издательство не воспользовалось этой копией при подготовке Собрания сочинений Лескова в 1902—1903 гг. После ликвидации издательства машинописная копия романа стала собственностью одного из его сотрудников — А. Е. Розинера. В 1955 г. Е. А. Розинер, наследница А. Е. Розинера, передала ее в РГАЛИ (Ф. 275. Оп. 3. Ед. хр. 2). Автограф был выкуплен А. Н. Лесковым.

[11] См. письмо Лескова А. Ф. Марксу от 12 августа 1892 г. // ОР РГБ. Ф. 360. Карт. 1. Ед. хр. 39. Л. 1—2.

[12] Рукопись поступила во владение А. Н. Лескова и была им передана на государственное хранение в 1931 г. (ныне: РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 9). Далее в тексте даются ссылки на листы этой рукописи.

[13] Ср. другую точку зрения на соотношение этих замыслов: Н. С. Лесков. Из творческих рукописей. (Незавершенные произведения) / Вступ. ст. и публ. К. П. Богаевской // Лит. наследство. Т. 87. С. 37.

но Лесковым, как не раз бывало, для разных произведений. В обрисовке характера героя ранних набросков (Пимена Брасова) заметны те особенности душевного склада, которые будут унаследованы героем позднего романа Фебуфисом.[14] Лесков именует этот тип личности «чертовой куклой», подчеркивая его неспособность противостоять враждебным обстоятельствам, его душевную расточительность, т. е. те человеческие качества, которые, по мысли Лескова, определяли «безнатурность». В письме В. М. Лаврову в 1889 г. Лесков выделит эту тему как главную в романе: «Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих, — „Чертовы куклы"» (XI, 431). Поэтому все предыдущие разработки темы «чертовой куклы» нам представляются ростками его позднего романа, вобравшего в себя весь социально-психологический опыт писателя.

Как рождался замысел произведения, посвященного теме «чертова кукла», мы узнаем из письма П. К. Щебальскому от 5 июня 1871 г. Лесков сообщал ему о том, что «рвется» к работе «с жадностью». «Это будут „Чертовы куклы", — все будет о женщинах» (X, 327). В 1872 г. Лесков, как следует из письма к нему Н. Н. Воскобойникова, готов был публиковать произведение под этим названием в газете «Московские ведомости». Однако намерение не осуществилось. Уже само название произведения сотрудники М. Н. Каткова нашли несколько «странным и резким».[15] Ответ Лескова Воскобойникову нам неизвестен, но «Чертовы куклы» в «Московских ведомостях» не появились.

К своему замыслу писатель вернулся только через три года. Лето 1875 г. он провел за границей, в Мариенбаде. Здесь его окружала, как он выразился в письме к А. П. Милюкову, целая коллекция «ректоров и профессоров». «Наполовину тупицы, наполовину льстецы», — характеризовал их Лесков и тут же сообщал, что они «назлили» его создать нечто вроде «Смеха и Горя» под заглавием «Чертовы куклы» (X, 414—415).

Как видно, уже в этот период в помыслах автора произведение представало остросатирическим. Завершить текст Лесков был намерен в течение месяца и хотел предложить его газете «Русский мир» (X,

---

[14] См. также статью Н. Н. Старыгиной «Творчество Лескова в 1880—1890-е годы. Неосуществленные замыслы», где фрагменты под названием «Чертовы куклы», относящиеся к 1870-м гг., связываются с замыслами романов 1880-х гг. «Соколий перелет» и «Незаметный след» (Лит. наследство. Т. 101. Кн. 1. М., 1997. С. 382—398).

[15] Письмо Н. Н. Воскобойникова к Лескову (1872 г.) // РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 5. Письмо ввел в научный оборот У. Б. Эджертон. См.: *Edgerton W. B.* Missing letters to Leskov. An unsolved puzzle // Slavic Review. Vol. XXV. 1966. № 1. March. P. 132.

415). Но за границей работа не пошла. По возвращении в Россию Лесков также был не в состоянии ее продолжить. Он переживал своего рода творческий кризис, сопряженный с тяжелым душевным состоянием. «Я не пишу ничего — не могу!» (X, 440), — признавался писатель близкому ему в эти годы П. К. Щебальскому. Лескова не удовлетворяло ни его положение в литературе, ни его работа в Ученом комитете Министерства просвещения. Жизнь в России писатель был готов сравнить с «адом», где царствует «глупый случай и злые прихоти языческого рока», где все близится к состоянию «полного, неисправимого падения» (Там же).

В этот период тема «чертовой куклы» оставалась для Лескова предметом глубоких раздумий. В архиве писателя сохранилось несколько рукописных недатированных набросков — зачинов первых глав произведения под названием «Чертовы куклы».[16] Некоторые из них в связи с упоминанием только что вышедшего тогда в свет романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» могут быть датированы 1875 г. Содержание набросков самым тесным образом связано с известными лесковскими размышлениями о русской жизни того времени. Из них следует, что «адские» обстоятельства окружающей действительности в представлении Лескова так влияют на характер русского человека, что превращают его в безвольную и потому лишенную самостоятельности в мыслях, жизненных принципах и поступках «чертову куклу». Наброскам 1875 г. писатель предпослал эпиграф из Послания святого апостола Павла к Ефесянам: «Наша брань не против крови и плоти, но против 〈...〉 мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6 : 12). Если восстановить купюру в цитируемом тексте, то его первая часть будет звучать так: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей...».[17]

С некоторой долей осторожности можно предположить, что наброски 1875 г., выражая оппозиционные настроения, подводили к замыслу «Чертовых кукол» 1889 г. Изобразив Россию под видом некоего герцогства, Лесков высмеивал созданную его владетелем, герцогом, теорию официозного искусства, деятельность казенных художественных учреждений, полицейский сыск, столичные нравы, женское воспитание и другие явления социальной жизни. В образе герцога — правителя-деспо-

---

[16] РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 1—48 об.

[17] В одном из вариантов эпиграф дан по-церковнославянски. Здесь Лесков восстанавливал пропущенный текст (Л. 33).

та — проступают черты императора Николая I. Не исключено, что Лесков фокусировал внимание на николаевской эпохе и личности императора под влиянием Л. Н. Толстого, который несколькими годами ранее создал памфлет «Николай Палкин» (1887).[18]

Сюжет «Чертовых кукол» в 1889 г. сложился, видимо, сразу. В письме к В. М. Лаврову Лесков характеризовал роман как «интересную историю для чтения», и тут же добавлял: «Сюжет ⟨...⟩ взят из бумаг и преданий о 30-х годах и касается высоких нашего края ⟨...⟩ люди сведущие поймут, что это за история. Главный ее элемент — *серальный* разврат и нравы *серальных* вельмож» (XI, 431). В этом же письме он многозначительно заметил, что «герцог» списан «известно с кого». Позднее Лесков высказался о прототипах и исторической основе романа еще более определенно: «Сюжет чисто любовный и чем далее, тем интереснее, но он *прихотлив* и довольно необыкновенен, хотя это все с настоящих людей и событий» (XI, 445). В другом письме на эту же тему он писал: «Живые лица и имена их маскированы ⟨...⟩ но колорит и типы верные действительности (история Брюллова). Того, кто называется „герцогом", я иногда называю „высочеством", иногда — „светлостью"» (XI, 449).

Развитие сюжета в рукописной части позволяет сделать вывод относительно того, что́ конкретно́ Лесков взял из «бумаг и преданий о 30-х годах» (XI, 431), упомянутых им как источники произведения: любовная интрига отражает историю женитьбы К. П. Брюллова на Эмилии Тимм (1821—1877), сестре Вильгельма Тимма (1820—1895), близкого Брюллову по Академии художеств. Наделив молодую жену своего героя, названного в романе именем Фебуфис, внешностью роковой красавицы, Лесков использовал для создания этого образа конкретные факты из биографии Эмилии Тимм.

Гелия (в рукописных главах Помона), как и Эмилия Тимм, — дочь бургомистра большого портового города (в действительности — Риги). Как и ее прототип, она прекрасная музыкантша и художница. В романе, как и в реальной жизни, вскоре после свадьбы между супругами происходит разрыв. Однако причины разрыва в романе и в действительности (как она представлена Брюлловым в прошении о разводе на имя А. Х. Бенкендорфа и в письме к министру двора князю П. М. Волконскому) не совпадают. Брюллов, начав свое письмо к министру словами: «Убитый горем, обманутый, обесчещенный, оклеветанный, я осмеливаюсь

---

[18] Несмотря на то что памфлет был запрещен цензурой, Лесков мог быть с ним знаком, поскольку текст был гектографирован и получил широкое распространение.

обратиться к Вашей Светлости ⟨...⟩»,[19] — обвинял в семейной трагедии отца своей юной жены. Далее он утверждал, что отец, испытывая к своей дочери противоестественную страсть, намерен сделать ее брак с Брюлловым только ширмой для их отношений, продолжающихся и после замужества дочери.

В романе «Чертовы куклы» Лесков объяснял семейную трагедию художника влиянием нравов, царивших при дворе правителя. Он обрисовывал ее как некий вполне реальный эпизод в духе так называемых «васильковых дурачеств» (любовных похождений) Николая I.[20] Вполне вероятно, что писатель опирался на другую, может быть, более правдоподобную версию этой истории.

Развитие сюжета в рукописных главах романа свидетельствует: Лесков каким-то образом получил возможность ознакомиться с текстом цитированного письма Брюллова. Оскорбленный в своих чувствах художник писал: «Родители девушки и их приятели оклеветали меня в публике, приписав причину развода совсем другому обстоятельству, мнимой и никогда не бывалой ссоре моей с отцом за бутылкой шампанского, стараясь выдать меня за человека, преданного пьянству... я считаю даже ненужным оправдываться: известно, что злобное ничтожество, стараясь унизить и почернить тех людей, которым публика приписывает талант, обыкновенно представляют в Италии самоубийцами, у нас в России пьяницами... Я так сильно чувствовал свое несчастье, свой позор, разрушение всех моих надежд на домашнее счастье... что боялся лишиться ума».[21]

Как видно из рукописных глав, Лесков обыгрывал в романе отдельные мотивы брюлловского письма. Они служат канвой сюжета: Фебуфис с горя предается пьянству, причем он опивается именно шампанским в обществе человека, отчасти напоминающего прибалтийского немца; в Италии, куда он бежит из страны герцога, Фебуфис кончает жизнь эффектно обставленным самоубийством. Да и события реальной

---

[19] Цит. по кн.: *Леонтьева Г. К.* Карл Брюллов. Л., 1983. С. 245. Драматическая история женитьбы К. П. Брюллова изложена также в статье Г. Н. Голдовского «Произведения К. П. Брюллова из частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы». Голдовский опирается на воспоминания Т. Г. Шевченко, которые нашли отражение в его автобиографической повести «Художник», и эпистолярные материалы (ОР ГРМ, ф. 31, д. 117, л. 1—2; д. 297, л. 52 54). См.: Карл Брюллов из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга: Альманах. Вып. 356. СПб.: Palace editions, 2013. С. 11—12.

[20] См.: *Соколова А.* Император Николай I и васильковые дурачества // Ист. вестник. 1910. № 1. С. 104—113.

[21] *Леонтьева Г. К.* Указ. соч. С. 245.

жизни свидетельствуют в пользу версии, отраженной Лесковым в романе. Эмилия Тимм через несколько лет вышла замуж за сына Н. И. Греча. Истово преданный Николаю I, в своих мемуарах Греч выступил впоследствии как апологет николаевской эпохи, а в Париже в 1843 г. после публикации знаменитых записок де Кюстина «Россия в 1839 году» пытался опровергнуть содержание этой книги, резко критиковавшей порядки и нравы николаевского царствования.

Весьма существенным для раскрытия прототипов романа является также анализ того, как Лесков строил отношения художника и герцога. Мало просвещенный в вопросах искусства, правитель диктует Фебуфису сюжеты картин и заставляет работать по ранее утвержденным образцам. Иногда он собственноручно правит его рисунки мелом. В уста герцога Лесков вкладывает рассуждения о задачах искусства, вполне соответствующие официозной политике николаевского времени: «Задачи искусства — это героизм и пастораль, вера, семья и мирная буколика, без всякого прованья носа в общественные вопросы — вот ваша область, где вы цари и можете делать что хотите. Возможно и историческое, я не отрицаю исторического, но только с нашей, верной точки зрения, а не с ихней. Общественные вопросы искусства не касаются. Художник должен стоять выше этого. Такие нам нужны! ⟨...⟩ Обеспечить их — мое дело. Можно будет даже дать им чины и форму» (VIII, 538).[22]

Фебуфис, несмотря на весь этот напор, стремится сохранить в отношениях с герцогом независимость и достоинство. Не прельщенный чинами и хорошим содержанием, он разрывает свою связь с правителем, выступавшим в роли мецената. В том же духе складывались отношения Николая I и Карла Брюллова, доводившего императора до крайних пределов терпения своими попытками отстоять собственные художественные вкусы и идеи. Конфликты между императором и художником возникли в период его работы над портретами членов императорской семьи и картиной «Осада Пскова». Однако всякое противодействие Брюллова

[22] Для обрисовки образа герцога Лесков использовал тот же прием, что и М. Е. Салтыков-Щедрин в сатирическом цикле «Письма Николая Палкина любимому писателю Полю де Коку». Он имитировал в речи герцога стиль высказываний Николая I и даже вложил в его уста, слегка перефразировав, подлинные слова императора, приведенные графом Д. Н. Блудовым в книге «Последние часы жизни Николая I» (СПб., 1855. С. 8). Имеется в виду фраза, которую тяжело больной император произнес в ответ на уговоры лейб-медиков не принимать в 1855 г. участие в смотре войск: «Вы исполнили свой долг. Я иду исполнять свой». В романе Лескова такой диалог происходит между герцогом и престарелым сановником, который считал своим долгом напомнить герцогу об имуществе уехавшего художника.

«ценным высочайшим советам» в этих условиях оказывалось просто бесполезным. Девизом императора было: «Нам не нужны гении, нам нужны верноподданные!»[23]

Возможно, бурная сцена объяснения художника и герцога в рукописном окончании и не отражает реальную историческую ситуацию, но Лескову удалось психологически точно, в рамках исторических реалий обрисовать эпизод, который мог бы стать развязкой отношений талантливого художника и правителя-мецената.

Первоначально писатель был намерен представить роман как «найденную рукопись», подобно «Заметкам неизвестного» (1884). Об этом мы узнаем из письма к В. М. Лаврову (XI, 431) и рукописного эпилога «Чертовых кукол». С помощью этого приема Лесков, видимо, стремился придать описанным событиям иллюзию невымышленности. Не случайно рассказчик, поведавший в эпилоге историю найденной им рукописи, счел необходимым обратить внимание читателя на ее внешний вид. На полях таинственного манускрипта он различает «сделанные кем-то карандашом отметки против имен лиц, выведенных в повествовании». «Если бы верить этим отметкам, — размышляет он, — то пришлось признать в изображенных здесь фигурах людей действительно живших и занимавших в свое время очень видное положение» (Л. 108).

Текст первого относительно законченного варианта романа, по собственному признанию Лескова, был написан только «вдоль». На последней странице рукописи дата: «Ночь на 9 апреля 89. Заутреня».

До нас дошла лишь часть этой черновой редакции. Она представляет собой разработку и завершение сюжета, известного по тексту «Русской мысли» и оборванного на XX главе. В конце рукописи сообщается, что «повествование доведено автором до полного окончании» (Там же).

Механическое присоединение рукописного окончания к опубликованным главам невозможно из-за несоответствий различного характера, о которых мы еще скажем подробнее. Поэтому в собраниях сочинений, выходивших массовым тиражом в последние годы, мы знакомили читателя только с фабулой романа, помещая ее изложение в комментариях к тексту.

Рукописное окончание последовательно прослеживает все перипетии судьбы главного героя романа Фебуфиса. Оно рассказывает о его вынужденном отъезде, который больше похож на бегство, о прямых угрозах

[23] См.: *Амфитеатров А. В.* Пути русского искусства // Амфитеатров А. В. Собр. соч.: В 37 т. Т. 21. СПб., 1913. С. 289.

и покушении на свободу художника. Все эти события, по сути, являются развязкой конфликта, уже возникшего в отношениях художника и герцога и отраженного в опубликованных главах. Изображая отъезд Фебуфиса за границы герцогства, Лесков вновь опирается на некоторые факты биографии Брюллова, который, как известно, переплывал пограничную речку, чтобы смыть с себя холопство.[24] Поселившись в Италии в кругу друзей — Мака, Пика и Марчеллы, знакомых читателю по первым главам романа, Фебуфис тихо угасает, как и Брюллов. С особой тщательностью Лесков отделывает здесь образ Марчеллы, соединяя в ней черты добродетельной простолюдинки и изысканной куртизанки, сумевшей окружить себя роскошью и возвыситься над людьми и обстоятельствами благодаря своему обаянию и уму. Имея в виду кардинальское окружение Марчеллы, можно предположить, что ее литературным прообразом стала куртизанка Империя из «Озорных рассказов» О. де Бальзака. Однако, возможно, что из каких-то источников Лескову было известно о многолетней связи Брюллова с итальянкой Мариеттой, дочерью привратника миланской маркизы Висконти Арогона. Упоминание о ней встречается в биографических очерках о Брюллове, приуроченных к столетнему юбилею художника, до которого Лесков не дожил.

Пытаясь выразить в романе отношение к любви, традиционно занимавшей в жизни романтика важное место, Лесков останавливается на этой, известной лишь по глухим упоминаниям, связи художника с итальянкой Мариеттой, названной биографом Брюллова — П. Конради — «его преданной итальянской подругой».[25] В 2000 г. в связи с публикацией статьи Н. П. Прожогина «Карл Брюллов во дворце Питти» стали доступны уточненные сведения о привязанности К. П. Брюллова к миланскому семейству Мариетти и близких отношениях художника с Каролиной Мариетти, на которые весьма красноречиво намекал его друг и душеприказчик Анджело Титтони.[26] В романе Лескова бесплотный образ итальянской подруги Брюллова обретает внешность, характер и имя — Марчелла. Опираясь на собственное понимание сущности женского характера, Лесков создает сложный образ. Его героиня способна и на беззаветную любовь, и на холодную, прагматическую связь, и на преданную дружбу. Она растит своих детей, рожденных вне брака, воспитывает брошенного на произвол судьбы сына жены Фебу-

---

[24] Там же. С. 308—309.

[25] *Конради П. П.* Карл Брюллов. Биогр. очерк. Киев; Харьков, 1899. («Вся Россия»: Энциклопедическая б-ка. С. 40).

[26] Италия и русская культура: Сб. статей. Ч. 2. М.: РАН, ИРИ, 2000. С. 70.

фиса и герцога и становится опорой самому художнику, вернувшемуся в Италию с разбитым сердцем и творчески бесплодным. Реально существовавшая итальянская подруга Брюллова[27] меркнет в сопоставлении с Марчеллой, героиней романа, созданной воображением Лескова. Испытывая Фебуфиса любовью, Лесков отходит от традиционных фабульных схем романтических произведений, которые изображают художника страдальцем, покинутым возлюбленной, оказавшей предпочтение богатому и ограниченному филистеру. Фебуфис сам разрывает связь с Марчеллой, бросая ее на произвол судьбы с ребенком и больной матерью на руках. Затем Лесков строит сюжет романа таким образом, что все последующие попытки Фебуфиса обрести счастье сначала с Пеллегриной, юной, но уже испорченной нравами при дворце герцога девушкой, с Гелией (Помоной), ставшей его женой по настоянию герцога, терпят неудачу при обстоятельствах, унизительных для художника и являющихся возмездием за измену его итальянской любви. Не случайно автор-рассказчик упоминает о том, что на свадьбе Фебуфиса и Гелии «присутствовала также незримо Немезида», в греческой мифологии — богиня мести (VIII, 554).

По сравнению с печатной редакцией отношения художника и его жены в рукописном окончании носят совсем другой характер. Здесь они строятся так, что можно утверждать: в первой редакции романа не было навязчивого сватовства со стороны герцога и брак Фебуфиса и Помоны был заключен не по принуждению, а по любви. Поэтому Фебуфис так болезненно воспринимает попытку Помоны вновь сблизиться с ним в Италии. В связи с этим получает мотивировку внезапное самоубийство Фебуфиса. Смерть художника становится поводом для критического осмысления его судьбы друзьями Фебуфиса. Оплакав художника, они мечтают выступить на общественной арене и посвятить себя «делу, достойному цели человеческой жизни» (Л. 105). Надо забыть «о герцогских ласках и всяких мелких обидах — и думать о бедствиях общих и о том, что можно делать для общего блага...» — решают они и вступают в союз «экономии сил» (Там же). Деятельность этого объединения связана с борьбой Джузеппе Гарибальди. По мнению исследователя записных книжек Лескова Н. В. Руфанова, римские эпизоды романа восходят к наброску из записных книжек Н. С. Лескова для романа под названием «О Риме 1844 г.».[28] В нем дается описание быта колонии

---

[27] Там же. С. 68—69.
[28] РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 108-а. Л. 36.

художников, их ежедневных встреч в кафе Назари близ Испанской площади (видимо, Лесков имеет в виду артистическое кафе «Греко»). Вполне возможно также, что образ скульптора, с которым был знаком Фебуфис, имеет прототипа в лице известного датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1770—1844). В не публиковавшейся при жизни писателя части романа Лесков показывает судьбы героев на фоне движения за объединение Италии. В связи с этим дата «1844 г.» свидетельствует о том, что писатель проявлял интерес к революционной истории Италии и, возможно, первоначально хотел показать в романе «Чертовы куклы» не события гарибальдийского движения, а деятельность тайной организации «Эсперия», позднее «Молодая Италия», которая в 1844 г. пыталась освободить Калабрию от власти испанских Бурбонов.[29]

Брошенного на произвол судьбы сына Помоны и герцога воспитывает Марчелла. В честь своей приемной матери он принимает имя Марк Марчели. Внимание Лескова в эпилоге романа переносится на личность этого героя, антипода его высокорожденного отца. В рядах гарибальдийцев Марк отдает свою жизнь за счастье тех, «кого гложет горе» (Л. 107 об.).

Позднее Лесков дополнил роман, вчерне доведенный уже до эпилога, обширной вставкой. Рукопись открывает титульный лист, на котором указано место вставки в ранее созданном тексте: «Черновое со 2 глав. 2-й части по старой редакции. Сюда следуют вставки со стр. 37 по новой редакции...» (перед Л. 35). Если читать текст так, как подсказано на титульном листе, ход событий в романе не нарушается.

Однако и в этом случае, несмотря на авторские указания, при попытке смонтировать рукопись возникают определенные трудности. Точное место вставки на странице 37 автором не обозначено. Более того, нумерация страниц во вставке не согласуется с нумерацией страниц в основной части. Чистые пронумерованные страницы в конце вставки свидетельствуют о том, что Лесков, возможно, намеревался еще вернуться к этой проблеме — заполнить их текстом, связующим обе части.

Следует также отметить, что на стыке текста, известного как «Главы из неопубликованного романа», и рукописи финала Лесков сбивается на новый замысел. Он начинает детально разрабатывать образ «внутреннего Шера», который стал для писателя одним из главных героев романа. Тем не менее впоследствии, когда Лесков синим карандашом проставлял номера страниц рукописи, он исключил эти страницы из

---

[29] *Руфанов Н. В.* Историзм Лескова (по страницам записных книжек) // Вопросы литературы. 1990. № 11—12. С. 175—176.

общей пагинации. Скорее всего, он понял, что они могут быть неудобны в цензурном отношении и вновь вызовут разногласия с «Русской мыслью».

Несомненно, Лесков питал определенный интерес к личностям, выполнявшим в государстве такие функции, как полицейский директор — «внутренний Шер». Писатель пользовался при создании этого образа мемуарными и историческими материалами.[30] Обратимся к авторской характеристике Шера. Он обрисован в спокойных реалистических тонах, но с оттенком легкой иронии. Подробное описание его наружности позволяет предполагать, что Лесков намерен был придать этому персонажу черты сходства с одним из реально существовавших лиц:

> «Внутренний Шер имел очень большое значенье в герцогстве. Этому способствовало особенное отношение к нему герцога. Шер официально был только административный начальник столичного управления, но он имел гораздо большее влияние, которое чувствовали все служебные лица других правительственных учреждений. И, несмотря на то, что Шер не был в числе правительственных лиц первой шеренги, — его боялись больше, чем всех первых особ в правительстве, и даже сами эти первые особы заботились о его расположении и искали его приязни. Всем этим, повторяю, Шер был обязан особому расположению герцога, которое стяжал себе сам, своим умом, ловкостью и отчасти талантами, которых у Шера было много, и он умел их проявлять вовремя и кстати и притом в тех формах и видах, в каких проявление талантов приятно в обществе, чутком к одному камертону.
>
> Наружность Шера находили прекрасною. Он был бравый мужчина в цветущей поре, очень немного старше герцога, с которым имел как бы фамильное сходство. Они оба были красавцы в одном и том же роде, но Шер был немножко массивнее, — в нем была уже некоторая тяжесть от небольшого ожирения, но зато выражение его

---

[30] Скорее всего, «внутренний Шер» — собирательный образ. Лесков наделяет его чертами Л. В. Дубельта и графа А. Ф. Орлова, которые в разные годы николаевского царствования стояли во главе корпуса жандармов. От Дубельта в Шере — ум, ирония, прозорливость, отмеченные всеми, кто когда-либо описывал «лукавого генерала», например Герценом в «Былом и думах» (*Герцен.* Т. VIII. С. 57—58). П. Каратыгин также вспоминал, что по должности, им занимаемой, и отчасти по наружности Дубельт был «предметом ужаса для большинства жителей Петербурга» (*Каратыгин П. П.* А. Х. Бенкендорф и Л. В. Дубельт // Ист. вестник. 1887. № 10. С. 174). Об А. Ф. Орлове, умевшем исполнять интимные поручения императора, см.: *Россет-Смирнова А.* Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929. С. 288.

лица было гораздо мягче, и манеры его отличались ласковостию, которой часто недоставало герцогу.

По общему мнению, Шер обладал большим умом, но более всего он обладал тонкою проницательностию, которая была ему одинаково полезна как в его полицейских обязанностях, так и во всяких других делах, где требовалось мастерство интриги. Он был отличный полициант и искусный придворный. В первом роде герцог считал его „незаменимым" и говорил, что он „может спокойно заниматься делами только благодаря Шеру", а в числе придворных не было никого, кто бы хотел переведаться с Шером в какой бы то ни было борьбе за преобладание в расположении герцога, к чему собственно только и стремились все высшие лица в герцогстве. Две-три попытки в этом роде, сделанные тогда, когда Шер еще только выплывал на горизонте, были им отпарированы с таким мастерством, что стоили заслуженным лицам карьеры и отбили у других навсегда охоту мериться с ним в мастерстве сложной придворной игры. С тех пор он стал могущественным лицом в государстве, но не временщиком. Герцогу он был всего нужнее в той должности, в какой находился, и Шер это понимал и не искал высшего поста. Быть может, что он бы его и достиг, но это его отдалило бы от особы герцога и лишило бы его того влияния, какое он мог оказывать на все и оказывал так незаметно, так мягко и так благоразумно, что это не раздражало ничьих самолюбий и в то же время делало Шера общим другом и почти благодетелем. Таким особенно считали его в народной массе, с которою он был замечательно прост, доступен и приветлив. Множество людей были обязаны Шеру самыми чувствительными и неоценимыми услугами. Он казался добрым и, может быть, в самом деле был добр. Во всяком случае, он не любил зла, и нервы его не переносили слезных просьб и страдания. Он вступался за обиженных и много раз делал это наперекор другим властным лицам и, как казалось, не без риска для своего собственного положения. Служебные лица, хорошо понимавшие механизм управления, приписывали такие успехи Шера тому, что он по своему полицейскому посту имел *всегда* свободный доступ к герцогу, которому он представлялся аккуратно каждое утро, но, кроме того, мог явиться по экстренной надобности и во всякое другое время, тогда как другие, более высокие и сановитые люди, имели свои урочные часы однажды в неделю и затем могли видеть герцога разве только на балах или разводах, где не имели возможности начинать с ним разговоры по своему избранию. Таким образом, все могли говорить с герцогом о делах по своей части *после*

того, как о них уже успел сделать свои представления Шер, а он знал все, потому что умел быть доступнее всех других лиц, которым простота обращения была неприятна или не удавалась, и притом в распоряжении Шера состояла довольно многочисленная...».

Сопоставительный анализ «Глав из неоконченного романа» и рукописного окончания «Чертовых кукол» в двух его существующих редакциях приводит к неожиданному заключению: печатное начало романа по отношению к его рукописному окончанию — еще одна, притом более поздняя редакция этого лесковского произведения. Факт этот легко объясним. Лесков сначала довел весь роман до конца в его черновом варианте, затем дополнил вторую редакцию вставкой.

В третий раз писатель принялся за доработку «Чертовых кукол», когда вопрос о появлении романа в «Русской мысли» был решен. Результатом доработки стала его третья редакция.

Художественная выразительность первых глав романа, напечатанных в «Русской мысли», при предельном лаконизме и отточенности языка была, видимо, достигнута упорной работой. Часть романа, остававшаяся в рукописи, должна была перерабатываться позднее в том же направлении. В процессе правки должны были исчезнуть незначительные сюжетные несоответствия печатной и рукописных частей, неровность стиля и композиционная рыхлость.

Лесков отказался от первоначального намерения представить текст романа как «найденную рукопись» анонимного автора. Иной в печатной редакции стала, однако, не только форма произведения. Проблемы искусства, творческой личности, тесно сопряженные с критикой самодержавия, в печатных главах звучат с публицистической остротой.

Различия печатной и рукописной редакции касаются также имен и обрисовки второстепенных персонажей. Все имена в печатной редакции — говорящие, как выразился сам Лесков, «нарочно деланные, вроде кличек» (XI, 431). Помона в печатной редакции становится Гелией. Новое имя, заимствованное из греческой мифологии (Гелиос — бог солнца), говорит о необыкновенной внешности и исключительном характере этой героини.

Автор создал в третьей редакции образ прекрасной и гордой женщины, судьба которой окружена тайной. В печатных главах эта героиня Лескова заслуживает большего сочувствия, чем в рукописных редакциях. Рассказчик дает понять: она оказалась жертвой каких-то трагических обстоятельств. Скорее всего, знаки внимания со стороны герцога и

его покровительство Гелия вынуждена принимать, попав в зависимость от обстоятельств, связанных с положением ее семьи.

Любовница герцога Недда[31] и жена Пика Калипсо как бы слиты в печатных главах в один женский образ, вобравший в себя некоторые черты той и другой героини. Лесков именует новый персонаж Пеллегриной, сопоставляя ее с героиней старинной повести, иногда — Миньоной, подчеркивая особенности ее внешнего облика. В связи с этими изменениями следует предположить, что значительный фрагмент текста, составляющий во 2-й рукописной редакции рассказ о драматической судьбе баронессы Недды, в окончательной редакции романа переработан.

При настоящем состоянии источников реконструировать рукописное окончание романа так, чтобы оно служило непосредственным продолжением печатных глав, достаточно сложно. Перед отправкой «Чертовых кукол» в редакцию Лесков счел необходимым «пройти пером первую, переписанную набело часть» (XI, 445). Скорее всего, третья — журнальная — редакция романа возникла именно тогда как результат авторского вмешательства в текст готовой 1-й части. Вероятно, поэтому Лесков писал вскоре в Москву: «Рукопись измарана ужасно». И добавлял: «Корректура будет мне *необходима*» (XI, 449). И все же, каков был характер этой последней авторской правки, можно отчасти проследить.

В составе творческих рукописей, имеющих отношение к роману «Чертовы куклы», случайно сохранился черновой вариант последней XX главы опубликованной части текста. Если сопоставить его с окончательным вариантом этой главы, можно сделать вывод, что отношения между герцогом и Гелией (в рукописном варианте — Помоной) развивались в более ранней редакции по другой схеме и подозрение художника в том, что его жена — любовница герцога, необоснованно и потому крайне оскорбительно для нее. Только в первоначальном варианте эта история обрисована Лесковым как обыкновенный эпизод «*серального* разврата».

Образ герцога в окончательном варианте также претерпевает определенные углубляющие его изменения. Здесь он более разборчив в словах и более осмотрителен в его реакции на ссору Фебуфиса и Гелии. Воспроизводим текст чернового варианта, подтверждающего наши наблюдения:

---

[31] При публикации письма Н. С. Лескова от 14 июня 1889 г., в котором он рассказывал В. М. Лаврову о своей работе над романом, С. Елеонским были неправильно прочтены имена героинь романа (см.: *Елеонский С. Ф.* Николай I и Карл Брюллов в «Чертовых куклах» Н. С. Лескова // Печать и революция. 1928. Кн. 8. С. 37—38).

«— Что случилось? что случилось? — повторял герцог, глядя то на дежурного офицера, то на бледную, как мел, и дрожащую от испуга и холода Помону с головою, осыпанною снежной метелью.

— Вы выдали меня замуж! — произнесла Помона.

— Ну да!.. что же такое?

Помона протянула герцогу руку, в которой был пистолет, и сказала:

— Я сейчас хотела убить моего мужа.

— За что?

— Он обращается со мною как зверь, как тиран, как разбойник! Говоря это, она за каждым словом колебалась на ногах под порывами ветра и вдруг совсем пошатнулась в сторону. Герцог плотнее окрыл ее плащом и, прижав к своей груди, сказал:

— Не бойтесь ничего!.. Я ваш защитник!.. Но скорее: в чем дело?

Вместо ответа Помона холодною рукою взяла руку герцога и приблизила ее к своей голове...

На белой замшевой перчатке герцога осталось несколько глянцевитых и тонких черных волос... Из груди герцога вырвался звук ужаса.

— Мерзавец! — закричал он.— Сейчас его сюда!

А сам обнял молодую красавицу, отечески поцеловал ее в темя и, почувствовав, что она падает без чувств, поднял ее на свои руки и воротился с этою прекрасною ношею назад в двери замка, передал сомлевшую Помону подбежавшим к нему людям и приказал отнести ее в покои одной из приближенных дам герцогини и послал туда лейб-медика, а сам уехал на военные экзерциции 〈...〉» (Л. 35).

Наиболее сложным остается вопрос о композиции второй редакции. Вмонтировав с листа 37 объемную вставку в текст вчерне завершенного романа, Лесков «размыл» его сюжет.

Можно только предполагать, что побудило Лескова сочинить эти эпизоды. Содержание их таково, что в случае включения текста в первоначальный вариант неприятностей с цензурой было бы не избежать. По всей вероятности, перед нами «неудобная часть» романа, которую Лесков хотел опубликовать после третьей.

Введенная в текст вставка сюжетно мотивирована. Она представляет собой два рассказа начальника полиции столицы герцога, по печатным главам — «внутреннего Шера». Он приходит в дом художника, чтобы заключить его под домашний арест. В это время правитель завтракает

наедине с Помоной, покинувшей дом мужа после ночной ссоры. Домашний арест был скрашен для Фебуфиса как иностранца и известного художника обилием вина и занимательными беседами лица, приближенного к герцогу и хорошо знакомого с историей его страны. Из них многое становится известно о нравах правителей и подданных герцогского государства — от губернатора до крестьянина. Первый рассказ — о правящей династии и молодых годах герцога. Второй повествует о судьбе женщины из благородного высокопоставленного семейства, ставшей под именем Недды любовницей герцога. Автор как бы забывает о своей первоначальной цели — показать падение достойной женщины и коварство, с каким герцог устраняет со своей дороги соперника — мужа. По сути, Лесков создает новеллу, сюжет которой никак не связан с сюжетом первой рукописной редакции и оборван в момент кульминации. В этой связи вспоминается брошенное вскользь замечание Б. М. Эйхенбаума в статье «Иллюзия сказа». «Романы не давались ему», — считал Эйхенбаум, высоко ценивший в то же время «склонность» Лескова передавать «действительный устный рассказ».[32] Нам представляется, что появление вставки во второй редакции обусловлено именно этой «склонностью» писателя. Не справляясь с эпической формой романа, Лесков сбивается на сказ, излюбленный им, по выражению Эйхенбаума, прием «чужого мемуара».

Однако традиционный лесковский сказ требовал — как писал Эйхенбаум — изображения портретов, «постановки голоса». «Постановка голоса» в сказе требовала от автора диалогов. Сбившись на сказ, автор «Чертовых кукол» все более отступал от сюжета в первой редакции романа, которая повествовала о художнике Фебуфисе.

Между первой, второй и третьей редакциями романа, как можно судить по дошедшим до нас рукописям, существуют принципиальные жанровые различия. Первая редакция «Чертовых кукол» создавалась с ориентацией на жанр исторической хроники. Хроникальная часть романа построена аналогично хроникам Лескова прежних лет («Старые годы в селе Плодомасове», «Захудалый род», «Печорские антики»).

Выбрав местом действия романа Италию, Лесков, однако, меньше всего стремился нарисовать реальную Италию XIX в. со всеми сложно-

---

[32] *Эйхенбаум Б.* Сквозь литературу. Л., 1924. С. 155. См. также об этом: *Marcade J.-Cl.* La reception de Leskov par B. M. Ejxenbaum // Revue des études slaves. 1985. Vol. LVII. № 1. P. 159—168; *Шелаева А. А.* Б. М. Эйхенбаум о жанре романа в творчестве Н. С. Лескова: Комментарий к цитате // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2014. № 4 (265). С. 85—91.

1

Чортова кукла.

фантастическая повѣсть.

I.

Мы обѣдали часомъ позже обыкновеннаго, потому что матушка поджидала отца, который [illegible] былъ уже четвертый день въ городѣ. По этому я и двѣ мои младшія сестры Людмила и Варя очень проголодались и съ аппетитомъ ѣли вкусныя пшеничныя ватрушки съ [illegible], которыя очень любилъ папа и которыя для него были приготовлены. Няня Архиповна за это назвала насъ „безчувственными и алчными, которые не думаютъ объ отцѣ“; но мама ни слова не сказала и даже сама [illegible] намъ послѣднюю [illegible] и тотчасъ послѣ обѣда отпустила насъ на гору.

Гора была недалеко, въ виду нашего любимаго [illegible] „[illegible]“ [illegible] за рѣчкою у родника, изъ котораго мы брали воду и [illegible] на дорогу, такъ что [illegible] гора была какъ будто полита и приспособлена для удобства для катанія и на саночкахъ, на ледянкахъ и на [illegible], — а если я при этомъ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], — были (большой [illegible]) [illegible] [illegible]. Мама ([illegible]) не только мнѣ самому не воспрещала этого удовольствія, но даже позволяла мнѣ брать съ собою и [illegible] сестру Людмилу, — (Варю [illegible] мнѣ не позволялось брать не потому, что бы её [illegible] отъ этого предохраняли отъ опасности, но потому, что она была „крикуха“ и „[illegible]“ съ нашими [illegible] [illegible].) За это мы, (покуда [illegible] люди,

«Чертова кукла». Фантастическая повесть. Автограф Н. С. Лескова.

Середина 1870-х гг. РГАЛИ. Москва.

«Полная луна, высоко стоя на безоблачном летнем небе...».
Автограф Н. С. Лескова с пометой «Ч» слева на полях.
Середина 1870-х гг. РГАЛИ. Москва.

33

Чортовы куклы.

Романъ

„Нѣсть наша брань къ крови и плоти, но къ началомъ и ко властемъ и къ мiродержителемъ тьмы вѣка сего, къ духовомъ злобы поднебеснымъ."

Ефес. VI, 12.

Часть первая

Рапсодiи.

I.

[illegible]

«Чертовы куклы». Роман. Часть первая. Рапсодии. Автограф Н. С. Лескова. *Середина 1870-х гг. РГАЛИ. Москва.*

22

Чортовы куклы.

Фантастическая повесть.

„Наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных."

Ефес. VI, 12.

I

«Чертовы куклы». Фантастическая повесть. Автограф Н. С. Лескова с пометами «Пролог» в левой части страницы.

1875 г. РГАЛИ. Москва.

28

Чертовы куклы.

Фантастическая повесть

(из рассказов отставного флота капитана Берингова)

„Брань наша не с плотью и кровью, а с миродержителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесными“

Ефес. VI, 12.

«Чертовы куклы». Фантастическая повесть (из рассказов отставного флота капитана Беринтова). Автограф Н. С. Лескова.

Середина 1870-х гг. РГАЛИ. Москва.

Чертовы куклы

Роман

Часть вторая

I

«Чертовы куклы». Роман. Часть вторая. Автограф Н. С. Лескова.

1889 г. РГАЛИ. Москва.

35

(ч. 2-я)

Часть вторая

I

«Чертовы куклы». Фрагмент романа (на стыке опубликованной и рукописной частей). Автограф Н. С. Лескова с пометами синим карандашом «(ч. 2-я)» и «35».
1889 г. РГАЛИ. Москва.

37

6

II

«Чертовы куклы». Фрагмент рукописной части романа с пометой «37» синим карандашом в левом углу страницы. Автограф Н. С. Лескова.
1889 г. РГАЛИ. Москва.

37

78

II.

«Чертовы куклы». Второй фрагмент рукописной части романа с пометой «37» синим карандашом в левом углу страницы. Автограф Н. С. Лескова.
1889 г. РГАЛИ. Москва.

«Чертовы куклы». Предпоследняя страница рукописного окончания романа с пагинацией синим карандашом, относящейся к разным периодам. Автограф Н. С. Лескова.

1889 г. РГАЛИ. Москва.

«Чертовы куклы». Последняя страница рукописного окончания романа. Автограф Н. С. Лескова.

1889 г. РГАЛИ. Москва.

В. А. Серов.
Портрет Н. С. Лескова. 1894 г.

Холст, масло.
Гос. Третьяковская галерея. Москва.





К. П. Брюллов.
Автопортрет. 1849 г.

Холст, масло.
Частное собрание.
Санкт-Петербург.



К. П. Брюллов. Портрет молодой женщины у фортепьяно (Эмилия Тимм). 1838 г.

Холст, масло. Частное собрание. Санкт-Петербург.



К. П. Брюллов.
Автопортрет. Начало 1830-х гг.

Холст, масло.
Частное собрание. Санкт-Петербург.



Фр. Крюгер. Николай I.
1852 г.

Холст, масло.
Гос. Эрмитаж.
Санкт-Петербург.



Фр. Крюгер. Николай I со свитой. 1834 (?) г.
Холст, масло. Музей-заповедник «Царское Село».



К. П. Брюллов. Диана и Эндимион. 1849 г.
Холст, масло. Гос. Третьяковская галерея. Москва.

стями ее государственного устройства и политической обстановки, гражданской войной, нашумевшей флорентийской демократией.[33] У Лескова это образ почти идеального государства, наподобие вымышленного Э. Т. А. Гофманом Джиннистана, куда стекаются художники со всего мира и где процветают искусства.

Другое государство, ставшее местом действия романа, — страна герцога, которую читатель тоже не смог бы найти на географической карте, но ее ироническое описание в духе записок де Кюстина в произведении Лескова вызывало у современников определенные аллюзии и читатель узнавал в нем Россию.[34] «Это все отдает то баснею и стариною, то вдруг хватишься и чувствуешь — ведь это что-то свое», — писал Лесков о романе издателю «Русской мысли» В. М. Лаврову в период работы над его первой частью (XI, 431). Содержание романа «Чертовы куклы» дает основание говорить об определенной близости Лескова и французского путешественника де Кюстина в оценках русского самодержавия, правившего тридцать лет Россией императора Николая I и его столицы, подчиненной во всем самодержавной воле. Художественные особенности романа позволили его автору изобразить имперский Петербург, загримированный под столицу герцогства, во всей его мертвящей холодности, великосветской суете и деформирующей личность напряженности. Лесков зашифровал свое произведение, не указав место его действия и назвав героев нарочно деланными именами, но это не помешало его исследователям найти ключ к роману. Впервые содержание романа «Чертовы куклы» тесно связал с русской действительностью 1830-х гг. в своей статье «Пути русского искусства» А. В. Амфитеатров.[35] Позднее были обнаружены письма Лескова, подтвердившие это предположе-

---

[33] Реальной Италии Лесков никогда не видел. Он заимствует из арсенала романтической поэтики символ прекрасной страны под этим названием. Правда, есть основания предполагать, что Лесков мог быть знаком со статьей В. В. Стасова «Гоголь и русские художники в Риме» (Древняя и новая Россия. 1879. № 12), где описывается быт русских художников в Риме. «Большинство тогда не считало, пожалуй, того и настоящим художником, — писал Стасов, — кто не пил, не буянил и не выкидывал поминутно тысячи нелепых безобразных штук». В этой же статье описан приезд в Рим в 1845 г. императора Николая I вместе с вице-президентом Академии художеств Ф. П. Толстым и их отношения с русскими художниками, которые отчасти напоминают в романе «Чертовы куклы» встречи художников и герцога неизвестной страны. Лесков мог читать эту статью в журнале и использовать ее материал при работе над романом. Впоследствии статья вошла в Собрание сочинений В. В. Стасова (Т. 2. СПб., 1894. С. 223—229).

[34] Записки Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» впервые вышли в свет в Париже в 1843 г. В России книга была хорошо известна, несмотря на запрет цензуры (см.: Из записок сенатора К. Н. Лебедева. 1843 // Рус. архив. 1910. Вып. 8. С. 489).

[35] *Амфитеатров А. В.* Собр. соч.: В 25 т. Т. 21. СПб., 1913. С. 288—289.

ние. В 1928 г. в связи с их находкой появляется другое исследование. Его автор С. Елеонский с большой долей осторожности указывает на мемуары де Кюстина как на возможный исторический источник романа «Чертовы куклы».[36] Очевидное знакомство автора «Чертовых кукол» с мемуарами де Кюстина, как нам представляется, переплетается у Лескова с собственными разысканиями в области русской истории и носит творческий характер. Самим фактом создания романа и его формой Лесков подтвердил мысль де Кюстина о том, что в России одним из популярнейших жанров является «весьма иносказательная басня». В подтексте этого размышления де Кюстина о русской литературе присутствует намек на русскую цензуру, препятствовавшую прямым политическим и социальным оценкам действительности. В той же стилистике и смысловом ключе, что де Кюстин Россию, Лесков описывает страну герцога, придав ее столице топографическое сходство с Петербургом. Из романа явствует, что она расположена на берегах реки. Дворец герцога, где проходят шумные балы и маскарады, как и Зимний дворец в Петербурге, стоит на набережной, откуда с противоположного берега слышен бой часов на крепостной башне. По улицам герцогской столицы мчатся курьеры, допоздна работают рестораны, рослые гвардейцы охраняют жилище правителя, и действует лучшее в мире полицейское управление.[37] Часть романа Лескова, как и книга де Кюстина, написана в эпистолярной форме. Его герой — Фебуфис, известный в Европе художник, как и де Кюстин, иностранец. Переселившись в страну герцога по его приглашению, чтобы поднять уровень искусства, он и его друг Пик делятся впечатлениями о герцогской столице в обстоятельных по содержанию письмах, которые регулярно отсылают друзьям, оставшимся за пределами герцогства. Пораженные нравами, бытом и состоянием художественных ценностей, художники описывают эту сторону жизни в новой для них стране, как бы используя прямые и косвенные реминисценции из текста книги де Кюстина. Они отмечают дорогостоящие, но неважные по монтировке музеи, упадочническое состояние искусства, ставшее результатом запрета на все новое, и полное подчинение всех сфер жизни правителю государства.[38] В известной мере эти впечатления героев романа «Чертовы куклы» составляют параллель оценкам художе-

[36] *Елеонский С. Ф.* Николай I и Карл Брюллов в «Чертовых куклах» Н. С. Лескова. С. 31—57.

[37] *Лесков Н. С.* Чертовы куклы: Окончание романа // Неизданный Лесков. Лит. наследство. Т. 101. Кн. 1. М., 1997. С. 259—274.

[38] *Лесков Н. С.* Чертовы куклы // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 8. М., 1958. С. 529—530.

ственной жизни Петербурга, нашедшим отражение в книге де Кюстина. После посещения Эрмитажа де Кюстин отметил, что его коллекцию «особенно портит большое количество посредственных полотен, от которых нужно отвлечься, чтобы насладиться шедеврами». Он предположил, что те, кто собирал «галерею Эрмитажа, гнались за громкими именами».[39] Художественная жизнь и судьбы художников, наблюдаемые в Петербурге, приводят де Кюстина к обобщениям, которые он выразил, как и многие свои мысли, в афористической форме: «В царстве искусств они рабы, несущие службу во дворце». Такие же выводы делает автор-рассказчик, от лица которого идет повествование. Он говорит о художниках, поступивших на службу к герцогу: «Иногда они собирались оказать какое-то большое влияние на что-то в искусстве, но всякий раз это кончалось ничем. Обо всем надо спрашиваться у герцога, а он не любил не им задуманных перемен» (VIII, 535). Знакомство Лескова с заметками де Кюстина ощущается и в других сюжетных линиях романа. Лесков вводит в него персонаж, напоминающий словоохотливого дипломата К. (П. Б. Козловский, 1783—1840), который знакомил де Кюстина с русской историей. В романе «Чертовы куклы» — это «внутренний Шер», выступающий перед Фебуфисом в роли историка герцогства и в поучительных рассказах повествующий о его прошлом. Этот персонаж по расчету автора «Чертовых кукол» должен был помочь читателю проникнуть в замысел его произведения и раскрыть адресованные ему аллюзии.

Как уже было указано выше, не исключено, что и сюжет романа отчасти сложился в сознании Лескова под влиянием книги де Кюстина, где присутствуют размышления о судьбах иностранных художников в России. В Письме 8 маркиз пишет о том, что «все великие художники и артисты, приезжавшие в Россию, дабы пожать здесь плоды завоеванной в других краях славы, оставались в пределах Российской империи лишь недолгое время».[40] Затем, продолжая свою мысль, он отмечает: «...если же они медлили с отъездом, то промедление это вредило их таланту. Воздух этой страны противопоказан искусствам: все, что произрастает в других широтах под открытым небом, здесь нуждается в тепличных условиях».[41] В романе Лескова эти абстрактные размышления обретают художественную плоть, идейную глубину и социальное звучание. На примере судьбы Фебуфиса писатель ставит важную для всякого способа правления и исторического момента проблему отношений ху-

---

[39] *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году: В 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 441—442.
[40] Там же. С. 160.
[41] Там же.

дожника и власти. Подробно исследуя ее в вымышленных обстоятельствах художественного произведения, он приводит читателя к выводу, что «воздух, противопоказанный искусствам» — это атмосфера деспотизма с ее губительным влиянием на творчество и личность художника. Герой романа Лескова, оказавшись во власти самодержавного правителя, теряет творческие силы и, замечая свою отсталость «в виду произведений художников, трудившихся без покровителей, но на свободе» (VIII, 536), начинает ревновать к их славе и мечтать об отъезде. Однако, как оказалось, сойти с дороги постоянных уступок высокопоставленному покровителю непросто, и она ведет Фебуфиса к полной утрате независимости, которую герцог оплачивает крупными денежными суммами, высоким чином, имением в живописном уголке герцогства и похвалами столичных газет. Финал романа изображает запоздалую развязку конфликта, когда доведенный до крайности художник, слишком долго медливший с разрывом, вынужден спасаться бегством.

Конфликт художника и герцога у Лескова не ограничен областью искусства. Автор «Чертовых кукол» усиливает его вмешательством самодержавного правителя и в личную жизнь художника, что задевает его честь и, как следствие, вызывает творческий кризис. Таким образом, в романе появляется мотив, воскрешающий в памяти читателя мифы и предания пушкинской поры. При его разработке Лесков помимо петербургских слухов мог опираться на содержание 9-го письма, в которое де Кюстин включил известные ему рассказы о тайных любовных похождениях царствующего императора. Эти намеки были единственным в адрес Николая I критическим замечанием де Кюстина, который стремился соблюдать все приличия и моральные обязательства перед принимавшей его императорской семьей.[42] Впоследствии, однако, вольность маркиза дала толчок многочисленным поискам в этом направлении с целью компрометации императора, особенно интенсивным в советское время.[43] В романе «Чертовы куклы» Лесков погружает читателя в атмосферу придворной жизни, составлявшей интерес всех слоев общества герцогской столицы и этим напоминавшей николаевский Петербург. Перипетии любовных отношений между герцогом, художником и его женой показаны автором романа «Чертовы куклы» на фоне столичной жизни, придворных интриг и получают типично петербургскую развязку на маскараде

---

[42] Современную оценку книги Астольфа де Кюстина см. в кн.: *Выскочков Л. В.* Будни и праздники императорского двора. СПб., 2012. С. 221—235.

[43] *Добролюбов Н.* Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев / Публ. М. А. Цявловского // Голос минувшего. 1922. № 1. С. 64—68 и др.

во время холерной эпидемии, которая, как и специфические меры борьбы с ней в России, также упоминается в книге де Кюстина «Россия в 1839 году».

Вторая редакция романа, так же как и первая, трудно поддается жанровому определению. Если по поводу первой Лесков писал В. М. Лаврову в период ее создания: «В производстве у меня на столе есть роман не роман, хроника не хроника, а, пожалуй, более всего роман...» (XI, 431), — то позднее он был готов признать, что из-под его пера вышло произведение, в жанровом отношении трудно определяемое. В письме к А. С. Суворину (9 декабря 1889 г.), которое по времени, видимо, совпадает с созданием уже второй части, автор склонен видеть в «Чертовых куклах» не роман, а «ряд картин» (XI, 447). Лесков понимал, что рассказы начальника полиции нарушали развитие сюжета и разобщали отдельные части романа. Чтобы как-то избежать статичности и создать иллюзию движения сюжета, Лесков каждый тематический поворот в этих рассказах предваряет фразой «и снова пейзаж меняется».

Анализ рукописного текста убеждает, что творческие поиски Лескова были связаны также и с поисками формы. Первый из рассказов директора полиции, поведавший о «старине» с использованием притчи, стал для автора «Чертовых кукол» своего рода творческой находкой. Притча не нуждалась в особом толковании. Смысл ее сводился к тому, что всякий правитель во все времена боится бунта и не жалеет сил на его пресечение. Если дознание с «бойлом» не давало результатов, можно было обратиться к старым людям. Они простодушно и безбоязненно говорили правителю горькую правду. В лесковской притче гранитные укрепления, которые мерещились власти, оказывались обыденными предметами скудного крестьянского быта, а молчание мнимых бунтовщиков в действительности объяснялось не их строптивостью, а безразличием и полным равнодушием к своей судьбе. Своим типично русским сказочным колоритом этот рассказ директора полиции близок притчам Льва Толстого, который в эти годы оказывал на Лескова сильное идейное и творческое влияние.

Как и в притче Толстого «Зерно с куриное яйцо», «старый престарый старичок» оказывается памятливее, наблюдательнее и смелее молодых. Он не только разъясняет принцу правду, но еще и просит отдать ему деньги за загнанных лошадей. Вместе с тем у Лескова нет, как у Толстого, иллюзий относительно патриархального прошлого. Лесков, автор будущего «Загона», с достаточной долей иронии относился к мысли о том, что Россия не нуждается в благах цивилизации и в прогрессе. Лес-

ков здесь близок Толстому в литературном приеме. Автора «Чертовых кукол» привлекает притча как возможность показать читателю важное для писателя событие в двух планах. В первом оно выступает как бесхитростный рассказ о конкретном происшествии, во втором предстает как глубокое философско-историческое обобщение.

Тема «чертовой куклы», сквозная для всех редакций романа, во вставных главах получает оригинальное развитие. Лесков осмысляет в ее рамках сложные взаимоотношения двух разных по воспитанию и социальному положению женщин — баронессы Зои и Камиллы — и взрослеющего юноши. Удаленные в силу обстоятельств от внешнего мира, они поочередно, а затем и одновременно испытывают друг к другу сильное чувство привязанности, близкое к любви. Эта сюжетная ситуация оказывается для Лескова столь же привлекательной, как и отношения Фебуфиса, Пика и его жены Пеллегрины в третьей опубликованной редакции. По поводу этих отношений, описанных с большой тонкостью и психологической достоверностью, автор дает возможность высказаться герою — молодому человеку: он объясняет возникшую ситуацию кознями «дьявола, который играет ими» «в куклы». «**Он** знает свое дело при всех положениях», — заключает юноша, предполагая движение этой истории к трагической развязке и полное свое бессилие противостоять ей.

Публикуемая вторая часть романа «Чертовы куклы» — с подзаголовком «Черновая редакция» — представляет собой на самом деле свод двух авторских редакций. Это объясняется тем, что Лесков вносил правку непосредственно в черновой автограф первой незавершенной редакции. Его объем по архивной пагинации составляет 133 листа с оборотами. Фрагмент, предполагавшийся для вставки, объемом 56 листов, вмонтирован нами в текст рукописи на л. 37, как указал сам автор на титульном листе, между I и II главками. Это отвечает смыслу сюжета и не нарушает последовательность событий.

Тем не менее, воспринимая этот текст как продолжение романа, читателю надо иметь в виду, что отдельные его эпизоды и детали для характеристики образов героев уже были использованы Лесковым при подготовке первой части романа к печати (например, эпизод с собакой, подаренной герцогом Гелии-Помоне, эпизод с получением анонимного письма, известившего Фебуфиса о связи его жены с герцогом, и др.). Создавая третью редакцию романа, Лесков черпал материал из рукописи, как из запасника.

В данной публикации текст чернового окончания романа непосредственно примыкает к печатным главам. Он начинается с эпизодов ожида-

ния художником жены после бурной ссоры между супругами и ее побега из их общего дома.

Важная часть проблематики романа «Чертовы куклы» связана с вопросами искусства. Судьба русского искусства, как и мысль об общественной его значимости, были близки Лескову на протяжении всей его жизни. По мнению многих исследователей творчества Н. С. Лескова, увлеченность писателя искусством приводит его к разработке особого жанра «искусствоведческой» повести и романа (Л. П. Гроссман, Н. С. Плещунов и др.). Каждое из произведений этого жанра («Островитяне», «Запечатленный ангел» и др.) представляет интерес для понимания эстетических взглядов Лескова и его отношения к художественной культуре. В ряду этих произведений поздний роман «Чертовы куклы» (1890) занял наиболее важное место. Роман — о судьбе художника в одной из европейских стран, где правит герцог, «большой ценитель разнообразных произведений искусства, и особенно живописи» (VIII, 497), — затрагивает вопросы свободы творчества художника, его зависимости от власти, цели самого художественного творчества.

Кроме того, Лесков стилизует отдельные главы романа под эстетический трактат, который как жанр характерен для выступлений романтиков периода становления романтизма. Несмотря на это, автор «Чертовых кукол» скорее стремится к развенчанию романтического искусства, чем к утверждению его основных идей. Рассуждения автора и героев об искусстве и его целях, особенно в тех главах, где автор характеризует художественное сознание эпохи, сформировавшей Фебуфиса, и противопоставляет ей «реальное» время, в котором существует и создает свой роман (VIII, 491) автор, усиливают это впечатление. При этом Лесков часто пользуется лексикой, характерной для искусствоведческих статей его времени — «самодовлеющее искусство», «еретический культ служения идеям», «время» и «направление». Интересны в этой связи наблюдения О. В. Евдокимовой и В. И. Секретаревой, рассмотревших статью А. О. Сомова «Карл Брюллов и его значение в русском искусстве» (1876) в качестве одного из источников романа и указавших на этот прием Лескова.[44] Прибегая в романе к иносказанию, притче (отсюда экстерриториальность и вневременность событий), автор показывает ряд

---

[44] *Евдокимова О. В., Секретарева В. И.* Идеал и «самодовлеющее художество» в русском романе XIX века: Лесков vs Брюллов («Чертовы куклы») // Научное мнение. 2014. № 4. С. 25—28; см. также: *Буткевич А. А.* Искусствоведческий компонент в творчестве методе Н. С. Лескова // Слово и изображение в русской классической литературе. СПб., 2015. С. 103—153.

условий, в которых всегда, с его точки зрения, вынуждено существовать искусство. Прежде всего Лескова интересует проблема взаимоотношений искусства и власти, которая представлена в его произведении противостоянием стремящегося к творческой свободе художника и его высокого покровителя — правителя-деспота, претендующего на руководство развитием эстетических идей.

На роман Лескова, как нам представляется, оказали существенное влияние труды европейских историков искусства. В круг чтения писателя в период формирования взглядов на искусство и его историю входят произведения Якоба Буркхардта («Культура Возрождения в Италии», 1860) и Франца Куглера («Руководство к истории живописи со времен Константина Великого», рус. изд.: М., 1872). Влияние первого проявилось в общей эстетической обрисовке жизни Италии, где главный герой романа художник Фебуфис пребывает в атмосфере острого обсуждения творческих проблем со своими единомышленниками и противниками его художественной позиции и общественных взглядов. Влияние второго — в обращении Лескова к легендарной версии биографии Лукаса Кранаха Старшего, когда писатель дает почти дословный пересказ текста Куглера.[45] Лескова интересует пример гармоничных отношений правителя-мецената и художника, который занимал при дворе своего покровителя видное место и даже оказывал влияние на ход политических событий. Писатель проводит в романе некую аналогию между судьбами Кранаха, ставшего другом своего покровителя, и художника Фебуфиса — героя романа, который по приглашению герцога отправляется в его страну, чтобы «совершить службу искусству» (VIII, 526). Как считают друзья Фебуфиса, он похож «на Луку Кранаха, которого он очень любит, и имеет некоторые его свойства» (VIII, 490). Не случайно они называют его «товарищем и другом венценосца» и во время шумных проводов Фебуфиса смешивают «имена Луки Кранаха с именем Фебуфиса и имя герцога с именем Иоанна Великодушного», бывшего покровителем Кранаха (VIII, 511). Однако первоначальным надеждам Фебуфиса «направлять герцога и при его посредстве развить вкус в его подданных» (VIII, 525) не суждено сбыться. Дальнейшим ходом сюжета Лесков убеждает читателя в обратном: в «нынешнее реальное время» художник не может быть «товарищем и другом венценосца».

Помимо отношений искусства и власти Лескова интересует и вопрос об идейности искусства и его социальных функциях, который также на-

---

[45] *Куглер Фр.* Руководство к истории живописи со времен Константина Великого. М.; СПб., 1872. С. 596—597.

ходит отражение в романе. Эта тема была затронута им в раннем произведении «Островитяне» (1865), где герои ведут темпераментный спор о предназначении художника, опираясь на авторитет античности. Прозвучавшие в нем мнения являются отголосками античных представлений о роли художника в обществе и тесно связаны, в частности, с идеями Платона. Нашли отражение в «Островитянах» также новейшие теоретические работы по этой теме, в частности трактат Прудона «Искусство. Его основания и общественное назначение» (СПб., 1865), который подкреплял позиции отечественной прогрессивной критики достижениями европейской эстетической мысли. Трактат Прудона, прочитанный Лесковым, видимо, сразу после его выхода в переводе Н. С. Курочкина, сыграл заметную роль в формировании его взглядов на современное искусство. Отдельные тезисы труда Прудона были сочувственно восприняты Лесковым и нашли отражение в высказываниях героев романа «Чертовы куклы» о целях и задачах искусства. Например, главный идеолог романа художник Мак, как и Прудон, убежден в том, что искусство необходимо сделать «рациональным», научить «выражать стремления нынешней эпохи»[46] и что всё в окружающей жизни может «служить предметом для искусства».[47] В то же время Лесков не принимает эстетический нигилизм и категоричность суждений французского социалиста и выражает ироническое отношение к некоторым положениям его эстетики, используя скрытые цитаты из трактата в ироническом контексте. В «Островитянах» об этом свидетельствует уже формулировка темы спора — «об искусстве вообще и в различных его применениях к жизни»,[48] которую можно воспринимать как перефразированное с пародийной целью название трактата Прудона. В «Чертовых куклах» Лесков еще более последовательно отстаивает самоценность искусства и творческую свободу художника, которые он противопоставляет провозглашенным герцогом программам придворного искусства, подчиненного государственным целям. В целом, Лесков не отрицает общественных задач искусства, но, с одной стороны, в «Островитянах» выступает против его вульгаризации, а с другой — в «Чертовых куклах» — защищает автономность творческих целей художника и его художественную независимость.

---

[46] *Прудон П.-Ж.* Искусство. Его основания и общественное назначение / Пер. под ред. и с предисл. Н. Курочкина. СПб.: Изд-во переводчиков, 1865. С. 213.

[47] Там же. С. 22.

[48] Там же. С. 82. В. Сечкарев считает, что на формирование эстетических взглядов Лескова оказал влияние поздний Л. Н. Толстой. См.: *Setschkareff W.* N. S. Leskov. Sein Leben und sein Werk. Wiesbaden, 1959. P. 148—149. См. также об этом: *Шелаева А. А.* Л. Н. Толстой и Н. С. Лесков — читатели П. Ж. Прудона // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 2. История. 2010. № 3. С. 73—78.

В 1871 г. в публицистических заметках «Образцы русского искусства», посвященных выставкам в Академии художеств, которые совпали по времени с возникновением замысла романа «Чертовы куклы», Лесков призвал «вывести нынешний живописный жанр на степень верного художественного отражения типов, создаваемых условиями общественной жизни и государственным ростом страны». «Выбор в этом случае, — писал он, — очень разносторонен. Честнейшие из молодых художников весьма основательно ропщут на настроение в обществе. Вкус публики действительно очень не возвышен, и изображения нагих женщин находят гораздо более легкий сбыт, чем более серьезные вещи, но не самому ли искусству надо делать усилия, чтобы бороться с этим настроением?»[49]

Стремясь придать роману притчевую форму и избегая упоминания географических и исторических реалий, Лесков еще раз выражает озабоченность пониманием задач отечественного искусства. Он создает в романе условный образ Италии — некоей питательной почвы для искусств, произрастающих в ней свободно, без ограничений творческой воли художника. «Раскованная индивидуальность» Фебуфиса, который первенствует «между собратьями в искусстве» и отличается «смелостью в художественных фарсах и шалопайствах» (VIII, 491), у Лескова связана с художественными традициями эпохи Возрождения. Попытка писателя исследовать отношения художника и мецената — жесткого, волевого и решительного правителя герцогства — своеобразный отклик на многочисленные образчики подобных отношений в эпоху европейского Возрождения. У Лескова герцог-меценат проявляет немало изобретательности, демонстрируя свои художественные интересы и заинтересованность в искусстве. Он готов дать Фебуфису «простор для кисти» (VIII, 510), но его отношения с художником мало чем напоминают отношения Кранаха и его покровителя. Тираны нового времени, по мысли автора романа, не склонны принимать во внимание особый склад личности человека-творца, его индивидуальную свободу, как не склонны считаться в границах своего государства ни с чьей личностной свободой, кроме собственной.

Итальянские мотивы романа, связанные с темой искусства, имеют и русскую основу. В письмах к редактору-издателю «Русской мысли» В. М. Лаврову, неоднократно подчеркивая прямую связь сюжета романа с биографией К. П. Брюллова (XI, 431, 449), Лесков вел родословную своего героя Фебуфиса от статей В. В. Стасова (1824—1906), с которым активно поддерживал деловые и дружеские связи в последнее десятилетие своей жизни. Обоих живо интересует развитие русского искус-

[49] Лит. наследство. Неизданный Лесков. Т. 101. В 2 кн. Кн. 2. М., 2000. С. 157—158.

ства. Об их тесном общении и встречах упоминает А. А. Горелов во вступительной статье к книге Андрея Лескова об отце и называет В. В. Стасова среди «духовных собеседников» Лескова.[50] В 1894 г. они вместе остро переживают отказ И. Е. Репина от идеи в искусстве, по поводу чего Лесков пишет В. А. Гольцеву: «У меня два раза был Стасов с совершенно остывшими руками и был трагически трогателен. И впрямь ужасно. Из всех них выдержал до конца один Ге, и тот самый гонимый и даже прогнанный».[51] Преимущественное внимание Лескова к живописи и теоретическим вопросам изобразительного искусства имеет свое историческое объяснение. Роман создавался в 1880-е годы, когда русское искусство и литература переживали один из труднейших этапов в своем развитии. В 1882 г. министром внутренних дел Д. А. Толстым был «откорректирован» закон о печати 1865 г., что значительно усилило на нее административное воздействие. Многие газеты и журналы были закрыты. В этой обстановке более чем когда-либо духовная жизнь общества была сосредоточена в области изобразительного искусства, которое как бы приняло от литературы эстафету прогрессивных идей 1860-х годов. Идейная борьба вылилась в весьма опосредованные формы и шла в основном в периодике на страницах художественных изданий: «Художественный журнал» (1881—1887), «Вестник изящных искусств» и приложение к нему «Художественные новости» (1883—1890) и др. Здесь велась серьезная полемика различных «направлений», за которой Лесков внимательно следил, сочувственно относясь к утверждению идей реалистического искусства в статьях В. В. Стасова, Н. П. Собко, А. Н. Крамского. На поприще художественной критики в это время часто выступали и писатели: В. М. Гаршин, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский. Попыткой Лескова включиться в эту полемику и сделать некоторые обобщения и был его «искусствоведческий» роман, в котором он выступил на стороне демократической «реальной» критики.

Для Лескова особенно важны были взгляды В. В. Стасова. Его работы публициста и историка искусства были тесно связаны с выработкой нового художественного мировоззрения и эстетической мысли и вместе с тем являлись олицетворением эпохи шестидесятых годов, к которой принадлежал сам писатель. Верность этой эпохе Лесков высоко

---

[50] *Горелов А. А.* Книга сына об отце // Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984. С. 19.

[51] *Гольцев В. А.* Н. С. Лесков (Из воспоминаний и переписки) // Итоги: Сборник. М., 1903. С. 44, 46.

ценил у тех, кто имел отношение к литературе и искусству, и напротив. Так, при всем его уважении к личности и творчеству Репина Лесков не мог смириться с равнодушием художника к недавнему прошлому, не мог сблизиться с ним духовно и поэтому всячески противодействовал желанию Репина написать его портрет. Лескова удивило «полное незнакомство художника с публицистическими бурями, бушевавшими в его отечестве в шестидесятых годах, и профессионально даже как бы задело».[52] Переоценка художественных ценностей, ставшая у Стасова результатом нового понимания задач искусства, волнует Лескова и находит отражение в его «искусствоведческом» романе. Он пытается осмыслить социальные причины поступков и эстетических устремлений художников, обозначить наиболее оправданный и плодотворный, с его точки зрения, подход к решению их творческих и жизненных задач. Писатель требует от художника активного эмоционального воздействия на зрителей ради воспитания их мыслей и чувств, склоняет его к «еретическому культу служения идеям» (VIII, 514), которое проповедует в романе художник-мыслитель Мак.

В романе «Чертовы куклы» Лесков — не только художник слова и мастер сюжета, но и философ искусства, его теоретик и историк. Во всем этом присутствует, как и в оценке К. П. Брюллова, определенная близость эстетических позиций писателя и В. В. Стасова, который под влиянием идей шестидесятых годов пережил эволюцию в своих взглядах на русское искусство. В 1850-е годы он находился под обаянием личности Брюллова, считая его равным по таланту великим художникам прежних эпох, давшим новое направление в искусстве. В 1851—1853 гг. в Италии в качестве секретаря А. Н. Демидова Стасов занимался описанием художественного собрания Брюллова, в которое входили картины художника, с его точки зрения, достойные восхищения. На смерть художника он откликнулся проникнутой сочувствием статьей «Последние дни Карла Брюллова и оставшиеся после него в Риме произведения».[53] Но уже в 1861 г. Стасов публикует в журнале «Русский вестник» большой труд «О значении Брюллова и Иванова в русском искусстве»,[54] в котором пересматривает свое отношение к художнику, его творчеству и роли в развитии национальной живописи. В ироническом тоне он высказывает в адрес Брюллова критические суждения и даже цитирует де Кюстина, назвавшего Брюллова русским Рафаэлем, но при

---

[52] *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова... Т. 2. С. 223.

[53] *Стасов В. В.* Последние дни Карла Брюллова и оставшиеся после него в Риме произведения // Отечественные записки. 1852. Т. 84.

[54] Русский вестник. 1861. Т. XXXV. № 9—10.

этом заметившего, что тот «не подозревает великости задачи художника».[55]

Во второй половине XIX в. имя Брюллова в связи с публикациями Стасова стало в культурной среде барометром искусства. Те, кто выражал критическое отношение к творчеству мастера, обнаруживали таким образом протест против академической ограниченности, художественной вторичности — «красоты» изображения и «итальянщины», нашедших выражение в творчестве Брюллова. В историческом обзоре «Искусство XIX века. Живопись» Стасов писал о Брюллове, обобщая все сказанное ранее: «...за ним утвердилась прочная слава богатого фантаста, остроумного изобретателя и блестящего, необыкновенно умного, глубокого мыслителя об искусстве, тогда как он был только надутый ритор».[56] Публикации Стасова у многих изменили отношение к Брюллову и разрушили его культ в России. Совершенно очевидно, что это не прошло мимо внимания Лескова и, имея для него большое значение, подтолкнуло к собственным размышлениям, получив затем выражение в его «искусствоведческом» романе. В этом смысле особый интерес представляют сюжеты картин Фебуфиса, авторские трактовки и оценки которых выявляют отношение Лескова как к Брюллову, так и к определенным явлениям в истории искусства. С намеком на картину Брюллова «Последний день Помпеи» Лесков описывает в романе «огромное полотно», на котором Фебуфис изобразил сюжет, «где человеческие характеры были выражены в борьбе с силой стихии» и где он поместил также «себя и других...» (VIII, 537). Автор-рассказчик, оценивая картину, называет ее «смешением псевдоклассицизма с псевдонатурализмом» и замечает, что художник ею никого не удивил в Европе. В действительности этот вывод является реминисценцией статьи Стасова, который в 1854 г., анализируя отзывы зарубежной прессы, отмечал, что европейцы не присоединились к восторгам итальянцев по ее поводу. Немецкие и французские художественные журналы упрекали Брюллова в театральности, мелодраматичности и непонимании античного искусства.[57]

Последовательное сопоставление стасовских оценок личности и творчества Брюллова с текстом романа указывает не только на прямые реминисценции и скрытые цитаты из его статей, но позволяет сделать и ряд других выводов, не менее важных для понимания содержания «Чертовых кукол». Лесков связывает замысел своего романа с активным ут-

---

[55] Там же. № 9. С. 14.

[56] *Стасов В. В.* Искусство XIX века // Стасов В. В. Избр. соч. М., 1954. С. 321.

[57] Русский вестник. 1861. Т. XXXV. № 9. С. 14.

верждением русской критикой идейного искусства и делает его художественным выражением современной ему критической мысли.

В пору безгласности и затишья в литературе Лесков увидел в изобразительном искусстве значительную преобразующую силу и отводил художнику в эти годы едва ли не главную роль в развитии прогрессивных идей и воспитании русского общества. «Живописцы могут служить идеалам теперь лучше, легче, чем мы, — утверждал он в письме от 18 февраля 1889 г., в момент наиболее напряженной работы над романом, к И. Е. Репину, — и вы обязаны это делать» (XI, 415). В своем романе о художниках Лесков утверждал эту мысль с категоричностью. Идейная борьба в области искусства получает в нем отражение в эстетических позициях трех художников — Фебуфиса, Мака и Пика, которые воплощают основные концепции искусства 1880-х годов. Все симпатии писателя на стороне Мака, который в полемике с другими художниками — героями произведения — отстаивает право искусства решать насущные вопросы современности и служить ее идеалам. На время даже Фебуфис, чье творчество подчинено служению не идеям, а «свободным музам», оказывается захваченным мыслью об идейности искусства и пишет картину на евангельский сюжет об искушении Христа сатаной «на крыле храма» и на «высокой горе». Обращая читателя к важным для художников 1880-х годов вопросам, Лесков раскрывает евангельский сюжет так, чтобы истолковать всякий компромисс, всякое отступничество от идеалов как нравственное падение человека, т. е. его союз с дьяволом.

Сатана, который, по замыслу Мака, должен выглядеть на картине обыкновенным, «очень внушительным и практическим господином», убеждает «вдохновенного правдолюбца» Христа «войти с ним в союз», «снизойти с высот духовного настроения» и «немножко броситься вниз» ... «к правде герцогов и королей» (VIII, 499). Однако картина, названная Фебуфисом «Бросься вниз», остается незавершенной. Он охладевает к ней и, отступая от идейных принципов, отдает предпочтение практическим выгодам, которые сулит ему служба у «герцогов и королей» (Там же). Этот эпизод в романе имеет концептуальное значение. В свете предложенной автором трактовки евангельского сюжета поддается расшифровке само название романа. Фебуфис, не совладавший с идеей картины, как бы становится исполнителем дьявольской воли. Его конформизм, переход на позиции искусства без высоких идей — это постепенное движение к обрыву, с которого художник в конце концов совершает «падение», поддавшись уговорам «практического гения» (VIII, 543) и оказываясь на службе у герцога.

В связи с этим вопрос о прототипах других героев романа — художников Мака и Пика — обретает еще более существенное значение: именно эти герои являются в романе рупорами критических идей и несут основную идеологическую нагрузку. Вопрос этот был обойден Лесковым в его письмах к издателям «Русской мысли» (XI, 446, 448) — своего рода авторском комментарии к роману «Чертовы куклы». До последнего времени оставались не проясненными и связи с конкретными публикациями Стасова по истории русского искусства, появившимися в период наиболее интенсивной работы Лескова над романом. А они очевидны. Есть все основания полагать, что статья Стасова «Живописец В. И. Штернберг», опубликованная в журнале «Вестник изящных искусств» (1887. Вып. 9), послужила материалом для воссоздания в образах Мака и Пика разных концепций понимания художественного творчества и личности художника.

Эта же статья Стасова обогащала Лескова важными сведениями о жизни русских художников в Италии, избранной им как место действия романа. Значение статьи о В. И. Штернберге (1818—1845), талантливом русском художнике начала 1840-х гг.,[58] повышали также использованные Стасовым письма Штернберга к архитектору Н. Л. Бенуа, другу художника. Будучи пенсионерами Общества поощрения художеств, оба они находились в период переписки в Италии: Бенуа — в Орвието, а Штернберг посещал Рим, Неаполь и Палермо. В. В. Стасов сообщал о письмах: «Интересны они были по множеству подробностей и рассказов из собственной жизни 〈...〉 и из тогдашнего житья-бытья наших художников в Италии. Обо всем этом до нас не дошло теперь почти вовсе никаких сведений. Почти никто из наших художников не писал писем, никто не записывал жизни своей и товарищей».[59] Эти письма оказались существенны для формирования замысла лесковского произведения под названием «Чертовы куклы» (к этому времени оно уже имело несколько набросков первых глав, остававшихся без окончания). Содержание писем открывало Лескову новые горизонты в разработке темы «чертовой куклы», вводя в новую среду обитания этот жизненный образ-характер, или тип. Параллели к ненавистному писателю «безнатурному человеку» можно было найти в описанных Штернбергом художниках, посвятивших свою жизнь в Италии не столько служению искусству,

---

[58] Его работы «Ярмарка в местечке Ичне» и «Освящение пасох в Малороссии» (1837) были приобретены Николаем I для украшения семейных комнат в Зимнем дворце.

[59] Стасов В. В. Статьи и заметки, не вошедшие в собрание сочинений. Т. 2. М., 1954. С. 321.

сколько «художественным фарсам и шалопайствам» (VIII, 491), как определит их облик впоследствии в романе Лесков. Письма Штернберга в публикации Стасова, полные драматических подробностей и характеристик, давали конкретный материал для описания жизни художников. Штернберг сообщает подробности о встречах в трактире Лепре,[60] традиционном распорядке дня, отношениях с властью и чиновниками, курировавшими пенсионеров; не в меньшей степени замыслу Лескова отвечали и комментарии В. В. Стасова. Он выделял среди русских художников два типа, олицетворенных для него в выступающих из писем двух образах — В. И. Штернберга и А. Ан. Иванова. Антиподы по мыслям, манере поведения и внешности, они в то же время были связаны дружбой и взаимопониманием. Характеристики, данные Стасовым Штернбергу и Иванову, возможно, помогли Лескову создать образы художников в романе и типизировать их. Пик — тип «единомышленника», Мак — «мыслителя». При сопоставлении их с реально существовавшими художниками между ними обнаруживается определенная идейно-психологическая близость. Стасов пишет об Иванове: «Это был человек высокоинтеллектуальный, всегда нуждавшийся в переписке, в обмене мыслей с другими. Он мало знался со своими товарищами русскими художниками: они были ему в большинстве случаев слишком антипатичны во всех отношениях. Если с кем из них и водил он знакомство, то разве только с пожилыми и степенными людьми. Штернберг, напротив, был в дружбе со всею тогдашнею молодежью в Риме, постоянно со всеми сверстниками своими встречался и проводил время и, хотя не принимал участия в их оргиях и беспутной трате времени, хотя многих не любил, многих порицал, однако все-таки принадлежал к их среде...».[61] Лесков, обозначив ряд отличий во внешности, характерах и мировоззрении своих героев (VIII, 438—439), пишет, что, несмотря на несходство, «Пик и Мак были, однако, очень дружны: Пик уважал в Маке его думы и даже заботы о служебных задачах искусства, а Мак любил в Пике искренность, с какою он восхищался каждым дарованием, кроме собственного» (VIII, 489).

Как следует из статьи Стасова, жизнь Штернберга складывалась не просто. Он поздно поступил в Академию художеств, был слаб здоровь-

---

[60] Ресторан Лепре в Риме (Via Condotti, 11) был в XIX в. традиционным местом встреч русских художников благодаря царившим в нем демократическим нравам и невысоким ценам. Русские называли его «У Зайцева» (lepre (ит.) — заяц). Кафе упоминает, в частности, в своих воспоминаниях П. В. Анненков.

[61] Стасов В. В. Статьи и заметки... Т. 2. С. 321.

ем, худ и мал ростом. Критика по-разному оценивала его работы, но он был любимцем публики, хотя его считали художником, который писал только внешнее, наружное, «обычаи и нравы народные», внешний вид натуры и никогда не касался «нравов и страстей людских».[62] По мнению Стасова, творчество Штернберга могло удовлетворить невзыскательного зрителя, кому от «живописи и живописца нужно только нечто милое, приятное, ласкающее глаза, ловко и красиво набросанное, но поверхностное».[63] В истории живописи Штернберг остался художником, который запечатлел облик двух своих знаменитых современников: М. И. Глинки (1838) и А. Ан. Иванова (1845). Опираясь на воспоминания современников, в упомянутой статье Стасов создает яркий портрет художника: «Юмористический, насмешливый Штернберг ловил все на лету и набрасывал ловким карандашом свежего, удивленного юноши».[64] Для создания образа своего героя Пика Лесков использует отдельные черты личности Штернберга, но его герой живет в художественном пространстве романа самостоятельной жизнью, лишь отчасти похожей на жизнь своего прототипа. Пик Лескова внешне похож на Штернберга, писатель подчеркивает его миниатюрность: «розовая белокурая крошка» (VIII, 438). Близки они и в понимании целей искусства. Штернберг стремится в своих работах воспроизводить действительность как «нечто милое, приятное, ласкающее глаза, ловко и красиво набросанное...».[65] Лесков пишет о своем герое: «Пик смотрел на жизнь в розовые стекла и отрицал в искусстве все посторонние цели, кроме самой красоты...» (VIII, 438). Многое из того, что сообщил о Штернберге Стасов, Лесков оставляет за пределами текста романа, но все это учтено при разработке индивидуальной психологии его героя. В конце своих заметок о Штернберге Стасов дает общую оценку личности художника, оставившего в русском искусстве пусть скромный, но вполне определенный след. Критик не склонен его идеализировать: он считает Штернберга лишь «способным иллюстратором». Вместе с тем, подводя итоги его короткой жизни, он пишет: «...посланный в Италию, он там жил во многом иначе, чем большинство его товарищей. Он не пил, не кутил, не безобразничал, не проводил времени в праздности и лени, а работал как мог, он читал и любил книги, у него был разбор в людях, он не связывался с кем ни попало, он осуждал жизнь многих из своих товарищей,

[62] Там же. С. 320.
[63] Там же. С. 328.
[64] Там же. С. 301.
[65] Там же. С. 298.

удалялся от нее и хотя не особенно одаренный глубиной мысли, все-таки додумался до многого, что не в состоянии были понять его товарищи...».[66] В романе Лескова мы можем видеть развитие образа Пика в соответствии с этой характеристикой. Он сознательно приходит к разрыву с Фебуфисом и его окружением в стране герцога, тайно возвращается в Италию, ставшую для него идеальным местом для творчества и жизни. Лесков, уделивший в романе большое внимание анализу полотен Фебуфиса, жанровым особенностям творчества Мака, не упоминает картин Пика, но именно ему предоставляет возможность в соответствии с его художественными вкусами организовать похороны Фебуфиса, покончившего жизнь самоубийством. Эти эпизоды из второй, рукописной, части романа по своему масштабу и колориту заставляют вспомнить итальянские работы Штернберга, в частности акварель «Римский карнавал» (1842), отмеченную критикой как удачу в изображении итальянской жизни.

Знаменательно и то, что другой герой «Чертовых кукол», Мак, в изображении Лескова предстает похожим на реального художника А. Ан. Иванова, каким воспринимал его Стасов в его итальянский период. Лесков старательно подчеркивает отдаленность своего героя от художественной среды, его стремление внушить художникам высокое понимание задач искусства, разоблачить пошлость романтических сюжетов, привлекавших нетребовательную публику. Эта позиция героя Лескова не вызывает понимания и сочувствия у его художественного окружения и порождает конфликт между ним и Фебуфисом, обвиняющим Мака в высокомерии и тайном аристократизме. Опираясь на содержание писем Штернберга, Стасов пишет об Иванове: «...в Риме Штернберг был еще далек от Иванова и вместе со своими ветреными, легкомысленными товарищами видел в нем только забавного нелюдима, карикатурного буку, чуждающегося их кружка и их праздной, пустой и беспутной жизни... В Неаполе он сошелся с ним ближе и, конечно, скоро увидел, что́ это был за чудесный человек, нежная великолепная душа, что́ это был за оригинальный серьезный художник...».[67] Можно предположить, что Лесков использовал материал статьи Стасова и, следуя его пониманию типа личности художника-мыслителя, изобразил своего Мака таким же неудобным в общении, сосредоточенным на своем творчестве и мыслях об искусстве героем, каким был в глазах критика А. Ан. Иванов.

---

[66] Там же. С. 361.
[67] Там же. С. 335.

Приведенные наблюдения являются еще одним важным доказательством идейной близости Н. С. Лескова и В. В. Стасова, замечательного вдохновителя и провозвестника нового реалистического искусства в России, позволяют в большей степени оценить их творческие контакты, не нашедшие отражения в переписке. Пристальное внимание писателя к Стасову как к художественному критику и к его статьям о русской живописи, как мы видим, во многом определили проблематику романа Лескова «Чертовы куклы». Сопоставительный анализ статей и романа позволяет заглянуть в творческую мастерскую Лескова, прояснить вопрос о принципах оригинальной переработки исторического материала в его романе и типизации главных героев — художников, чьи идейные позиции и судьбы оказываются соотнесенными с идейными позициями и судьбами русских художников XIX века.

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЧАСТИ РОМАНА «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
421	9 сверху	обращали внимания	98	1 сверху	обращали внимание
421	6 снизу	притом Пик любил и покутить, но только, несмотря на его неразборчивость, он почти никогда не имел удачи	98	20 сверху	любил покутить и Пик, только был неразборчивый волокита, почти никогда не имевший удачи
421	4 снизу	а Мак был само целомудрие и обладал всеми шансами на успехи, но он их не добивался	98	22 сверху	а Мак само целомудрие, со всеми шансами на успехи, если бы он их хотел
421	1 снизу	а Мак смотрел на всех равнодушно и все надеялся когда-нибудь увидеть одну заповедную женщину	98	16 снизу	а Мак все смотрел и где-то надеялся увидеть одну заповедную женщину
423	7 снизу	ивосклицал	99	3 снизу	восклицал
423	2 снизу	отвечал Мак	100	4 сверху	отвечал Макс
424	11 сверху	ни в какие сношения	100	15 сверху	с ними в сношения
425	3 сверху	а то, что он сам соглашался уступить им всегда с затаенным и мало скрываемым намерением	101	1 сверху	а то, что соглашается уступить им, всегда с затаенным, но мало скрываемым намерением
426	16 снизу	и простосердечной римской девушки	102	3 сверху	и благородной римской девушки
426	5 снизу	и крикнул: «счастливого успеха влюбленным!».	102	13 сверху	и крикнул: «благословение влюбленным!».

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
426	5 снизу	сближение их было очень близко и оригинально	102	14 сверху	очень быстро и оригинально
427	2 сверху	требовала	102	18 сверху	и требовала
427	7 снизу	моей женой	103	5 сверху	моею женой
428	1 сверху	я любила и это останется вечно	103	11 сверху	я любила и любить буду вечно
428	4 снизу	только она тогда не была бы тою Марчеллой	104	2 сверху	только и она не была бы тою Марчеллой
431	2 снизу	этими... господами	106	20 сверху	господами
433	20 сверху	нанести укол	107	11 снизу	нанести удар
434	13 сверху	Быть ценителем, это значит не только знать технику, но иметь понятия о благородных задачах искусства.	108	12 сверху	Быть ценителем, это значит иметь понятия о благородных задачах искусства.
434	20 снизу	Кто это Мак?	108	16 снизу	Кто это Мак
436	6 сверху	Ну, нечего делать, потерпит	109	11 снизу	В таком случае нечего делать.
436	15 сверху	но поймите	109	2 снизу	но... поймите
436	17 сверху	Значит, у него есть характер?	110	1 сверху	Да, говорят, что у него есть характер.
436	19 сверху	Да, говорят, и я слышал, — это интересно! Так вот мы его испробуем: вы скажите ему, что так и быть пущу его к себе, но только послезавтра.	110	3 сверху	Говорят, говорят, и мне это интересно! Так вот вы скажите ему, что я так и быть, пущу его к себе послезавтра.
436	13 снизу	человек упрямый	110	7 сверху	человек чертовски упрямый
439	16 сверху	В числе звезд, украшавших его лацкана	112	16 сверху	В числе украшавших лацкана его звезд
439	1 сверху	словно только лишь из милости касался	112	7 снизу	словно как только из милости касался
440	7 снизу	метнул	113	20 сверху	метал

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
440	3 снизу	о которой все говорят	113	19 снизу	ту, о которой все говорят
442	7 сверху	вдохновенного	114	17 снизу	вдохновленного
442	14 сверху	— Да... Но все это не то!	114	10 снизу	— Да... Но, ведь, это все не то!
442	21 сверху	Ах, вы это называете то?..	114	3 снизу	Ах, вот это называете то?..
442	11 снизу	— Оставьте спор и покажите мне, где голая женщина? — молвил герцог.	115	3 сверху	— Оставьте спор и покажите мне, где голая женщина.
442	5 снизу	Для чего же вы это сделали?	115	8 сверху	Для чего вы это сделали?
444	13 снизу	и сам получил довольно серьезный укол в правую руку	116	16 снизу	и сам был довольно серьезно ранен в правую руку
445	13 сверху	Я был бы очень	117	10 сверху	Я очень был бы
448	19 снизу	и даже было сочинено наскоро	119	16 снизу	и даже сочинили наскоро
448	15 снизу	«всего изящного и благородного в мире»	119	12 снизу	«всего изящного в мире»
448	6 снизу	имена	119	4 снизу	имя
449	1 сверху	— вторили Пику другие	120	1 сверху	— вторили ему другие
449	4 снизу	Один Мак до сих пор упорно молчал	120	13 снизу	Мак до сих пор так упорно молчал
450	8 снизу	Не знаю, да и ты не можешь этого знать.	121	17 сверху	Не знаю, а, впрочем, быть может
450	6 снизу	Твое сердце и здесь его не спасало	121	19 сверху	Твое сердце его не спасало.
451	1 сверху	восторженных чувств	121	15 снизу	дружеских чувств
451	11 снизу	Не от Фебуфиса ли?	122	4 сверху	От Фебуфиса ли?
455	18 снизу	вздрогнул, сказал: «Это черт знает, что за люди!»	125	4 сверху	вздрогнул и сказал: «Это черт знает, что такое!»
455	12 снизу	на острие	125	10 сверху	на острии

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
455	6 снизу	властительная надменность	125	14 сверху	властительская надменность
456	7 снизу	Но и это простое слово	126	5 сверху	Но и то простое слово
457	8 снизу	пожелать уничтожить такое свое изображение.	126	4 снизу	пожелать такое свое изображение уничтожить.
458	9 снизу	С ним мне было	127	11 снизу	Здесь мне было
458	7 снизу	которые сделались мне	127	10 снизу	которые мне были
460	11 сверху	вслед за этим	128	8 снизу	вдруг вслед за этим
460	13 сверху	его успокоить	128	6 снизу	его удержать
461	5 сверху	за ужином, в которому	129	19 сверху	за ужином, к которому
463	11 сверху	надоедал	131	11 сверху	надоел
464	19 сверху	сообщал об	132	12 сверху	говорил об
466	1 сверху	Рад и я, и отвечаю	133	21 снизу	Рад, и я отвечаю
466	3 сверху	И я тоже тебя люблю.	133	19 снизу	И я тебя люблю тоже.
466	6 сверху	даже отраднее. Не правда ли? Я бегом бежал	133	16 снизу	даже отраднее. Я бегом бежал
466	8 сверху	Ах, Пик, для чего ты туда едешь?	133	17 снизу	Ах, Пик, для чего ты едешь?
466	3 снизу	ощиплют	134	12 сверху	ощипят
467	8 сверху	А теперь	134	22 сверху	И теперь
467	11 снизу	Нет, ты дай	134	2 снизу	Нет, дай ты
468	16 сверху	Если хочешь вредить другим, то не надо сердиться и на них	135	18 снизу	Хочешь вредить другим и не надо сердиться на них
468	8 снизу	совать ему деньги. — Возьми!.. Умоляю! приставал Пик. — Ну, перестань, оставь это.	135	6 снизу	совать ему деньги. — Ну, перестань, оставь это.
468	5 снизу	тебе весь век откладывать произведение, которое сделает тебя славным в мире и мазикать	135	4 снизу	тебе весь век все ее откладывать и мазикать

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
468	1 снизу	Я не вижу в этом ни малейшего горя; мои маленькие жанры, делают дело, которое лучше самой большой картины.	135	2 снизу	Я не вижу в этом горя и мои маленькие жанры, может быть, делают свое дело лучше большой картины.
470	10 сверху	изменялось	136	2 снизу	изменилось
470	3 снизу	обедать в ресторанах	137	18 сверху	обеды в ресторанах
470	1 снизу	— здесь все это почитают за неприличие.	137	19 сверху	— здесь ничего этого нет и в помине
471	12 сверху	все свежо	137	12 снизу	все свеже
471	16 сверху	и ищешь от них спасения... Ах, друг! может быть, спасение-то именно здесь	137	9 снизу	и искать от них спасения... А, может быть, спасение здесь
471	19 сверху	все станет	137	6 снизу	и все станет
472	17 снизу	дочь заслуженного воина	138	14 снизу	дочь почтенного воина
473	7 сверху	но дома, в недрах своего семейства, кротче агнца)	139	7 сверху	а дома этого не видно)
473	18 сверху	переписка друзей оборвалась	139	18 сверху	переписка совсем оборвалась
473	7 снизу	Иоанн с Лукой Кранахом	139	14 снизу	Филипп с Лукой Кранахом
474	20 сверху	— Да они обыкновенно жиреют	140	10 сверху	— Да жиреют
475	13 сверху	и начало втягивать как в пучину... Еще позже это стало ему нравиться...	140	9 снизу	начало втягивать как в пучину и еще потом скоро стало ему нравиться
476	6 сверху	тотчас заметил	141	19 сверху	скоро заметил
476	8 сверху	из его римских друзей.	141	20 сверху	из своих друзей
476	1 снизу	ценители их произведений	142	5 сверху	ценители произведений
477	9 сверху	новым живым стремлениям, обозначившимся уже в других европейских школах.	142	13 сверху	новым стремлениям, обозначившимся уже среди всех лучших европейских школ

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
477	11 сверху	об этом «академизме».	142	15 сверху	об этом направлении
477	12 сверху	надо было сознаться, что его положение несносно, и уйти от него, но в нем жила фальшивая гордость: он не хотел быть синицею, которая летала нагревать шилом море.	142	16 сверху	надо было признать свое положение несносным и уйти, но он не хотел быть синицею, которая летала нагревать шилом море.
477	16 сверху	по этой дороге уступок	142	19 сверху	по этой дороге
477	17 сверху	но раздражительно отрицал это	142	20 сверху	но раздражительно старался оспаривать и отрицать это
477	18 сверху	В таких борениях ему был тяжек	142	21 сверху	В этих соображениях ему был тяжек
478	13 сверху	его дарования	143	8 сверху	его дарований
479	6 сверху	похвально твое усердие и оно должно быть награждено	143	8 снизу	усердие твое похвально и должно быть награждено
479	10 сверху	суждения Рима пришлось презирать	143	5 снизу	пришлось презирать суждения Рима
479	15 сверху	Ну, да... ты мой!	144	2 сверху	Ну, да!
479	19 сверху	— Забыл глупости. — Нет разучился. — А вот пусть они приедут	144	6 сверху	— Их глупости. — И разучился. — А вот пусть приедут.
479	23 сверху	я знаю, что они мне не прощают...	144	9 сверху	они мне не прощают...
479	23 сверху	Не одна зависть, — я знаю, что они мне не прощают	144	9 сверху	Не одна зависть, — что они мне не прощают
479	24 сверху	Что же это такое? — Измену.	144	10 сверху	Чего? — Измены.
479	7 снизу	Задачи искусства	144	16 сверху	Истинные задачи искусства
479	6 снизу	в общественные вопросы — вот ваша область	144	17 сверху	в общественные — вот ваша область

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
479	3 снизу	но только с нашей	144	19 сверху	но с нашей
480	16 снизу	живое веяние, и здравый ум просвещенного человека	144	2 снизу	другое веяние, когда здравый ум человеческий
481	10 сверху	топчак на молотилке	145	22 сверху	топчак молотилке
482	7 сверху	а тот не отвечал очень долго, но наконец	146	9 сверху	который не получался очень долго
482	9 сверху	художник	146	11 сверху	он
482	14 снизу	его полное сочувствие вашим прекрасным мыслям	146	21 сверху	его полное удовольствие к вашим идеям
482	13 снизу	иметь	146	22 сверху	еще иметь
482	11 снизу	что и я вам вполне сочувствую. Я прочитал ваше сочинение.	146	23 сверху	что и я прочитал ваше сочинение
482	10 снизу	и я был должен прочесть и исполнился радости	146	24 сверху	и я исполнился радости
482	9 снизу	Да, в числе	146	16 снизу	что в числе
482	7 снизу	умел бы	146	14 снизу	умел
482	1 снизу	выпустить	146	9 снизу	пускать
483	1 снизу	Нет. И это не нужно	146	8 снизу	Нет.
483	2 сверху	во внешнем свете. Герцог на вашей стороне. Вам сейчас	146	7 снизу	во внешнем свете. Свет, освещающий нас, в нас самих. Вам сейчас
483	4 сверху	что именно его светлость	146	6 снизу	что именно герцог
483	4 сверху	ваших верноподданных	146	5 снизу	ваших правдивых
483	6 сверху	Произнеся	146	3 снизу	Сказав
483	17 сверху	и поднял вверх	147	8 сверху	подняв вверх
483	13 снизу	и опять застыл в позе	147	14 сверху	и застыл в позе
483	10 снизу	словами верноподданного убеждения	147	17 сверху	словами убеждения
483	5 снизу	Он неотразим!	147	21 сверху	Он гениален!
483	4 снизу	чтобы взять и вложить	147	22 сверху	чтобы вложить

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
483	1 снизу	Конечно нет. С этим	147	24 сверху	— Конечно нет. И разве вы хотели бы этого желать? С этим
484	1 сверху	составляет достояние истории... Она исторический документ, который переживет нас и	147	25 сверху	составляет исторический документ, который будет храниться века в архиве
484	8 снизу	на это у нас есть господин Шер. Правда, что у него в ведомстве все идет черт знает как, но зато по вдохновению... У нас это любят. Впрочем, если что неудобно, то вы сами можете говорить об этом с герцогом...	148	4 сверху	на это есть Шер, но это правда, что у него черт знает как идут все его дела. Впрочем, еще лучше, вы сами можете говорить об этом с герцогом
484	3 снизу	благодарить его светлость. Поцелуйте руку... Это так приятно. Adieu!	148	7 сверху	благодарить его светлость. Adiaux!
484	1 снизу	Граф повернулся и послал рукою поцелуй Фебуфису.	148	8 сверху	Граф послал рукою поцелуй.
485	2 сверху	от обласкавшего его дипломата в самом дурном расположении духа: он переходил беспрестанно от угнетенности к бешенству и не знал	148	10 сверху	от обрадовавшего его дипломата в самом дурном расположении духа, переходя беспрестанно от угнетенности к бешенству и не зная
485	11 снизу	но как только он начинает	148	10 снизу	но он начинает
485	9 снизу	так его практический смысл	148	9 снизу	и вот его практический смысл
485	4 снизу	Да, нет — все гадость, все несносно...»	148	5 снизу	гадость, но есть его хуже...»
489	1 сверху	а из одного	148	1 сверху	и из одного
489	4 сверху	Фебуфис вздыхал	149	4 сверху	Фебуфис вздохнул

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
486	14 сверху	художник	149	12 сверху	и художник
487	8 сверху	об этом не знаешь?	149	3 снизу	об этом не знал?
487	15 сверху	За это его тюк на крюк!	150	15 сверху	Ну, это тюк на крюк!
487	16 сверху	но пусть	150	6 сверху	и пусть
487	3 снизу	против этого велено	150	19 снизу	К этому велено
487	2 снизу	а, между тем, ему от этого	150	18 снизу	а ему от этого
488	18 снизу	не знает? Кажется все, кроме нужд своего народа!	151	1 сверху	не знает, кроме нужд своего народа
489	11 сверху	Он верно рад, что она умерла.	151	14 снизу	Слава богу, что умерла
489	12 сверху	М... ну — не знаю.	151	13 снизу	Да.
489	13 сверху	племянник говорил	151	12 снизу	племянник говорит
489	14 сверху	и за то	151	11 снизу	а за то
489	15 сверху	теперь желает будто компенсации и, как только выдаст дочь замуж, так сам опять женится. Но этому хотят помешать.	151	11 снизу	теперь желает компенсации, выдав дочь замуж, хочет сам опять жениться.
489	15 снизу	холостецкую	152	4 снизу	холостяцкую
489	3 снизу	а тебя «уважает»	152	6 сверху	а тебя «почитает»
489	1 снизу	уважение значит больше	152	8 сверху	почтение значит больше
490	4 сверху	«я к нему никак не могу привыкнуть»	152	12 сверху	«я, говорит, к нему не привыкла»
490	7 сверху	мать тоже никак не могла привыкнуть: она правду ему говорила, что он «не мужчина».	152	15 сверху	я слушаюсь мать: мама говорила, что он «не мужчина».
490	3 снизу	Мой друг, ведь я не раздевалась.	152	4 снизу	Мой друг, ведь не раздевалась.
491	2 сверху	— Я говорю вам: это мне все равно. — А я... я себе этого даже объяснить не могу...	153	1 сверху	— Я говорю вам: все равно! — Я... я хотела бы все себе объяснить и не могу...

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
491	11 сверху	он взял меня очень сильно за пояс...	153	10 сверху	и взял меня очень сильно за пояс
491	12 сверху	с ним	153	11 сверху	с ними вместе!
491	14 сверху	— Но я не раздевалась и только была совсем измучена...	153	13 сверху	— Да! Но я не раздевалась и совсем измучена
491	15 сверху	— Не помните!	153	15 сверху	— Ага! Ничего не помните!
491	16 сверху	— Да, я затрепетала... — Затрепетала! — Да, затрепетала... мы так воспитаны. — Вы очень оригинально воспитаны... Ничего не понимаете...	153	16 сверху	— Да, я только затрепетала... — Удивительно! — Ничего нет удивительного... мы так воспитаны. — Вы очень оригинально воспитаны... — Да... как хотите, а теперь мне дурно.
491	10 снизу	Но только мы уедем отсюда.	153	16 снизу	Но мы уедем отсюда.
491	8 снизу	— Как ты хочешь, букан, — прошептали	153	14 снизу	Куда хочешь, — прошептали
491	6 снизу	Пик улыбнулся и стал целовать их и повторял: — Мы от него уедем, уедем, букашка.	153	12 снизу	Пик очнулся и стал целовать их и, только снова успокоясь, прошептал: Мы отсюда уедем.
491	4 снизу	— Да, уедем, буканчик, — отвечала Пеллегрина.	153	9 снизу	Да, — отвечала Пеллегрина.
491	2 снизу	Пик все позабыл и растаял в объятьях своей наивной жены.	153	7 снизу	Пик молча, но крепко и выразительно сжал и потом в знак почтения даже поцеловал руку своей наивной жены.
492	1 сверху	Букан и букашка были счастливы.	153	5 снизу	Они были счастливы.

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
492	6 сверху	но он совсем не обнаруживал стремления жениться, и показал другую удивительную слабость:	153	1 снизу	но он не умел найти утешения и обнаруживал удивительную слабость
492	8 сверху	начал искать веселой компании.	154	2 сверху	начал искать компенсации
492	10 сверху	восполнить	154	3 сверху	исполнить
492	11 сверху	купил трубку с дамским портретом	154	4 сверху	купил трубку
492	12 сверху	и начал ездить смотреть	154	4 сверху	и ездить смотреть
494	5 снизу	противоположных	156	6 сверху	противуположных
494	3 снизу	бьются сердца	156	8 сверху	бьется сердце
495	1 сверху	сию минуту	156	10 сверху	сию же минуту
495	8 сверху	Это говорила букашка.	156	16 сверху	Это говорила она
495	8 сверху	Фебуфис в роли букана был сильнее потерян и молчал.	156	16 сверху	Фебуфис был сильнее потерян, и он молчал.
495	11 сверху	и как обручальное колечко	156	19 сверху	и Пик слышал тоже, как обручальное колечко.
495	14 сверху	Пик узнавал	156	21 сверху	Он узнавал
495	16 снизу	никогда так далеко	156	13 снизу	так далеко никогда
496	2 сверху	она уверяла меня, как она не понимала, что с нею делают, и затрепетала!	157	4 сверху	она уверила меня, как она не заметила и затрепетала
497	4 сверху	и сразу Фебуфиса пленила. Это заметил герцог.	157	6 снизу	и так пленила Фебуфиса, что это заметил герцог
497	6 сверху	— Что ты о ней скажешь?	157	4 снизу	— Какова?
497	8 сверху	только, как говорят на Востоке	157	2 снизу	только по-восточному
497	13 сверху	в ход что-нибудь в библейском роде	158	2 сверху	в ход слово от Писания

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
497	14 сверху	он тоже скомпоновал, что мог: он похлопал Фебуфиса по плечу и сказал: Эге, смертный, я вижу, ты еси уже уязвлен сею красою.	158	3 сверху	он похлопал Фебуфиса по плечу и сказал: — Э смертный, ты, я вижу, уже уязвлен красою.
497	20 сверху	— Ваша светлость, смертный не дерзает и думать о том, чтобы понравиться такой красавице.	158	8 сверху	— Ваша светлость, надо иметь особое счастье, чтобы понравиться такой красавице.
497	14 снизу	единственная дочь богатого отца, избалована и хватила	158	11 сверху	единственная дочь своего отца и хватила
497	10 снизу	Да, да, — Диана	158	15 сверху	Да, она Диана
497	9 снизу	И притом, она умна	158	16 сверху	Впрочем, она умна...
497	6 снизу	очень своевольна	158	19 сверху	избалована и своевольна
497	1 снизу	А вот же посватаю и высватаю:	158	23 сверху	Посватаю и высватаю
499	6 сверху	— вышло однако так	159	21 сверху	но вышло так
499	17 снизу	Он знал, что букашка чертовски	159	7 снизу	которая была чертовски скрытна
501	9 снизу	неприязненность	161	20 сверху	неприятность
502	5 сверху	обычный визит на другое утро после брака.	161	8 снизу	на другое утро брака обычный визит
502	14 сверху	смешному взмаху, который он сделал руками.	162	2 сверху	смешному взмаху руками
503	17 сверху	Во что в самом деле он не вмешивается, чего он только не знает	162	7 снизу	Во что он не вмешивается, чего он не знает
506	7 снизу	плеснул скипидаром на портьеры	165	20 сверху	плеснул скипидаром портьеры
506	1 снизу	и вскрикнул	165	17 снизу	и закричал
507	2 сверху	Она только смерила его глазами и сделала шаг вперед	165	15 снизу	Она только смерила его глазами

Продолжение таблицы

Вариант публикации в 10-м томе Собрания сочинений Н. С. Лескова 1889—1890 гг.			Публикация в журнале «Русская мысль»		
Чертовы куклы. Главы из неоконченного романа			Чертовы куклы (Роман). Часть первая		
стр.	строка	текст	стр.	строка	текст
507	6 сверху	щегольский	165	13 снизу	щегольской
507	11 сверху	Не успела	165	7 снизу	Но успела
507	14 сверху	вскрикнув от боли, рванулась и убежала...	165	5 снизу	страшно вскрикнула
507	15 снизу	в руках	165	4 снизу	а в руках
507	16 сверху	Жена ушла.	165	3 снизу	Она ушла.
507	15 сверху	в руках	165	4 снизу	а в руках
507	5 снизу	не была вашею любовницей и отмстите за мою честь.	166	10 сверху	не была вашею любовницей.
508	11 снизу	главной площадки	166	8 снизу	главной площади
508	9 снизу	массивная дверь	165	6 снизу	тяжелая дверь
509	12 снизу	Он хотел меня сжечь, — он обращается со мною как разбойник!	167	17 снизу	Он обращается со мною как зверь и разбойник!
509	3 снизу	Из груди его	167	8 снизу	Из груди

КОММЕНТАРИИ

Печатается по текстам: часть первая — *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. С. 327—396, с исправлением опечаток предшествующих изданий 1890, 1903, 1958 гг.; часть вторая, третья и четвертая — Неизданный Лесков: Лит. наследство. Т. 101. М., 1999. С. 271—374. В тексте первой части романа «Чертовы куклы», ранее публиковавшейся с подзаголовком «Главы из неоконченного романа», сохранено деление на главы, осуществленное Лесковым при подготовке журнальной публикации. В тексте продолжения романа оставлено авторское обозначение частей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 5

С. 5. *...называли его Фебо-фис или Фебуфис, то есть сын Феба.* — Феб (греч. — блистающий) — второе имя бога Аполлона, который в греческой мифологии считался покровителем искусств; фис (фр. fils) — сын.

С. 6. *Им, например, обоим нравился Дон Жуан, и они оба оправдывали байроновского героя, но совершенно с различных сторон...* — Лесков выступает против трактовки образа Дон Жуана в тех произведениях, где он представлен злодеем и развратником, как например в пьесе Тирсо де Молина. Лесковский герой Мак реабилитирует Дон Жуана, поскольку «он открывал во всех любивших его женщинах обман и не хотел довольствоваться фальсификациею чувства». Подобная оценка созвучна той, какую давали Дон Жуану европейские романтики, оправдывавшие его, ибо, по их мнению, он, бросаясь от одной женщины к другой, мучительно страдал от ощущения бесплодности поисков идеала.

С. 8. *...похож на Луку Кранаха...* — Лукас Кранах Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график. Лесков наделил Фебуфиса биографией, несколько напоминающей жизненный путь Кранаха, который в 1504 г. был приглашен в Виттенберг ко двору саксонского курфюрста Фридриха III Мудрого (1463—1525) в качестве придворного художника, имел большую мастерскую, получил дворянское звание. Источником сведений о Кранахе для Лескова стала книга немецкого исследователя Франца Куглера «Руководство к истории живо-

писи со времени Константина Великого» (М., 1872), при этом писатель повторил некоторые неточности этого исследования. В частности, вслед за Фр. Куглером он считал, что Кранах в течение пяти лет находился в плену со своим покровителем саксонским курфюрстом Иоганном Фридрихом I Великодушным (1503—1554), в действительности срок добровольного заточения Лукаса Кранаха ограничился двумя годами (1550—1552). О роли Кранаха в жизни Иоганна Великодушного герой Лескова говорит почти теми же словами, что Куглер, разворачивая, правда, краткую историческую справку в полную драматизма ситуацию (VIII, 505; ср.: *Куглер Фр.* Указ. соч. С. 596). Интерес к Кранаху Лесков испытывал и ранее (см. его незавершенную повесть «Повесть о безголовой Наяде»).

С. 9. *...из тогдашней папской столицы...* — С 756 г. столицей Папской области — теократического государства во главе с папой — был Рим. Исключением являлось вынужденное пребывание пап в Авиньоне (юг Франции) в 1309—1377 гг. под давлением политических обстоятельств.

С. 10. *...молодой, тогда еще малоизвестный патриот Гарибальди...* — Джузеппе Гарибальди (1807—1882) — народный герой Италии, один из вождей национально-освободительного движения. В романе это одно из немногих исторических лиц, названных подлинными именами. Однако факты его биографии хронологически не совпадают с сюжетом; в 1830-х годах, к которым относится действие романа, Гарибальди находился вдали от Рима.

Пармезанец — житель города Пармы в Италии.

С. 11. *...ездит к ней читать с нею Петрарку или Данте?* — Франческо Петрарка (1304—1374) — итальянский поэт, родоначальник культуры Возрождения. Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка.

С. 13. *...неприличную картину, вроде известной классической Pandora.* — Пандора (греч. Pandora, букв.: всем одаренная) — в греческой мифологии женщина, созданная Гефестом по воле Зевса в наказание людям за похищение Прометеем огня у богов; Пандора выпустила из сосуда бедствия, от которых страдает человечество. В обширной иконографии Пандоры обнаружено два изображения, которые Лесков мог иметь в виду, сравнивая с ними картину Фебуфиса. Во-первых, это полотно «Ева — первая Пандора» (1550, Лувр) французского художника XVI в. Жана Кузена Старшего (ок. 1490—1561?), упомянутого Вазари в первом томе его «Жизнеописаний» (1550). В ней сочетаются влияния голландской школы, итальянских маньеристов и школы Фонтенбло, для которой характерны сюжеты с запутанными аллегориями и обнаженными телами. На картине изображена в сладострастной позе нагая женская фигура удлиненной формы, которая может быть воспринята и как Пандора, и как Ева, т. е. в картине одновременно присутствуют мотивы античной мифологии и Священного Писания. Пифос (сосуд), расположенный на первом плане у правой руки женщины, связывает ее с традиционным образом Пандоры и намекает на то, что он является вместилищем бедствий, выпущенных ею на землю. Художник сравнивает Пандору с библейской Евой, которая также принесла зло человечеству. Указанием на Еву служит яблоко искушения, прислоненное к ее груди. Левую руку женщины обви-

вает змея — символ дьявола. Правой героиня картины Кузена опирается на череп, что обращает зрителя к сценам распятия, которое, по легенде, произошло на том месте, где был похоронен Адам. В голландских натюрмортах череп является аллегорией суетности человеческой жизни и указывает на ее быстротечность. Лесков мог видеть картину Кузена в 1863 г. в экспозиции Лувра, который он неоднократно посещал во время своего пребывания в Париже, о чем свидетельствуют первые главы его романа «Обойденные» (1865), имеющие автобиографический характер. На замысел картины Фебуфиса могло оказать влияние и другое произведение, также связанное с эпохой Возрождения и известное автору романа. Это гравюра с изображением Пандоры в объятиях своего супруга титана Эпиметея. Она вошла в популярный в эпоху Возрождения и неоднократно издававшийся в Европе с 1524 г. альбом гравюр эротического содержания, изображавших 16 поз соития богов, а также знаменитых любовников. По преданию, рисунки были созданы учеником Рафаэля Джулио Романо (1492—1546) для росписи стен, а затем скопированы в технике гравюры его другом, художником Маркантонио Раймонди (ок. 1480—1534). В 1527 г. поэт Пьетро Аретино сопроводил каждую из этих гравюр стихотворным текстом в форме сонета. С тех пор они получили название «Позы Аретино», став синонимом разврата. В поле зрения Лескова могли также попасть иллюстрации к сонетам Аретино, выполненные известным итальянским художником Агостино Карраччи (1557—1602). Число поз постепенно увеличивалось. Поза № 18 изображает Пандору, Эпиметея, мальчика со свечой и сатира, который часто присутствует на эротических гравюрах, видимо, как олицетворение животного начала в человеке. Лесков мог быть знаком с гравюрами по широко распространенному их французскому изданию 1798 г. Ж.-Ж. Коиньи «L'Aretin d'Augustin Carrache ou Recueil de postures érotiqes, d'après les gravures à l'eau-fortes par cet artiste célèbre». Сюжеты гравюр, что было, видимо, известно Лескову, нашли отражение и в творчестве К. П. Брюллова, ставшего прототипом Фебуфиса. В 1849 г. он создает полотно «Диана и Эндимион», мифологический сюжет которого является вариацией отдельных «Поз Аретино» и рассказывает о необычной любви богини, воспылавшей страстью к прекрасному юноше Эндимиону, постоянно пребывающему во сне. Связь сюжета с этим источником подтверждает изображенный на картине Брюллова сатир. Можно предположить также, что Лескову было известно постантичное творчество Бартоломео Пинелли (1781—1835), который был современником Брюллова, жил в Риме в период его пребывания в Италии и прославился как мастер в разработке эротических сюжетов. Историю издания сонетов Аретино и изучения иллюстраций к ним см. в книге: *Неверов О. Я.* Любовные позиции эпохи Возрождения. СПб.: Изд-во «Продолжение жизни», 2002.

На этом полотне он изобразил упомянутую красивую даму в объятиях знаменитого в свое время кардинала, а себя поставил близ них вместо сатира, которого отводит старуха со свечкой. — Этот сюжет Лесков заимствовал у немецкого писателя-романтика Э. Т. А. Гофмана (1776—1822). В новелле «Синьор Формика», вошедшей в роман «Серапионовы братья», герой Гофмана, получивший имя существовавшего в реальности итальянского художника Сальва-

торе Розы (1615—1673), пишет картину, обличающую развратную римскую аристократию. В главной фигуре картины все узнавали любовницу знаменитого в те времена кардинала. У Гофмана картина также является вариацией нескольких сюжетов альбома «Позы Аретино».

С. 14. *В это самое время по Европе путешествовал один молодой герцог, о котором тогда говорили, будто он располагал несметными богатствами.* — Речь идет об императоре Николае I (1825—1855), который послужил прототипом герцога.

С. 15. «*Бросься вниз*» — искусительные слова дьявола, которые он говорит Иисусу Христу (Мф. 4 : 6). В свете трактовки этого евангельского эпизода, представленной в романе, становится понятным и его название — «Чертовы куклы». Фебуфис, не совладавший с идеей начатой им картины, как бы становится исполнителем дьявольской воли.

С. 19. *Messaline dans la loge de Lisisca* — «Мессалина в хижине Лициски». Под именем Лициска и под видом куртизанки, изменив свою внешность, римская императрица Мессалина (Валерия Мессалина, жена римского императора Клавдия (10 до н. э.—54 н. э., правил с 41 г.), отличавшаяся исключительным развратом даже для привыкшего ко всему римского высшего общества), случалось, проводила ночи в городских лупанариях (публичных домах). Название картины Фебуфиса отражает сюжет произведения французского художника М.-Ш. Леру (Leroux) «Мессалина», которое демонстрировалось в Париже, в Салоне 1868 г. (*Larousse P.* Grand dictionnaire. Vol. 11). Замысел картины Леру, скорее всего, также восходит к изображению Мессалины в альбоме «Позы Аретино». Сюжет картины Фебуфиса, по всей вероятности, связан с моментом острой идейной борьбы в европейской художественной критике, полемически заостренной против мысли Прудона о существовании в искусстве «запретных тем». См.: *Шелаева А. А.* Лесков и Прудон // Русская литература. 1982. № 2. С. 133.

Сиеста — в Испании, Италии, странах Латинской Америки — полуденный послеобеденный отдых.

...*точно под ударами вольтова столба.* — Т. е. под ударами электрического тока. Вольтов столб — первый химический источник тока, созданный в 1800 г. итальянским физиком и физиологом Алессандро Вольтой (1745—1827).

С. 21. — *Он, как известно, был почтен большою дружбой Иоанна Великодушного.* — См. коммент. к с. 8.

...*и когда печальная судьба обрекла его покровителя на заточение...* — Иоганн Фридрих I Великодушный (саксонский курфюрст с 1532 по 1547), участник политического объединения немецких протестантов, возникшего в 1531 г. в г. Шмалькальдене, в ходе войны 1546—1548 гг. с императором Карлом V оказался в плену у католиков. См. также коммент. к с. 8.

— *Лука Кранах один добровольно разделял неволю с Иоанном в течение пяти лет...* — См. коммент. к с. 8.

...*этюд нынешней знаменитой венской картины «Поцелуй Иуды»...* — Имеется в виду картина Кранаха «Взятие Христа под стражу» (1538), которую Лесков мог видеть во время поездки за границу в 1875 или 1884 г. в венском

Художественно-историческом музее. Она входила в живописную серию «Страсти Христовы», состоявшую из 9 картин, и была создана значительно раньше того периода, который Лукас Кранах провел в добровольном заключении в Аугсбурге и Инсбруке вместе с плененным саксонским курфюрстом Иоганном Фридрихом I Великодушным.

Муштабель (польск. musztabel) — легкая деревянная палочка с шариком на конце.

С этой картины Кранах начал ставить внизу монограммою сухого, тощего дракона в пятой манере. — Дракон, вернее, крылатая змея, был изображен на личном гербе Кранаха, пожалованном художнику в 1508 г. Имеется более десятка монограмм Кранаха, где присутствует изображение дракона. Речь идет о пятой по счету, которой Кранах пользовался не в конце, как утверждает Фебуфис, а в начале творческого пути.

С. 27. *...фразой из Гамлета...* — Герой Лескова прерывает восторженные речи друзей Фебуфиса цитатой из трагедии Шекспира «Гамлет»: «Вы поклянитесь на своих мечах!» (д. I, сц. 5).

С. 30. *Шнель-клёпс* (нем. Schnellklaps) — отбивное мясо.

С. 31. *Диорит* — камень вулканического происхождения серо-зеленого цвета.

С. 32. *Кроки* (фр. croquis) — эскиз, набросок.

С. 37. *Альмавива* — в первой четверти XIX в. мужской широкий плащ особого покроя.

С. 43. *...писал о столице герцога, о ее дорого стóящих, но не очень важных по монтировке музеях...* — Описание музеев, а также нравов и обычаев в столице герцога, приведенные в письме Пика, близки наблюдениям маркиза де Кюстина, автора популярной в XIX в. книги «La Russie en 1839» (Paris, 1842), с французским изданием которой Лесков вполне мог быть знаком. Тем не менее наблюдения де Кюстина, как нам представляется, переплетаются у Лескова с собственными представлениями о русской истории и носят творческий характер. Лесков не столько использует отдельные эпизоды из книги французского путешественника, сколько обрисовывает николаевскую эпоху в духе его размышлений о России. Более подробно параллели романа «Чертовы куклы» и книги де Кюстина «Россия в 1839 году» прослежены в статье: *Шелаева А. А.* «Я описываю увиденное по свежим следам»: Петербург Астольфа де Кюстина в контексте романа Н. С. Лескова «Чертовы куклы» // Путеводитель по городу: История и современность. Материалы научной конференции. Государственный музей истории Санкт-Петербурга. СПб., 2011. С. 40—48; см. также: *Šelaeva A.* Le roman de N. S. Leskov «Les poupées du diable»: une chronique de l'époque de Nicolas I^{er} // Littérature et histoire dans le domaine slave de XIX—XX siècles. Tolosæ, 2003. P. 69—74.

С. 44. *Мастихин* (итал. mestichino) — стальная (или роговая) пластинка в виде лопатки или ножа, которая применяется в масляной живописи для удаления красок с полотна, нанесения на холст грунта, а также для чистки палитры.

С. 45. *...пела, как Пери, одетая в белое платье, и, рыдая, прощалась с подругами детства...* — Пери — в иранской мифологии фантастическое существо

в виде прекрасной девушки. В восточной культуре пери воспринимались в качестве служительниц как добра, так и зла. В западноевропейской культурной традиции с пери сопоставимы феи. В русской романтической поэзии образ пери связан с религиозными и восточными мотивами (В. А. Жуковский, А. И. Подолинский, М. Ю. Лермонтов). Сравнивая юную Пеллегрину с пери, Лесков, вероятно, имеет в виду определенные стороны ее личности — коварство, способность к интриге, проявившие себя впоследствии в отношениях с Пиком и Фебуфисом, обманутых ее ангельской внешностью и нежным голосом. Вполне возможно, что это скрытая реминисценция стихотворения Лермонтова «Тамара» (1841), героиня которого пением завлекала мужчин в сети любовных игр:

На голос невидимой пери
Шел воин, купец и пастух,
Пред ним открывалися двери...

...сделать колкость черным королям Рима? — Имеется в виду высшее католическое духовенство, однако римский папа и кардиналы не носят одежду черного цвета.

...Иоанн с Лукой Кранахом? — См. коммент. к с. 8.

С. 48. *...рисовать торсы, вместо рыцарей в шлемах, и за это ~ посажен на военную гауптвахту...* — Возможно, намек на характерное для николаевской эпохи противодействие изучению и преподаванию античной истории в связи с тем, что республиканский способ правления древних греков и римлян противоречил абсолютистским идеалам монархической России.

С. 49. *«Сражение гуннов с римлянами»* — картина «Hunnenschlaft» немецкого художника Вильгельма Каульбаха (1805—1874), которую он писал в 1834—1837 гг.

...сюжет, «где человеческие характеры были бы выражены в борьбе с силой стихии»... — Видимо, Лесков имеет в виду картину К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» (1830—1833).

С. 51. *Артикль* (фр. article) — статья.

С. 53. *Бристоль* — сорт бумаги высокого качества (от названия английского города Бристоль в юго-западной части Англии).

С. 55. *...как сто тысяч братьев.* — Неточная цитата из «Гамлета» У. Шекспира (д. V, сц. 1).

С. 56. *...«прелестная Пеллегрина».* — Пеллегрина в переводе с испанского «Несравненная». Возможно, имя героини восходит к легенде о жемчужине необыкновенной формы, красоты и судьбы, привезенной в Россию из Индии в XVIII в.

...в миньонном роде (фр. mignonne). — Маленькая, миниатюрная, изящная.

С. 63. *Гелия* — от имени греческого бога солнца Гелиоса.

...она холодна, как Диана. — Диана — в римской мифологии богиня растительности. Считалась олицетворением луны.

С. 64. *...училась у Каульбаха.* — См. коммент. к с. 49.

...с надменным лицом, напоминающим лицо герцога Веллингтона... — Артур Уэлсли Веллингтон (1769—1852) — герцог, английский государственный деятель, фельдмаршал (1813), прославившийся военной победой над Наполеоном при Ватерлоо; среди англичан был известен под прозванием «Железный герцог».

Агенда (исп. agenda) — записная книжка.

С. 65. *Немезида* — в греческой мифологии богиня мести.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Черновая редакция

С. 74

С. 74. *Пожар, зажженный им в квартире...* — Комментируемый фрагмент рукописи непосредственно примыкает к 19-й и 20-й главам первой части романа, публиковавшейся в «Русской мысли» и последующих изданиях. Отдельные несовпадения в именах и событиях свидетельствуют о том, что публикуемый текст является продолжением не дошедшего до нас первоначального варианта «Чертовых кукол», который, по нашим предположениям, был утрачен в типографии «Русской мысли» (именно он послужил оригиналом для набора первой части романа, впоследствии претерпевшей значительную правку в корректуре).

С. 75. *...у баронессы Нелли...* — Баронесса Нелли при доработке романа получила имя Недда.

Герцог навестил Помону... — В предыдущих главах романа, опубликованных Лесковым в «Русской мысли», жена Фебуфиса носила имя Гелия. Помона — богиня плодов в римской мифологии.

С. 76. *...кого сочла нужным вспомянуть ему Немезида...* — С образом Немезиды в романе связана идея возмездия: как полагает сам герой Фебуфис, своими семейными бедами он расплачивается за свое отношение к Марчелле и Пику. Имя Пик, возможно, также восходит к римской мифологии (Пик — лесное божество, супруг Помоны, обладал даром провидения).

Она была фаворитка герцога... — Характер взаимоотношений герцога и Недды внушает мысль о том, что ее реальным прототипом могла быть возлюбленная Николая I фрейлина В. А. Нелидова. В воспоминаниях современников Нелидова предстает во многом похожей на созданный Лесковым образ. О положении Нелидовой при дворе см.: *Смирнова-Россет А. О.* Из записок дамы // Русский архив. 1882. Вып. 3. С. 146; Из переписки графов Нессельроде. Письмо графине М. Д. Нессельроде от 30 октября 1842 г. // Там же. 1910. Вып. 5. С. 133.

С. 77. *...с красным драконом на лучистом фоне. ~ Кранах заграждал вход Фебуфису.* — Дракон, вернее, крылатая змея, изображался на личном гербе художника Лукаса Кранаха.

...как саксонский король в доме Козель... — Это сравнение свидетельствует о том, что одним из литературных источников «Чертовых кукол» явился роман Ю. И. Крашевского «Фаворитки короля Августа II» (в русском переводе вышел в Петербурге в 1876 г. под редакцией Лескова). Есть предположение, что автор «Чертовых кукол» был не только редактором, но и переводчиком романа (см.: *Шелаева А. А.* Круг чтения Н. С. Лескова и его роман «Чертовы куклы» // Русская литература. 1976. № 1. С. 148—153; *Лавринец П. М.* Н. С. Лесков и польская литература: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1992. С. 17—18). Это впечатление усиливается, если принять во внимание портретное сходство жены Фебуфиса с главной героиней романа «Фаворитки короля Августа II» Анной Гойм (графиней Козель), а также сходство отдельных черт их характера и привычек. Так, героиня Лескова, как и героиня Крашевского, носит в кармане щегольской пистолет и появляется в обществе в сопровождении огромного пса (VIII, 561). Тема «сексуальной тирании», возникающая в романе, рассмотрена в работе английского исследователя Маклина, см.: *McLean H.* Nikolai Leskov. The Man and His Art. Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press, 1977. P. 503—510.

С. 78. *...проводить ночь на оттомане...* — Оттоман (оттоманка — от тур. имени Осман, или Оттоман) — название дивана в восточном (турецком) стиле.

С. 86. *Вы настоящая Шахерезада...* — Шахерезада (Шехерезада) — героиня арабского средневекового сборника «Тысяча и одна ночь», своими искусными рассказами царю Шахрияру спасавшая от казни царских девушек-наложниц. В переносном смысле — красноречивый, находчивый человек, способный вести длительную беседу.

...вы такой философ, и рассказчик, и изобретатель! — Возможно, намек на князя Алексея Федоровича Орлова (1786—1861), с 1844 г. шефа жандармов и начальника III Отделения, который мог быть одним из прототипов «полицейского директора». Он обладал удивительным даром рассказчика. П. А. Вяземский вспоминал: «Орлов знал, так сказать, наизусть царствования императора Александра I и Николая I ⟨...⟩ Сведения его были исторические и преимущественно анекдотические, общие, гласные, частные и подноготные ⟨...⟩ Он рассказывал мастерски и охотно, даже иногда нараспашку» (*Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1925. С. 130).

...как ни добирался с божьего позволения до Иова ~ действительным средством признал добраться до его кожи!.. — Согласно библейскому рассказу, Бог разрешил сатане испытать благочестие непорочного и богобоязненного богача Иова. Никакие ниспосланные ему испытания, однако, не смогли поколебать веру Иова в Бога и в его благость: ни потеря имущества, ни смерть всех его сыновей и дочерей. Лишь будучи пораженным проказой, Иов в отчаянии проклял день, в который он родился, но затем раскаялся в своих словах и был благословлен Богом, который вернул ему его богатство, дал ему новое потомство и долгие годы жизни (Иов. 1—42; рассказ о поражении Иова проказой: Иов. 2 : 4—7).

С. 90. *Знаете, что Вольтер говорил про самую хорошенькую девушку?..* — Имеется в виду ставшая поговоркой цитата из драмы Альфреда

де Мюссе «Каннозин» («Cannosine», 1856): «самая хорошенькая девушка не может дать больше того, что она имеет» (акт III, сц. 3).

С. 93. ...*Мы живем, пока нас любят, Мы любимы быть хотим!* — Слова из популярного в XIX в. дуэта Памины и Паппагено «Когда чуть-чуть влюблен мужчина» из оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта», либретто Э. Шиканедера (1791). В подстрочном переводе с немецкого: «Мы хотим наслаждаться любовью; именно благодаря одной любви мы и живем».

...*возможно Горе любви позабыть!* — Источник цитаты установить не удалось.

С. 94. *У французов завелась мода помогать женщинам литературным путем. ~ «Rose et Blanche», «Indiane», «Valentine»...* — Речь идет о романах Жорж Санд (наст. имя и фам. Аврора Дюдеван, 1804—1876) «Роз и Бланш» (1831; создан в соавторстве с Л.-С.-Ж. Сандо), «Индиана» (1832) и «Валентина» (1832).

...*продолжала рисовать позабористее картинки на табакерках.* — В молодости Жорж Санд была художницей.

Госпожа Дюдеван против этого что-то немует!.. — Т. е. говорит тихо, глухо, неясно (от глагола «немовать»).

С. 96. *Над нею смеялись, называли ее Пенелопою...* — Пенелопа — верная жена Одиссея, героя древнегреческой эпической поэмы, многие годы терпеливо ожидавшая возвращения своего мужа из странствий.

...*премудрая крыса Онуфрий...* — Персонаж незавершенной стихотворной повести В. А. Жуковского «Война мышей и лягушек» (1831), представляющей собой вольный перевод немецкой народной книги Георга Ролленгагена «Froschmäusler» («Фрошмейзелер», 1595).

С. 97. ...*когда она здесь умерла или была задушена...* — Описание замка и рассказ о королеве, якобы умерщвленной в его стенах, — реминисценция из романа Ю. И. Крашевского «Фаворитки короля Августа II» (см. коммент. к с. 77). Лесков заимствовал из романа и другие детали, главным образом описание великосветского быта.

С. 103. «*Происшествия в замке Мадзини*» — неточное русское название романа английской писательницы Анны Радклиф (1764—1823) «Юлия, или Подземелье Мадзини» (в оригинале: «A Sicilian Romance», 1790).

С. 110. ...*я думала, что все мужчины так отвратительно пахнут*». — Литературным источником этого анекдота мог послужить рассказ О. де Бальзака «Замужество красавицы Империи» (1831), вошедший в цикл «Озорные рассказы»: «Итак, запомните: жены добродетельные и знатнейшие дамы не ведают, что такое мужчины, ибо придерживаются одного, подобно королеве Франции, которая полагала, что у всех мужчин дурно пахнет из носа, ибо этим свойством отличался король. Но столь искушенная куртизанка, как Империя, не ошибалась в мужчинах, ибо переведала их на своему веку изрядное число» (*Бальзак О.* Собр. соч.: В 15 т. Т. 14. М., 1955. С. 218).

С. 111. *Серник* — лучина с серой на кончике (использовалась для зажигания свеч и светильников).

...она, как опытный игрок, тасовала карты ~ сейчас же без дальнейшего раздумья срезала талию и готова метать ва-банк всем понтерам. — Талия (игорн.) — один промет всей колоды до конца или до срыва банка в азартной карточной игре, когда один (банкир, банкомет) держит банк, отвечает на известную сумму, а другие (понтеры) ставят деньги на любую карту. Метать ва-банк — ставить на все деньги, находящиеся в банке, т. е. действовать, рискуя всем.

С. 112. *...пошла с какой-то огромной элевацией.* — Элевация (фр. élévation — приподнятость) — здесь: горделивость.

...и все офицеры тотчас же переженились там на японках... — Возможно, глухой намек на кругосветное путешествие под начальством адмирала Е. В. Путятина (1804—1883) в 1852—1855 гг. Его экспедиция потерпела бедствие у берегов Японии.

С. 119. *...прочитанные мною романы об «абандонах»...* — Т. е. романы о брошенных женщинах; абандона (фр. abandonnée) — покинутая, оставленная.

С. 129. *...которая впервые соединяла нашу столицу с чужими городами.* — Если датировать события так, как подсказывает Лесков, то время действия относится к 1851 г., когда была закончена постройка Николаевской железной дороги. Но, скорее всего, писатель стремится спутать хронологию событий в романе. Лесков пользовался этим приемом во всех редакциях «Чертовых кукол» (см.: *Елеонский С. Ф.* Николай Первый и Карл Брюллов в «Чертовых куклах» Н. С. Лескова // Печать и революция. 1928. № 8. С. 41—57).

Бангоф — вокзал (нем. Bahnhof).

С. 130. — *Давно забытый мир во мне записка Донны Анны пробудила: я к ней влеком — она моею будет.* — Неточная цитата из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан» (1859—1861). Лесков объединил две измененные строки из монолога Дон Жуана: «Опомнись, дон Жуан! Какое чувство...» и строку из середины того же монолога (*Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1980. С. 29, 33).

С. 132. *...в какой его видели при истории с Иовом, и выпросил себе право коснуться ее плоти.* — См. коммент. к с. 86.

С. 134. *...к загородной даче, принадлежащей институту.* — Возможно, к дому, принадлежащему полицейскому ведомству.

С. 135. *...ему вовсе даже и не нравилась Калипсо Пика...* — В опубликованных в «Русской мысли» главах романа Лесков дал героине другое имя — Пеллегрина. Калипсо («та, что скрывает») — имя нимфы, семь лет скрывавшей на своем острове Огигия Одиссея.

С. 137. *Это многим стоило дорого, — стоило чести и жизни...* — Учитывая указание автора на связь сюжета романа с реальными историческими событиями (XI, 489), не исключено, что в них можно усмотреть намек на обстоятельства гибели А. С. Пушкина.

Фебуфис ему не нужен, как Кранах Филиппу... — В 1504 г. Лукас Кранах (см. коммент. к с. 8) поступил в Виттенберге на службу при саксонском дворе и был придворным живописцем при трех курфюрстах: Фридрихе III Мудром,

Иоганне Постоянном и Иоганне Фридрихе I Великодушном. Проводя параллель между взаимоотношениями герцога и Фебуфиса, с одной стороны, и саксонских курфюрстов и Кранаха, который был для своих покровителей также советником и камердинером, с другой (см.: *Либман М. Я.* Дюрер и его эпоха. М., 1972. С. 124), — Лесков неоднократно смешивал имена курфюрстов, объединяя их в собирательный образ, в данном случае обозначив их именем Филипп.

С. 141. *...вдали за рекою на башне пробили часы.* — Вероятнее всего, Лесков заставил своего героя стоять под теми окнами Зимнего дворца, которые выходят на набережную, и слушать бой часов Петропавловской крепости.

С. 142. *Преферанс* (фр. préférence — предпочтение) — здесь: превосходство.

...работал с надеждой превзойти всех своих «римлян». — Речь идет о друзьях Фебуфиса Маке и Пике, оставшихся в Риме, и кружке художников, группировавшемся вокруг них.

Вечный Жид закивал головою у Берингова пролива, и с таянием снегов в Европе появилась холера. ~ близко касалась родственных чувств самого герцога... — Здесь, видимо, следует видеть намек на факты реальной истории. 7 (19) июня 1831 г. заболел холерой и через две недели умер брат Николая I великий князь Константин Павлович (см.: *Шильдер Н.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 2. С. 362). Вечный жид (Агасфер) — мифологический персонаж, который, согласно средневековой христианской легенде, обречен на вечные скитания до второго пришествия Христа за отказ в помощи Спасителю во время его крестного пути на Голгофу. Упоминание Берингова пролива прямо указывает на вспышку холеры в России.

С. 143. *Кто холеры не боится, того холера боится.* — Здесь и далее Лесков следует историческим фактам, пародируя, возможно, официальный документ, распространенный в Петербурге во время холерной эпидемии (1830—1831) — «Наставление к распознаванию признаков холеры, предохранению от оной и к первоначальному ея лечению», где жителям города запрещалось предаваться гневу, страху и унынию (*Шильдер Н. К.* Император Николай Первый... С. 368).

...сравнивали ~ с «медным змеем в пустыне» ~ как не умирали те, кто смотрел на Ааронова змея... — Лесков допустил неточность: «медного змея» сделал не Аарон, а Моисей в пустыне при исходе евреев из Египта, чтобы спасти народ от смерти при укусах ядовитых змей (Чис. 21 : 8—9).

— *Кураж!..* (фр. courage — смелость, отвага) — здесь: не унывать!

С. 144. *...выведенного посреди ленты огненного дракона.* — См. коммент. к с. 21.

С. 145. *...слыл за образец точности в исполнении всяких правил о форме...* — Скорее всего, иронический намек на деятельность Николая I по созданию форменного платья для военных и гражданских чинов в России. О желании ввести форму для художников герцог заявляет Фебуфису сразу после его переселения во владения герцога (VIII, 538).

С. 146. *...«не человек создан для субботы, а суббота для человека...»* — Ср.: Мк. 2 : 27.

Веселитесь... Дети Иова веселились. — Ср.: «Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними» (Иов. 1 : 4).

С. 151. *Лисабон* (Lisabon) — написание названия столицы Португалии, принятое в XIX в. Современное написание — Лиссабон.

С. 152. *...всего сильнее уязвить Тарквиния.* — Фебуфис сравнивает герцога с последним царем Древнего Рима Тарквинием Гордым (VI в. до н. э.), который, согласно преданию, отличался изощренной жестокостью и был изгнан из Рима.

С. 153. *Рейдкнехт* — наемный кавалерист (от англ.-нем. Raid — (кавалерийский) рейд и голл.-нем. Knecht — солдат).

С. 157. *...заряженный кухенрейторовский пистолет...* — Т. е. пистолет, изготовленный в мастерских немецких мастеров XVII—XIX вв. Кухенрейторов в Регенсбурге.

С. 159. *Сигнатура* — аптечный ярлычок на отпускаемых лекарствах с его названием или именем больного, а также указанием порядка его приема.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С. 160

С. 163. *Ты его и исполнил, а я исполняю свой...* — Стиль резолюций и высказываний герцога имитирует манеру Николая I. Иногда Лесков использовал и подлинные слова императора, слегка их перефразируя: «Вы исполнили свой долг. Я иду исполнять свой», — так Николай I прервал лейб-медиков, пытавшихся уговорить его, тяжело больного, не принимать участия в смотре войск (см.: *Блудов Д.* Последние часы жизни императора Николая Первого. СПб., 1855. С. 8).

...верую с Стерном, что „все возможно в природе"... — Это высказывание, перекликающееся с тем фрагментом хроники «Смех и горе», где Лесков излагал взгляды английского писателя Л. Стерна (Sterne; 1713—1768) (III, 485), восходит, вероятно, к произведению Р. Гриффита «Коран, или Жизнь, характер и чувства», которое приписывалось Стерну и было опубликовано в 1770 г. после его смерти. В своих произведениях Лесков неоднократно цитировал Стерна. В его библиотеке хранилось «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии Лаврентия (Лоуренса) Стерна» (СПб., б. г.) с отчеркнутыми местами (см.: Лит. наследство. Т. 87. С. 146).

С. 167. *...строго было запрещено в столице герцога.* — В Петербурге до 1865 г. действовал закон, воспрещавший курение на улицах города. Эта аллюзия призвана лишний раз напомнить читателю, что действие происходит в России.

С. 171. *...от всего вашего... холопом пахнет!* — По преданию, эти слова принадлежат К. П. Брюллову, который, покидая Россию в 1849 г., якобы искупался в пограничной реке. См. об этом: *Амфитеатров А. В.* Пути русского ис-

кусства // Амфитеатров А. В. Собр. соч.: В 24 т. Т. 21. СПб., 1913. С. 285—340.

С. 172. *...достопочтенный Беда.* — Лесков называет придворного советника герцога именем англосаксонского историка, ученого монаха Беды Достопочтенного (ок. 673—735), автора «Церковной истории народа англов», где основное внимание уделяется конфликту между римским и кельтским христианством. Упоминается также в статье Лескова «Пресыщение знатностью» (1888).

С. 178. *Ризотто* — итальянское блюдо из риса.

Понте-кале — сорт виноградного вина.

С. 180. *...я стал буддистом. Я не привязан к жизни... ~ все простил и все позабыл и... я счастлив...* — Буддисты — приверженцы учения Будды, основателя буддизма (VI—V вв. до н. э.) — полагают, что существуют страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему. И страдание, и освобождение — одновременно и субъективное состояние, и некая космическая реальность. Страдание, связанное, как верят буддисты, с пульсацией психофизических элементов (дхарм) жизнедеятельности личности, — сродни желанию. Освобождение, как верят буддисты, — это достижение состояния несвязанности личности с внешним миром и в то же время прекращение волнения дхарм, которые, являясь первичными элементами бытия, вечны. Они постоянно появляются и исчезают. Их волнение, согласно буддийским верованиям, и есть источник страдания, избавление от которого является стремлением всякого человека (см. также коммент. к с. 223).

С. 181. *...не называл его Дон Кихотом...* — Вероятно, имя героя романа Сервантеса появляется у Лескова как отголосок статьи И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» (1859). Понимая столкновение Мака и Фебуфиса как некий идеологический конфликт, Лесков, однако, не проводит прямых параллелей между ними и этими образами мировой культуры.

С. 182. *...напишет пророка, укоряющего Давида за то, что ~ взял у человека любимую овцу...* — Ср.: 2 Цар. 12 : 1—10. В Библии рассказывается о богатом человеке, который, имея много скота, забрал у бедняка его единственную овцу и накормил ею странника, о чем Бог сообщил царю Давиду через пророка Нафана. На возмущение Давида поступком богача пророк обличил самого Давида в содеянном им грехе по отношению к своему военачальнику Урии и его жене Вирсавии.

С. 186. *Она в той же манере, как «Поцелуй Иуды».* — Речь идет о картине «Взятие под стражу» (1538), имевшей монограмму Кранаха, но, скорее всего, выполненной в его мастерской по образцу мастера и при участии его сына — Кранаха Младшего. Картина написана на евангельский сюжет о предательстве Иуды, приведшего в Гефсиманский сад, где находился Иисус с учениками, людей с мечами и кольями, чтобы те схватили Спасителя и доставили его во двор первосвященника. Перед этим Иуда целует Иисуса, чтобы указать его пришедшим (Мф. 26 : 47—49). Этот сюжет в первой части романа Лесков связывает с фактами биографии Кранаха и его последнего покровителя Иоганна Фридриха Великодушного, плененного католиками и не вызволенного из этого плена его прибли-

женными, которые предали курфюрста, как Иуда Христа. Картина выполнена в реалистической манере, но образы Иуды и стражников шаржированы. Картина входила в живописную серию «Страсти Христовы» (1537—1538) и была предназначена для украшения алтаря Берлинского собора. В 1875 г., находясь в Вене, Лесков мог видеть ее в Венском Художественно-историческом музее, поэтому в опубликованных главах он называет ее «нынешней знаменитой венской картиной» (VIII, 505). См.: *Friedländer M. J., Rosenberg J.* Die Gemälde von Lucas Cranach. Berlin, 1932. S. 84; Lucas Cranach der Ältere und seine Werkstatt. Kunsthistorisches Museum. Wien, 1972.

С. 187. *Альбрехт Дюрер* (1471—1528) — немецкий художник эпохи Возрождения, автор многочисленных живописных полотен и множества гравюр на дереве и меди.

...картина писана раньше 1493 года. — То есть раньше, чем он уехал с Фридрихом. — 1493 год не отмечен в творческой биографии Кранаха никакими особыми событиями. Более того, в это время он еще не известен как художник. См. также коммент. к с. 8.

...когда я писал его в «Loge de Lisisca». — Речь идет о картине Фебуфиса, названной в первой части романа «Messaline dans la loge de Lisisca» (VIII, 503). В указанном издании предложен следующий перевод названия картины: «Мессалина в хижине Лициска», что вызывает сомнения, так как Лесков имел в виду Валерию Мессалину, жену римского императора Клавдия (подробнее см. в коммент. к с. 19). См. также: *Шелаева А. А.* Лесков и Прудон // Русская литература. 1982. № 2. С. 133.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 189

С. 196. *...и вдруг как импетом...* — Т. е. стремительно. Импет (лат. impetus) — удар, напор, ударная сила.

...прочитала «Ave Maria»... — «Радуйся, Мария» (лат.) — начальные слова католической молитвы.

С. 198. *...было с Марией Антуанеттой.* — История внезапного поседения Марии Антуанетты (1755—1793), королевы Франции — один из излюбленных исторических эпизодов в произведениях Лескова («Островитяне», «Некуда»).

С. 200. *Cui bono?* — Латинское изречение, часто встречающееся в публицистике 1860—1880-х годов. Источник — «Филиппики» Цицерона (II, 14).

Ejusdem farinae — латинское выражение, восходящее к трактату Сенеки «О благодеяниях» (III, 9).

С. 201. *...возводилась художественная каплица.* — Т. е. часовня, молельня.

С. 205. *Зуав* (фр. zouave) — пехотинец (солдат).

Эминенция (фр. éminence) — преосвященство.

С. 207. *...с телом, с душою и с дыханием жизни в ноздрях...* — Несколько видоизмененная цитата из Библии. Ср.: Быт. 7 : 22; Ис. 2 : 22.

...Corruptio optimi pessima! — Это латинское выражение Лесков цитирует также в очерке «Архиерейские объезды».

...кто может сноситься с Джузеппе... — Речь идет о Джузеппе Гарибальди, герое национально-освободительного движения в Италии.

С. 210—211. *...утрясенною полною мерою...* — Ср.: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше...» (Лк. 6 : 38).

С. 211. *...библейские слова: «От ядущаго ядомое изыде, и от крепкого изыде сладкое».* — Суд. 14 : 14. В синодальном переводе Библии: «из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое».

С. 212. *...как автор хотел показать в своем эпиграфе...* — Этот эпиграф не сохранился, поскольку первый вариант начала романа утрачен, а опубликованные в «Русской мысли» главы вышли в свет без эпиграфа.

НАБРОСКИ ПЕРВЫХ ГЛАВ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»

С. 215

Источники текста: РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 9. Лесков Н. С. «Чертовы куклы»: Главы из неоконченного романа. Ч. 1. Автограф.[1] В составе единицы хранения публикуемые ниже наброски первых глав занимают 48 листов с оборотом. Обильная авторская правка в тексте и на полях является доказательством того, что эти наброски — черновики рассказа, повести или романа (как следует из различных жанровых определений в подзаголовках) под значимым для Лескова и общим для них названием «Чертовы куклы» («Чертова кукла» в первом по расположению в единице хранения варианте). Содержание набросков позволяет предположить, что к обозначенному перед каждым из них заглавию «Чертовы куклы» Лесков подбирает сюжет из русской современной ему жизни таким образом, чтобы одного из героев каждого из набросков наделить чертами личности типа «чертовой куклы», которые он впервые определяет в наброске «Чертовы куклы. Фантастический рассказ» («Нас было три товарища, и мы были не только товарищи, но и друзья...») в характеристике Аркадия Брасова, данной ему рассказчиком. Наброски являются автографом, написаны рукой Н. С. Лескова на разных сортах бумаги в клетку и линейку, что свидетельствует о том, что эти тексты вышли из-под пера Лескова не одновременно, а в разные годы. Подтверждением этому служит также и то, что бумага отличается по цвету — в зависи-

[1] Частичная публикация этих рукописных материалов была осуществлена французским исследователем творчества Н. С. Лескова Ж.-К. Маркаде в журнале Revue des études slaves. 1986. Vol. LVIII. № 3. P. 492—502. (Номер, посвященный Николаю Семеновичу Лескову, 1831—1895).

мости от степени старения. В связи с этим архивное обозначение крайних дат создания рукописей, включенных в единицу хранения, «1889—1890» вызывает сомнение и противоречит авторским свидетельствам: как следует из писем Н. С. Лескова, его работа над произведением под названием «Чертовы куклы» началась уже в 1871 г. (X, 327). Косвенным доказательством того, что наброски создавались в 1870-е годы, может служить также содержание двух последних, связанное с выходом в свет романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1875). Вставки на полях каждого из набросков и места их расположения в тексте четко обозначены корректорскими знаками. На полях первого листа единственного неозаглавленного наброска («Полная луна, высоко стоя на безоблачном летнем небе...») (Л. 13), где вместо названия стоят три звездочки и римская цифра I, Лесков ставит большую букву «Ч», которая, видимо, является сокращением заглавия «Чертовы куклы» и буквенным символом, указывающим на принадлежность данного текста к замыслу произведения под этим названием. Имеет смысл также отметить, что на полях наброска «Чертовы куклы. Фантастическая повесть», который начинается словами «В небольшом кружке русских, собравшихся на иностранных целебных водах...», вертикально по отношению к тексту пять раз написано слово «Пролог». Этот набросок и следующий за ним — «Чертовы куклы. Фантастическая повесть (из рассказов отставного флота капитана Беринтова)» — объединяет общая завязка сюжета — эпизод чтения журнальной публикации «нового романа графа Толстого» (имеется в виду «Анна Каренина»), вызвавшего в «небольшом кружке русских», оказавшихся в этот момент на заграничных минеральных водах, споры вокруг проблемы брака и женского вопроса в России. Эти наброски можно датировать по времени выхода романа Л. Н. Толстого, а также по датам пребывания Лескова на курорте в Мариенбаде 1875 годом.

Остальные наброски первых глав под названием «Чертовы куклы» трудно поддаются датировке, но совершенно очевидно, что сюжеты многих из них питают семейные воспоминания Лескова — орловского и киевского периодов. В связи с последним обстоятельством невозможно установить реальную последовательность их создания. Систематизация этих творческих рукописей Лескова в архивной единице хранения представляется в высшей степени условной. Для данного издания нами избран иной принцип определения хронологической последовательности набросков внутри раздела. Они публикуются двумя блоками, которым предшествует набросок «Чертова кукла. Фантастическая повесть». Скорее всего, сюжет этого наброска связан с воспоминаниями автора о его «мелкопоместном» детстве. Первый блок объединяет три наброска, связанные между собой историей семейства Брасовых и общими героями, среди которых — Адам Безбедович, Аркадий и Прасковья Брасовы, Александр Яковлевич Фрич. Предложенная последовательность расположения текстов обусловлена тем, что позволяет предположить возможное развитие темы «чертовой куклы», связанной с отдельными персонажами из богатого семейства Брасовых, в задуманном, но не осуществленном Лесковым произведении. Второй блок включает два наброска, начинающихся эпизодом чтения романа «Анна Каренина» в кружке русских. Они также объе-

динены общим героем — отставным флота капитаном Беринтовым, социально-психологический тип которого (Лесков представляет его как «человека без направления») автор рассматривает как некий антипод личности, меняющей свои убеждения под влиянием господствующих направлений и приоритетов в общественной жизни. Анализируя содержание перечисленных набросков под названием «Чертовы куклы» в контексте творчества Н. С. Лескова 1880-х годов, можно без труда заметить их сюжетные переклички с другими творческими замыслами писателя, — не завершенными публикацией романами «Соколий перелет»[2] и «Незаметный след»[3] и относящимися к ним рукописными материалами. Рукописные зачины первых глав «Чертовых кукол», в которых автор ведет упорный поиск нужной ему для осуществления замысла повествовательной формы, и неосуществленные, но начатые публикацией романы «Соколий перелет» и «Незаметный след» также объединены общими героями. Это Адам Безбедович, представители большого дворянского семейства Брасовых, в том числе девушка с редким именем Гоиль, англичанка мисс Сарра, морской офицер, получивший серьезное ранение в Крымскую войну. Сюжетные соприкосновения перечисленных творческих замыслов Лескова подробно освещены в публикации К. П. Богаевской в 87 томе «Литературного наследства»[4] и монографии французского исследователя творчества Н. С. Лескова Жана-Клода Маркаде, вышедшей в русском переводе в 2006 г.[5] Попытке этих исследователей разобраться в сложном вопросе о принадлежности названных рукописных набросков к тому или иному неосуществленному творческому замыслу и хронологической последовательности их появления из-под пера Лескова уже предшествовала статья И. В. Столяровой и автора настоящей публикации «К творческой истории романа Н. С. Лескова „Чертовы куклы"»,[6] в которой авторы связывали их появление с работой Лескова над произведением под этим названием, появившемся в журнале «Русская мысль» в 1890 г. К. П. Богаевская писала по этому поводу: «Мы не согласны с точкой зрения И. В. Столяровой и А. А. Шелаевой, которые в своей превосходной статье о продолжении романа о Февуфисе называют наброски 1870-х годов „первыми подступами" к роману „Чертовы куклы", опубликованному в 1890 г.».[7]

Маркаде, солидаризуясь с К. П. Богаевской, высказывается в пользу изложенной ею точки зрения и настаивает на отсутствии какой-либо связи набросков под названием «Чертовы куклы» с романом, первая часть которого была опубли-

---

[2] Газета Гатцука. 1883. № 7. С. 139—144; № 8. С. 162—164; № 9. С. 178—179; № 10. С. 194—198.

[3] Новь. 1884. № 1 и № 2.

[4] Н. С. Лесков. Из творческих рукописей (Незавершенные произведения) / Вступ. ст. и публ. К. П. Богаевской // Лит. наследство. Т. 87. Из истории русской литературы и общественной мысли 1860—1890-х годов. М.: Наука, 1977. С. 36—62.

[5] *Маркаде Ж.-К.* Творчество Н. С. Лескова. Романы и хроники. СПб., «Академический проект», 2006. С. 155—176.

[6] *Столярова И. В.*, *Шелаева А. А.* К творческой истории романа Н. С. Лескова «Чертовы куклы» // Русская литература. 1971. № 3. С. 102—113.

[7] Лит. наследство. Т. 87. С. 45.

кована в 1890 г. Пытаясь опровергнуть мнение авторов статьи о творческой истории «Чертовых кукол», полагавших, что, «несмотря на различия между редакциями, в них нетрудно обнаружить единство художественной мысли, сохраняемое на всех стадиях этой многолетней работы», Ж.-К. Маркаде также ссылается на автора неопубликованного обзора лесковских текстов, хранящихся в РГАЛИ, Д. С. Дарского. Этот исследователь рукописного наследия Н. С. Лескова неосмотрительно утверждал, что восемь вариантов под названием «Чертовы куклы» «совершенно различны» и обнаруживают «полное своеобразие в отношении и места, и времени, и действующих лиц, и, видимо, даже в сюжетном отношении»,[8] не замечая при этом, что восьмой вариант соединяет в себе вторую, третью и четвертую части опубликованного в «Русской мысли» романа и завершает его сюжет полностью, о чем свидетельствует утверждение автора на последней странице рукописи. Научная «близорукость» Д. С. Дарского, скорее всего, и стала причиной того, что окончание романа было только в 1969 г. обнаружено А. А. Шелаевой среди недостаточно точно описанных творческих рукописей Лескова и с этого момента стало изучаться. Кроме того, следует заметить, что, будучи последовательным оппонентом И. В. Столяровой и А. А. Шелаевой в спорном вопросе о рукописных вариантах «Чертовых кукол», Маркаде все-таки постепенно приближается к пониманию их роли в процессе развития замысла романа, важного и во многом итогового в творчестве Лескова. В нем во всей полноте обнаруживают себя не только эстетические взгляды писателя, которые он декларирует, но также завершается сквозная для многих замыслов и произведений Лескова тема «чертовой куклы». Явно противореча своим первоначальным утверждениям о полном отличии вариантов под названием «Чертовы куклы» от романа под тем же названием, Маркаде склонен видеть их близость в постановке главной, или титульной темы. Он пишет, что «во втором варианте уже появляется, как это верно отметили И. В. Столярова и А. А. Шелаева, одна из главных тем будущего романа „Чертовы куклы", а именно тема самих „чертовых кукол", т. е. людей, которые являются игрушками злого духа и лишены всякой внутренней гармонии. Запоминающийся тип одного из таких извращенных существ, как называет их сам Лесков, он создал в образе Иосафа Висленева из романа „На ножах". Адам Львович Безбедович предсказывает (как это сделал позже Мак по поводу Фебуфиса), что Брасов станет „чертовой куклой", и объясняет, что́ понимает под этим...».[9] Таким образом, обвинение в том, что литературоведы И. В. Столярова и А. А. Шелаева «любой ценой» стремятся связать текст романа «Чертовы куклы» с ранними набросками под этим же названием, прозвучавшее в монографии Маркаде, нельзя назвать оправданным.

---

[8] *Дарский Д. С.* Обзор архива Н. С. Лескова // РГАЛИ. Ф. 2113. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 11.

[9] *Маркаде Ж.-К.* Указ. соч. С. 164.

ЧЕРТОВА КУКЛА

Фантастическая повесть

(«Мы обедали часом позже обыкновенного...»)

С. 215

С. 215. *...небольшого сельского «мелкопоместного» домика...* — Т. е. дома, принадлежавшего дворянину, владевшему небольшим поместьем. Мелкопоместное дворянство составляло около 80 % численности всего поместного дворянства в России. До настоящего времени оно не являлось предметом специального исследования ни историками, ни экономистами. Уклад жизни мелкопоместного дворянства мало чем отличался от крестьянского. Мелкопоместные дворяне обычно владели не более чем двадцатью ревизскими душами. Жизнь мелкопоместного дворянства получила отражение в очерках С. Н. Терпигорева (см.: *Терпигорев С. Н.* С простым взглядом / Сост., послесл. и примеч. А. А. Шелаевой. М., 1990. С. 4—347). По землевладению границы страт (мелкое, среднее, крупное) установлены А. М. Амфимовым (*Амфимов А. М.* Крупное помещичье хозяйство в России. М., 1969. С. 21).

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Фантастический рассказ

(«Нас было три товарища, и мы были не только товарищи, но и друзья...»)

С. 216

С. 216. *Вы не то делаете, что хотели бы...* — Эпиграф взят Лесковым из Послания святого апостола Павла к Галатам. Его выбор свидетельствует о том, что в ранних набросках под общим названием «Чертовы куклы» автора интересовала тема противления злу, связанному в христианском сознании с кознями дьявола. Если реконструировать евангельский текст, то такая реконструкция прояснит творческие интенции Лескова, проявившиеся в этом и других набросках: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти; ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что́ хотели бы» (Гал. 5 : 16—17).

Это было в 1851 году, стало быть, незадолго перед Крымскою войною и последовавшими за нею большой важности событиями. — Крымская война (1853—1856) — война России с коалицией стран, в которую входили Османская империя, Англия, Франция и Королевство Сардиния, неудачная для России. В самом конце ее последовала смерть императора Николая I (1855), а затем эпоха реформ его преемника на троне Александра II (1855—1881).

...который служил советником в палате... — Отец героя, Коренева, как и отец Н. С. Лескова, служил советником Палаты уголовного суда, которые суще-

ствовали в России с 1802 г. Нельзя не отметить, что Лесков наделяет героя, от лица которого ведется повествование, автобиографическими чертами.

...сын ссыльного униатского попа... — Т. е. сын греко-католического священника униатской церкви, основанной Брестской унией в 1596 г. Церковь находилась под властью Римского папы, признавала основные догматы католичества, но сохраняла верность православным обрядам.

Мы занимали небольшой деревянный флигель внутри двора... — Скорее всего, герои Лескова поступили в Киевский университет св. Владимира, основанный в 1834 г., а не в Санкт-Петербургский, как считает В. Гебель (см.: *Гебель В.* Н. С. Лесков: В творческой лаборатории. М., 1945. С. 126). В пользу нашего предположения говорят особенности быта лесковских героев — студентов, не характерные для столичной городской среды, а также украинское имя хозяйки и то обстоятельство, что герои происходят из одной местности, расположенной на юге Российской империи. Этот вопрос имеет принципиальный характер, так как влияет на наши представления о последовательности создания набросков первых глав под названием «Чертовы куклы» и их датировку. Указав на этот набросок как на последний по времени создания, В. Гебель на этом формальном основании сближает его с романом, опубликованным в 1890 г. в «Русской мысли», содержание которого никак не соприкасается с описанием провинциальной жизни в наброске о трех товарищах-студентах. Следует также отметить, что на Киевский университет указывают и факты из биографии самого Н. С. Лескова. В киевский период жизни (1850—1861) начинающий писатель много общался со студентами и профессорами Киевского университета, в котором его дядя С. П. Алферьев был преподавателем, а сам Лесков посещал отдельные лекции по ряду наук, в том числе по истории и философии.

С. 217—218. *Начну с Платона Николаевича ~ Брат Пимена...* — Герой наброска, носивший имя Пимен, в отдельных местах рукописи назван Лесковым Платоном или Лукою.

С. 218. *...в самый блестящий гвардейский полк...* — Гвардия была учреждена в 1700 г. царем Петром I и всегда составляла привилегированную часть русских войск. Гвардейские полки были хорошо обучены, экипированы, традиционно формировались из дворян и рассматривались в русском обществе как престижное место службы для дворянской молодежи.

С. 219. *...отец мой вышел из духовного звания.* — Происхождение Коренева еще раз подчеркивает автобиографичность этого образа. Отец писателя, Семен Дмитриевич Лесков (1789—1848), был сыном священника села Лески Карачевского уезда Орловской губернии, откуда и пошла родовая фамилия (XI, 8—9).

...который не поладил в чем-то с Симашкою во время присоединения униатов к православию... — В этом же написании фамилия Семашко упоминается в незавершенных романах Лескова «Незаметный след» и «Соколий перелет». Иос. Иос. Семашко (1799—1868), митрополит Иосиф, проводил русификаторскую политику и был известен своей ролью в насильственном воссоединении униатской церкви с православной в результате Акта о присоединении, принятого в

1839 г. на соборе в Полоцке. Отец Безбедовича, видимо, выступал за сохранение унии и разрешение пользоваться униатскими службами, что и послужило основанием для репрессий со стороны церковного начальства.

...переделали его крестное имя Адам Львович в «Мадам Львович»... — Адам Львович Безбедович — любимый герой Лескова, фигурирующий в его трех незавершенных замыслах конца 1870—начала 1880-х гг. «Чертовы куклы», «Соколий перелет» и «Незаметный след». Во всех этих произведениях он наделен одинаковой внешностью, биографией и умением трактовать чужие характеры. Лесков изображает его человеком с прекрасной душой и контрастной этому внутреннему качеству уродливой внешностью. Его внешнее сходство с женщиной из простонародья стало основанием для прозвища — Мадам Львович. С этим образом у Лескова связано развитие темы «чертовой куклы». В «Сокольем перелете» Безбедович говорит своему собеседнику: «Что это, по-твоему, такое, люди-то? Это, брат, мудреная загадка, вид один, а духа разного, значит — не одно семя. Да, что про это говорить: чего не хотят, то делают, и чего не любят, то и заводят: черт ими в куклы играет... Не могу, братец: не могу я этого переносить...». Мечта написать «Безбедовича» — романчик с героем «простого разумения» — теплится в сознании Лескова и в 1890-е годы, о чем он сообщает Л. Н. Толстому, предполагая, что в беседе с яснополянским мыслителем сможет наметить «художественные пятна картины». Подробнее см. статью К. П. Богаевской «Н. С. Лесков. Из творческих рукописей...» (Лит. наследство. Т. 87. С. 36—62).

С. 223. *...я ведь немножко буддист и верю в то, что душа, приходя откуда-то в тело, приносит с собою известные готовые и совсем сформированные инстинкты и свойства...* — Термин «буддизм» для обозначения одной из трех мировых религий был введен европейцами в XIX в. Признание в устах Безбедовича не случайно для писателя. Лесков испытывал к буддизму глубокий интерес (см. об этом: *Шелаева А. А.* 1) Ориентализм в русской культуре (Н. С. Лесков и восточная культура) // Философия, религия и культура стран Востока. Материалы научной конференции. 6—9 февраля 2008 г. СПб., 2009. С. 509—514; 2) О буддийских корнях легенды Н. С. Лескова «Брамадата и Радован» // Идеалы. Ценности. Нормы. Материалы VI Международной научной конференции по востоковедению. 3—6 февраля 2010 г. СПб., 2010. С. 406—409). Безбедович имеет в виду реинкарнацию, или метемпсихоз, т. е. переселение души после смерти тела в новое тело (в некоторых вариациях только в тело человека). Многочисленные истории о переселении душ первоначально были рассказаны в «Джатаках» самим Буддой. В библиотеке Лескова имелась книга немецкого буддолога Г. Ольденберга «Будда, его жизнь, учение и община» (М., 1884), а также другая литература по истории буддизма. Герой Лескова упрощенно трактует буддийское понятие о душе и ее перерождениях. Буддийская философия отличается большой сложностью. Материальный мир, согласно буддийскому учению, есть иллюзорное проявление комбинаций дхарм, которые в то же самое время являются и носителями духовного начала. См. коммент. к с. 180.

...я пасу, братец, самых гадких свиней... — Под свиньями Безбедович понимает свои дурные страсти и наклонности. В широко распространенном толкова-

нии евангельской притчи о блудном сыне свиньи иносказательно обозначают собой эгоистические страсти. Эта же символика появляется в рассказе Лескова «Два свинопаса» (1884), сюжет которого строится на контрастном сопоставлении двух сектантов — пашковца и штундиста. Пашковец — сторонник религиозных идей Г. Редстока (см. коммент. к с. 260) и член основанной на них секты В. А. Пашкова (см. коммент. к с. 260) — считает важным для спасения лишь саму веру и добрые дела, легко находит примирение со своей совестью в «сентиментальном благочестии» единоверцев, а штундист — член секты штундистов, отмеченной влиянием протестантизма и получившей распространение среди русского и украинского крестьянства во второй половине XIX в., отлученный от братского общения, «идет на страну далече», и пасет там свиней и скитается там, «пока свиньи его ему не надоели» (*Лесков Н. С.* Два свинопаса // Лесков Н. С. Зеркало жизни. СПб., 1999. С. 466).

С. 225. *Я очень люблю у Пушкина: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»...* — Безбедович цитирует строку из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830). У Пушкина: «мне дороже».

С. 226. *Я не знаю, как обойдется Лука со своим состоянием...* — Имя Лука или «Луконька», часто появляющееся в рукописи, везде исправлено Лесковым на имя Пимен, кроме данного случая.

С. 228. *И он опять обобщил вдруг свой вывод в полуприточной форме...* — Т. е. в форме, близкой притче, иносказательно.

С. 229. *...то и предложил эту «кондицию» мне.* — Кондиция (лат. condicio) — соглашение; здесь: уроки в частном доме.

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Роман

Часть первая
РАПСОДИИ

(«На дворе бушевала жестокая зимняя вьюга...»)

С. 229

С. 229. *Несть наша брань не к крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным.* — Эпиграф представляет собой фрагмент текста из Послания святого апостола Павла к Ефесянам (Ефес. 6 : 12). В синодальном переводе Библии: «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Эпиграф свидетельствует о новом этапе разработки автором темы «чертовой куклы», образ которой становится все более многозначным. В данном наброске он связан с женским персонажем — страдающей в момент ухода из жизни от угрызений совести и страха за совершенные грехи Анастасией Брасовой, не сумевшей противостоять соблазнам жизни, в ее понимании и понимании близкой ее подруги Сарры Яковлевны,

отождествляемым с «кознями дьявола». В этом наброске, как и во всех остальных, Лесков последовательно проводит тему «бесхарактерности» своих персонажей, связывающую их с поздним романом под названием «Чертовы куклы».

Рапсодии — в музыке — инструментальные или вокальные произведения, написанные в импровизационном стиле. Лесков определяет жанр произведения музыкальным термином, словно желая выступить в роли эпического певца-рапсода и, воссоздав ряд эпизодов из провинциальной дворянской жизни, воспеть ее. Ж.-К. Маркаде в упомянутой выше монографии «Творчество Н. С. Лескова. Романы и хроники» увидел в отдельных произведениях писателя некий возврат к принципам повествования, возникшим до появления романа современного типа, а именно к рапсодической технике повествования, которая в большей степени проявляется в хрониках. Этот термин Маркаде использует, говоря о повествовании внутри повествования, которое является самодостаточной структурой. Она связана с основными событиями повествования тем, что освещает их под новым углом зрения, и в этих произведениях как соединяющий ряд повествований элемент используется не композиция, а стыковка. В качестве примера Маркаде приводит «Демикатоновую книгу» отца Туберозова в «Соборянах» и предполагает, что Лесков в данном случае опирается на уроки, полученные у любимого им писателя Лоуренса Стерна (см. коммент. к с. 163). В его «Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентельмена» («The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman», 1759—1767), где автор находится в постоянном диалоге с читателем, Стерн прямо называет свое произведение *рапсодическим* (*Маркаде Ж.-К.* Творчество Н. С. Лескова... С. 187—188, 418).

...вдоль довольно узкого удолья... — Т. е. вдоль низменности или поймы реки.

С. 230. *...напоминает басню о дубе и тростнике...* — Сюжет басни, восходящей к Эзопу и Лафонтену, был необыкновенно популярен в XVIII в. и использовался А. П. Сумароковым, Н. П. Николевым, Я. Б. Княжниным. У И. А. Крылова, которому Лесков посвятил отдельную статью «Боговедение баснописца» (1894), басня носит название «Дуб и трость» (1806).

Разрядная комната — комната, где распределялась работа между крестьянами и дворовыми.

Бурмистр — в России управляющий помещичьим имением, следивший за исполнением крестьянских повинностей.

А я у вас сейчас фук возьму. — Речь идет об одном из устаревших правил игры в шашки. Если противник прозевал и не убил шашку игрока, стоявшую под боем, игрок мог взять ее за «фук». Своим происхождением выражение связано с глаголом «дуть», или «фукать».

...вчера им был прочитан манифест, окончивший их рабство... — Речь идет о «Манифесте об отмене крепостного права 19 февраля 1861 года», содержавшем такие слова: «В силу новых положений крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей». Этот документ стал важным итогом реформ императора Александра II (1818—1881) и был обращен к крепостным. Их крепостное состояние манифест объяснял тем, что крестьяне

«частью старыми законами, частью обычаем потомственно укреплены под властью помещиков» (bibliotekar.ru>rus15/htm).

С. 231. *...стал сворачивать бумажного гусара...* — Гусар — название бумажной трубочки, в которую клали табак для нюхания.

...имевшей здесь наблюдение ключницы... — Ключница — экономка в помещичьем доме, ведавшая домашним хозяйством, заготовкой припасов и кладовой.

Но пестрый фараон мало-помалу так овладел ее вниманием... — Речь идет о пасьянсе, который являлся видом гадания и увлекательной карточной игрой, популярной в XIX в. Как гадание, так и карточная игра строго порицались церковью.

С. 232. *...давала ей сходство с англичанками времен Елизаветы.* — Лесков имеет в виду эпоху английской королевы Елизаветы Тюдор (1533—1603), когда был признан тип женской красоты, нашедший отражение в портретах школы Ганса Гольбейна Младшего (1497—1543). Создавая вербальные портреты своих героинь, Лесков часто обращался к образцам изобразительного искусства. См.: *Гуляева Н. М., Евдокимова О. В.* Слово и изображение в русской культуре XIX века: живописный подтекст хроники Н. С. Лескова «Захудалый род» // Научные труды Института им. И. Е. Репина. Вопросы теории культуры. Вып. 23. СПб., 2012. С. 99—104.

Подайте ваши карты и прочитайте «Отче наш». — «Отче наш» — главная молитва в христианстве. Иисус Христос дал ее ученикам, согласно Евангелию, во время Нагорной проповеди. Одна из ее строк звучит: «но избави нас от лукавого», т. е. от дьявола — злого духа.

С. 233. *Александра Алексеевна сообразила все это...* — Выше героиня названа Александрой Андреевной.

С. 234. *«Я знаю потому, что верю, и верю потому, что знаю»...* — Неточное воспроизведение изречения христианского философа и теолога, представителя латинской патристики блаженного Августина (354—430): «Я верю, чтобы знать, и знаю, чтобы верить». В другом варианте: «Разумей, чтобы мог верить, верь, чтобы разуметь». Восходит к ключевой формулировке вопроса о соотношении веры и знания в трактатах «Исповедь» (кн. 11, гл. 10—20) и «Критика скептической философии». См. также: *Селивестров В. Л.* Августин в русской интеллектуальной традиции // Августин: Pro et contra. Личность и идейное наследие блаженного Августина в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 2002.

Это объясняет нам всю силу Откровения... — Т. е. волеизъявления трансцендентного божества или информации, исходящей от него, которую монотеистические религии рассматривают как критерий человеческого поведения. Концепция Откровения и история становления его идеи в разных религиях и философских течениях проанализирована С. С. Аверинцевым (см.: София—Логос. Словарь. Киев, 2006. С. 337—342).

С. 235. *«Пришли годы, в которых нет мне больше удовольствия ~ а дух к Богу, Который дал его».* — Прасковья Брасова читает Ветхий Завет (ср.: Еккл. 12 : 1—7), где дано образное изображение старости и смерти.

...не сделается куклой этого злодея, которого я не хочу называть. — Мисс Сарра пользуется эвфемизмом, чтобы не произносить слово «черт» или «дьявол».

С. 236. *Пароксизм* — здесь: резкое ухудшение состояния больного.

...но Замедлявший пришел... — Т. е. вмешалась воля Бога, замедлившего наступление смерти.

С. 237. *...и относилась к его главному корпусу глаголем.* — Глаголь — старое название буквы «г».

...турецкою букетною материею. — Имеется в виду обивочная материя с изображением цветов и букетов в восточном (турецком) стиле.

С. 238. *...в старом фризовом чехле.* — Т. е. в чехле из грубой ворсистой ткани.

...мебелью, сделанною в раковины... — Т. е. с выделанными украшениями в виде шипов.

Иммортели — цветы бессмертника.

С. 239. *...Настасия Алексеевна...* — На с. 217 эта героиня носит имя Лидия Николаевна, а на с. 237 — Анастасия Николаевна.

...и Зои... — В наброске «Нас было три товарища...» младшая дочь Брасовой названа Гоиль.

...мисс Сарра ~ эта методистка... — Методисты — члены отпочковавшейся от англиканской церкви религиозной общины, возглавленной Джоном Уэсли (1703—1791). Впервые методисты появились среди студентов Оксфордского университета в 1729 г. Свое название получили по строгому (методическому) соблюдению религиозных предписаний. Широко проповедовали в народе, призывая к христианскому смирению и терпению.

Становой — с 1837 г. полицейское должностное лицо, назначаемое губернатором.

Кирасирский поручик — младший офицер лейб-гвардии кирасирского полка тяжелой кавалерии. Кираса (фр. cuirasse) — защитное вооружение из двух металлических пластин, выгнутых по форме груди и спины.

...в новое царское царствование... — Т. е. в царствование императора Александра II, который находился на престоле с 1855 по 1881 г.

С. 242. *...хотя бы одну страницу из Джона Буниана.* — Джон Беньян (Буниан) (John Bunyan; 1628—1688) — знаменитый английский пуританский проповедник, автор 59 произведений. В русском переводе они впервые появились в XVIII в. Новый перевод двух главных книг Буниана сделала Ю. Д. Засецкая: Джон Буниан. Путешествие пилигрима — Духовная война. Пер. с англ. Ю. Д. З. СПб., 1878. «Путешествие пилигрима» («The Pilgrim's Progress») представляет собой аллегорический роман-притчу, содержащий дидактические наставления, которые изложены в виде бытовых случаев простым и строгим языком. Не только Брасова, но и Савелий Туберозов в «Соборянах» (IV, 274) читает книги Буниана. Лесков откликнулся на перевод Засецкой заметкой «Новая назидательная книга» (Церковно-общественный вестник. 1878, 2 апреля).

* * *

(«Полная луна, высоко стоя на безоблачном летнем небе...»)

С. 246

С. 248. *...«вся бледна, холодна, замираю, дрожу»...* — Строка из стихотворения А. В. Кольцова «Русская песня» (1841).

С. 250. *Бангоф* (нем. Bahnhof) — вокзал.

Придверник — привратник.

...в коломянковом пальто... — Коломянка — домотканная шерстяная ткань.

...называли председателем местной контрольной палаты... — Контрольная палата — орган государственного контроля, возникший в результате проведения реформ в царствование Александра II. Должность, которую занимает Безбедович, называлась «управляющий».

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Повесть

(«На левом берегу Оки, вниз по течению...»)

С. 251

С. 251. *«Вы не то делаете, что хотели бы».* — Эпиграфом взяты строки из Послания святого апостола Павла к Галатам (5 : 17), призывающие действовать «по духу», а не «по плоти».

...от губернского города, известного своею хлебною торговлею и беспрестанными пожарами... — По-видимому, рассказчик имеет в виду Орел, который с начала XVIII в. превратился в перевалочный пункт для зерна, поступавшего сюда с юга России на подводах и далее следовавшего речным путем по Оке в центральные губернии. Для того чтобы этот торговый путь мог функционировать в засушливое время года, были проведены сложные гидротехнические работы и сооружено 10 плотин, которые регулировали уровень воды в Оке. Струговую пристань и хозяйственные постройки вокруг нее часто уничтожали пожары, но все это заново отстраивалось для продолжения торговли. Лесков начинает данный набросок, используя прием вымышленных воспоминаний, в которых тем не менее отчетливо ощущается автобиографическое начало и приводятся важные сведения из истории Орловского края.

...горел как хоривская купина... — Рассказчик несколько вольно сравнивает пожары в городе с горением тернового куста на библейской горе Хорив (хоривская купина). См.: Исх. 3 : 2—3.

...раскинулось небольшое село Брасово. — Реальное село в лесной полосе Орловской губернии, впоследствии станция Брасово Московско-Киевской железной дороги. Оно упоминается Н. С. Лесковым в «Автобиографической заметке»

1885 г. См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова: В 2 т. Т. 1. М., 1984. С. 39—40.

...выше положенных номеров флагштока... — Флагшток — здесь: вертикальная рейка со шкалой для измерения уровня воды.

С. 252. *Нажити* (от глагола «наживать») — здесь: хозяйственные постройки.

...в зимние сиверки... — В ненастную погоду, когда дует северо-восточный холодный ветер.

...за стеклянным поставцем... — Поставец — низкий шкафчик со стеклянной дверцей, в котором хранили посуду и другие ценные вещи.

С. 253. — *Кто же тут пóпит и поет?* — Т. е. кто здесь ведет церковную службу и состоит в церковном хоре.

...по врученному ему старинному карманному цилиндру... — Карманный цилиндр — карманные часы с боем, скорее всего, парижской фирмы Бреге (Breguet), которые были популярны среди русского дворянства с конца XVIII в.

С. 254. *...был в полном смысле новый человек...* — Скорее всего, рассказчик противопоставляет брасовского барина не героям Н. Г. Чернышевского, а героям его последователей в литературе, которые в повестях Н. Ф. Бажина (1843—1908), Н. А. Благовещенского (1865—1866) и других писателей демократического лагеря названы «хорошими людьми» и связаны с определенным «направлением». В статье «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе „Что делать?"», опубликованной в газете «Северная пчела» в 1863 г., Лесков тоже называет «новых людей» Чернышевского «хорошими людьми» и отмечает, что «они не несут ни огня, ни меча. Они несут собою образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений» (см.: Н. С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984. С. 55). Герой наброска под названием «Чертовы куклы» вполне соответствует этой характеристике и ведет в духе героев Чернышевского экономическую деятельность, т. е., как писал Лесков, посвящает себя труду, освободившись от власти «узких теорий» и утопий. Однако, как следует из текста, он избегает применительно к себе определения «новый человек», так как это обращает его к нелюбимой им эпохе в русской жизни, изобилующей «направлениями» (надо полагать, шестидесятым годам).

...спешил назвать себя «человеком без направления»... — Тема «человека без направления» впервые появляется в романе Лескова «Соколий перелет. Записки человека без направления» (1875), который связан с комментируемым наброском под названием «Чертовы куклы» местом действия (село Брасово) и именем главного героя. Под названием «Соколий перелет» Лесков создает шесть набросков, в подзаголовках двух из них автором указано, что эти тексты являются «записками человека без направлений», который живет «в ладу с самим собою, никогда не ощущая потребности приносить живых жертв бездушным идолам направлений» (Лит. наследство. Т. 87. С. 47). С точки зрения рассказчика, «человек без направления» — лицо положительное, обладающее даром свободного волеизъявления. Герой данного наброска спешит назвать себя «человеком без направления», чтобы отмежеваться от людей, лишенных твердых убеждений,

нравственных принципов и переменчивых в своих общественных взглядах, которые зависят у них от внешних обстоятельств. Он напоминает героя набросков незавершенного романа «Незаметный след» Льва Безбедовича, который за свою честность и неподкупность в служебных делах прозван окрестными помещиками «человеком без направления». Этот герой обнаруживает, по мнению сына писателя, сходство с отцом Лескова, который был для него неким воплощением человеческого идеала.

...брат его губернаторствовал... — Деятельность губернаторов в описанное Лесковым время регламентировал «Наказ гражданским губернаторам от 3 июня 1837 г.», который делал правителя губернии главным блюстителем политических интересов России. В первой четверти XIX в. эффективность службы губернаторов определялась количеством решенных «бумажных дел», позднее, в 1840-е годы — экономическими показателями. Николай I предпочитал на губернаторском посту людей, которые знали край и умели использовать свои знания в интересах империи (см.: *Иванов В. А.* Деятельность губернаторов 50—60-х годов XIX века в освещении мемуаристов. АН СССР. Институт истории. М., 1989).

...другой предводительствовал... — Предводитель дворянства в России до 1917 г. — выборная должность. Была учреждена Екатериной II в 1785 г. «Жалованной грамотой дворянству» и играла важную роль в системе сословного и местного самоуправления. Предводители избирались на определенный срок и служили без вознаграждения.

...звали его однодворцем... — Однодворцы первоначально составляли социальный слой, впоследствии ставший субэтносом. На южных границах Московского государства однодворцами были военные землевладельцы, позднее лица, происходившие из низшего разряда служилых людей. До 1847 г. они имели право иметь крепостных крестьян, но были обложены подушной податью.

...тотчас после Крымской войны... — Крымская (Восточная) война (1853—1856) — война между Россией и Османской империей, в которую в 1854 г. (на стороне Османской империи) вступили Англия, Франция и Королевство Сардиния.

...участвовал как дружинный офицер местного ополчения. — Дружинный офицер назначался из местных чиновников или отставных офицеров дворянского происхождения. 29 января 1855 г. Николай I подписал «Манифест», повелевающий «приступить ко всеобщему государственному подвижному ополчению», а после окончания боевых действий и подписания мирных соглашений 30 марта 1856 года 11 апреля было обнародовано «Положение о роспуске государственного подвижного ополчения».

...слухи о вероятной близости предстоящей эмансипации... — Эмансипация (фр. émancipation) — освобождение. Речь идет об освобождении крестьян от крепостной зависимости (1861).

...в одном из достославных, но несчастных для русского оружия дел ... — По всей вероятности, рассказчик имеет в виду оборону Севастополя (1854—1855), который героически сдерживал наступление противника 349 дней.

...весть о кончине императора Николая. — 18 февраля 1855 г. в обществе распространились слухи о самоубийстве Николая I, совершенном с помощью яда. Впоследствии они нашли отражение в мемуарах приближенных к царю лиц (см.: Письмо Д. М. Голицына к родителям от 1.03.1855 года // Наше наследие. 2011. № 98). 21 февраля 1855 г. был обнародован манифест о кончине императора Николая I. Лейб-медик Мартин Мандт, личный врач императора, вскоре после его смерти навсегда покинул Россию. Здесь Лесков отступает от исторической последовательности событий: его герой, мобилизованный как дружинный офицер 29 января (см. коммент. выше), не мог до кончины императора оказаться на театре военных действий.

С. 255. *Это напоминало ему тех иерусалимских жидов, которые расстилали одежды свои и пели «Осанна» Тому, которого через пять дней предавали чужеземцу, вопя «Да проклят будет».* — Имеются в виду известный евангельский рассказ о вступлении Иисуса Христа в Иерусалим (Мф. 21 : 9) и эпизод суда над ним (Мф. 27 : 23), когда иудеи кричали: «да будет распят!».

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Фантастическая повесть

(«В небольшоим кружке русских, собравшихся на иностранных целебных водах...»)

С. 255

С. 255. Эпиграф, уже использованный Лесковым в наброске с названием «Чертовы куклы. Роман» (см. с. 229), в данном тексте приведен с небольшим сокращением. Ср.: Ефес. 6 : 12: «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Пропущены слова: «против начальств, против властей».

В небольшом кружке русских, собравшихся на иностранных целебных водах... — В этом отрывке Н. С. Лесков наделяет рассказчика автобиографическими чертами. Писатель неоднократно посещал Мариенбад, который славился целебной минеральной водой.

...это был роман, в котором описывалась страсть замужней женщины к стороннему человеку и отмщение... — Речь идет о романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1873—1877), опубликованном в журнале «Русский вестник» (1875. № 1—4; 1876. № 1—2). Толстой создал его под впечатлением отрывка А. С. Пушкина «Гости съезжались на дачу...», героиней которого является Зинаида Вольская. Анна Каренина в романе Толстого попадает в сходную житейскую ситуацию.

С. 256. *...повешенное над ее головою автором в эпиграфе его произведения.* — Эпиграф к произведению Толстого «Анна Каренина» — «Мне отмщение, и Аз воздам» из Послания святого апостола Павла к Римлянам (Рим. 12 : 19), который может быть переведен с церковнославянского как «отмщение принадлежит Мне, Я воздам», вызвал многочисленные суждения. Значение эпиграфа было важным ключом к пониманию проблематики романа, но чита-

тель, пытавшийся проникнуть в его смысл, сталкивался с неким противоречием, заложенным автором в концепции романа. Многочисленные трактовки эпиграфа в большинстве своем сводились к тому, что нравственность и общепринятые нормы морального поведения нетождественны, сталкиваются в сознании толстовских героев, порождая конфликт, определяющий трагическую развязку. В оценках профессиональной критики встречались и достаточно примитивные суждения: в романе «Анна Каренина» Толстой-художник опровергает Толстого-моралиста, а значит, опровергает и смысл вынесенного в эпиграф. Нельзя не заметить тем не менее, что по отношению к тексту он выполняет важную функцию. Мировосприятие героини проникнуто предчувствием неотвратимости возмездия, и рассказчик в данном наброске Лескова говорит о том, что это ощущает и читатель, который, симпатизируя героине, хочет, чтобы это возмездие не наступило. При всей противоречивости трактовок эпиграфа ясно, что он отражал философско-нравственную позицию самого Толстого в 1870-е годы, самым тесным образом связанную с религиозной мыслью, выраженной в евангельском тексте. Обзор толкований эпиграфа к «Анне Карениной» см.: *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1960. С. 189—204; *Бурсов Б. И.* Лев Толстой и русский роман. М.; Л., 1963. С. 103—109; *Бабаев Э. Г.* Роман Л. Толстого «Анна Каренина». Тула, 1968. С. 56—61. Долгое время в русском обществе наиболее распространенным было понимание эпиграфа, выраженное критиком М. С. Громеко в статье, якобы одобренной самим Л. Н. Толстым: «Нельзя разрушить семью, не создав ей несчастья, и на этом старом несчастье нельзя построить нового счастья. Нельзя игнорировать общественное мнение вовсе, потому что, будь оно даже неверно, оно все же есть неустранимое условие спокойствия и свободы, и открытая с ним война отравит, изъязвит и охладит самое пылкое чувство. Брак все же есть единственная форма любви, в которой чувство спокойно, естественно и беспрепятственно образует прочные связи между людьми и обществом...» (*Громеко М. С.* Последние произведения гр. Л. Н. Толстого // Русская мысль. 1883. № 2. С. 265).

...под влиянием закона о нерасторжимости брака... — До 1917 г. в области брачно-семейных отношений в России действовало гражданское, церковное и обычное гражданское право. Эти отношения подлежали совместной юрисдикции государства и церкви. Государство занимало консервативную позицию в вопросах брака, семьи и развода. Идеалом самодержавия являлась моногамная семья, построенная по авторитарно-иерархическому принципу. Одновременно она являлась хозяйственным союзом. Эти представления, свойственные православной этике, получили отражение в «Своде законов Российской империи» 1832 г., который в 1860 г. претерпел изменения и действовал до 1917 г. Институт развода в России хотя и существовал, но сам бракоразводный процесс носил многоступенчатый характер, а судебное расследование вынуждало придавать огласке интимные детали личной жизни. Вопрос об изменении брачного законодательства был актуальным на протяжении всего XIX в. и расколол русское общество на акциденталистов, допускавших в нем изменения, и эссенциалистов, которые утверждали его незыблемость, основанную на религиозных представлениях о роли женщины в обществе

и на христианской морали. Законодательство о разводе рассматривалось первыми как одно из средств правовой дискриминации женщин.

Н. А. Некрасов, как и многие демократические критики, не увидел в романе Толстого «Анна Каренина» прогрессивного социального содержания и в 1876 г. откликнулся на его публикацию эпиграммой «Автору „Анны Карениной" (Из записной книжки)»:

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.

...закипел оживленный разговор о брачном вопросе вообще и о разных казусных случайностях... — Т. е. о том, как применяются общие правила в отдельных случаях. Казус (лат. casus) — случай.

С. 257. *...а я их не партизан...* — Партизан (фр. partisan) — сторонник.

...наши законы блюдут апостольское правило «еже Бог сопряжи, человек да не разлучает». — Приводится цитата из молитвы в главе «Последование венчания» из «Требника» — богослужебной книги, содержащей чинопоследование таинств и других священнодействий, совершаемых церковью в особых случаях и не входящих в состав храмового богослужения. См. также: Послание святого апостола Павла к Римлянам (7 : 2). Трагические примеры последствий применения этого правила в крестьянской жизни описаны Лесковым в повести «Житие одной бабы» (1863).

С. 258. *«По закону, написанному на сердцах наших».* — Выражение близко по смыслу словам апостола Павла из его Послания к Римлянам (2 : 14—15): «Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли *их*, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую...» Возможно также, что оно восходит к «Исповеди» блаженного Августина (кн. 2, гл. 4).

...много, соответствующего типу «водевильного дяди»... — Т. е. положительному персонажу комедийной пьесы, обычно с песенками, куплетами и танцами, в условном мире которой на каждом шагу встречаются необыкновенные происшествия и нарушаются законы логики и психологии. Водевиль (фр. vaudeville) как жанр получил распространение в России в 1820-х годах.

...он был очень добр и религиозен, но каким-то странным образом... — Хорошо известен интерес Н. С. Лескова к «русскому разноверию», проявившийся в его творчестве и публицистических выступлениях. Т. Б. Ильинская, автор монографии «Русское разноверие в творчестве Н. С. Лескова» (СПб., 2010), пишет: «Многоголосье вероисповеданий — обширная область творческого наследия Н. С. Лескова. „Вероискатели", „разноверные разнотолки", „религиозные разномысленники" появляются уже в первых очерках писателя; эта же тема звучит в произведениях, написанных в последние месяцы его жизни, — „Вдохно-

венные бродяги", „О повести Толстого"» (С. 4). А. А. Горелов в своей книге «Н. С. Лесков и народная культура» (Л., 1988) проследил становление Лескова-религиоведа, отметив его религиозную наблюдательность и интерес к нравственности в христианском духе (С. 34—35), который в эпизодах наброска проявляется в суждениях его героя Петра Петровича Беринтова.

С. 258—259. *...не причислял себя ни к какой церкви, кроме невидимой, но горячо любил Христа...* — Можно предположить, что герой Лескова принадлежит к созданной после XV в. на Западе так называемой «невидимой церкви» Христовой, объединившей верующих в Иисуса Христа представителей разных конфессий по принципу духовного родства. Раннеапостольской церкви было чуждо явление расцерковленного христианства, и каждый христианин принадлежал к одной из апостольских общин. В связи с этим, с точки зрения православного христианства, сторонники «невидимой церкви» нарушают догмат о церкви, а их учение является экклезиологической ересью. Подробнее см. статью В. Н. Лосского «Догмат церкви и экклезиологические ереси» (1938). Однако герой Лескова едва ли исповедует учение «невидимой церкви», его интересуют не богословские построения, а религиозная этика и практика, противопоставленные этике и практике ортодоксальной церкви, занявшей жесткую позицию по отношению к проблеме развода. Это наблюдение подтверждается также проявившимся у Лескова в 1870-е годы представлением о неорганичности соединения западного и отечественного религиозных миров (см.: Сентиментальное благочестие // Православное обозрение. 1876. № 3. С. 530).

С. 259. *...имел редкую у нас в России начитанность в богословской литературе...* — В этом, как и в других набросках под названием «Чертовы куклы», ощущается автобиографический фон. Есть все основания считать, что нарисованный рассказчиком словесный портрет Петра Петровича Беринтова, который лечился «от фигуры», является автопортретом Лескова. «Редкая начитанность в богословской литературе» уже в 1870-е годы проявилась в творчестве писателя в использовании им библеизмов, евангельских реминисценций, цитат из святоотеческой литературы, книг по истории церкви и религиозной философии. Интерес к богословской литературе нашел отражение и в формировании Н. С. Лесковым личной библиотеки (см.: *Афонин Л. Н.* Книги из библиотеки Лескова в Государственном музее И. С. Тургенева // Лит. наследство. Т. 87. С. 130—158).

— *Я человек без направления...* — См. коммент. к с. 254.

С. 260. *...она в некотором отношении тоже была без направления — и вмешалась в чужое дело...* — В известной степени этот набросок «Чертовых кукол» противопоставлен эпизодам из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», связанным с вмешательством графини Лидии Ивановны в судьбы Стивы Облонского и Каренина, который именно под ее влиянием отказывает Анне в разводе. Графиня изображена Толстым самодовольной ханжой, действующей по рецептам трактата лорда Г. Редстока «Спасение и счастье». Религиозные идеи Редстока, приехавшего в Россию в 1874 г., имели сочувственный отклик в аристократической среде. Его сторонниками были княгиня В. Ф. Гагарина, княгиня Ливен, граф М. М. Корф, гвардейский полковник В. А. Пашков, который со временем

возглавил секту (пашковцы), ставшую позднее известной как евангельские христиане. Редстокцы обращались лишь к новозаветным текстам и считали важной для спасения лишь саму веру и добрые дела как ее следствие. Возможно, что Лесков не принимал жесткой толстовской трактовки редстокизма и пытался осмыслить концепцию пашковства в других интонациях, которые позволяют рассмотреть аналогичный жизненный случай вмешательства в чужую судьбу как явление положительное. Отношение Лескова к толстовскому роману нашло отражение в его письмах к И. С. Аксакову 1875 г. Лесков высоко оценил это произведение, отметив, правда, что в нем «так называемая „любовная интрига" как-будто не развита... Любовь улажена не по-романическому, а как бы для сценария..» (X, 380). Письма Лескова также пестрят наблюдениями за реакцией на роман русского общества, которое, как он отмечает, роман «ругает»: светские люди раздражаются, видя свое отображение (Там же). Особенно Лескова интересуют отклики на роман женской части общества, в которой нашлись, как пишет Лесков, «жаркие почитатели Карениной» (Там же).

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Фантастическая повесть
(из рассказов отставного флота капитана Беринтова)

(«В небольшом кружке русских, собравшихся за границею на водах...»)

С. 261

С. 261. *«Брань наша не с плотию и кровию, а с мироправителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесными».* — Цитата из Послания святого апостола Павла к Ефесянам (6 : 12) приведена здесь Лесковым вольно и с сокращением. См. коммент. к с. 255.

...пользовался благорасположением Нахимова и участвовал потом во всей обороне Севастополя... — См. коммент. к с. 254. Биография героя последнего наброска первой главы несостоявшегося в 1870-е годы произведения Лескова под названием «Чертовы куклы» Порфирия Михайловича Беринтова напоминает биографию героев предыдущих набросков — Пимена Николаевича Брасова и Петра Петровича Беринтова. Лесков делает их причастными событиям Крымской войны, в частности самому главному из них — обороне Севастополя. Если Пимен Брасов участвовал в войне как дружинный офицер ополчения, то герои писателя с фамилией Беринтов, являясь кадровыми офицерами русского флота, приняли длительное участие в обороне Севастополя после затопления Черноморского флота у его берегов. Последний из них — ближайший сподвижник адмирала П. С. Нахимова (1802—1855), возглавившего оборону южной части города и смертельно раненного в голову на Малаховом кургане во время объезда оборонительных сооружений. Судя по всему, события Крымской войны живо интересовали писателя. В его рассказе «Бесстыдник» (первоначальное название «Морской капитан с сухой Недны») (1877) упоминается действительное историческое

лицо — Степан Александрович Хрулев, генерал, известный защитник Малахова кургана в Крымскую кампанию 1854—1855 гг., который выведен также в хронике «Смех и горе». С С. А. Хрулевым герой рассказа «старый моряк Порфирий Никитич» познакомился в севастопольских траншеях. Его образ восходит, видимо, к героям комментируемых набросков, как и тема «изнанки Крымской войны», возникающая в рассказе «Бесстыдник» в дискурсе его героев о статьях Н. Н. Обручева «Изнанка Крымской войны», публиковавшихся в журнале «Военный сборник» (1858. № 1—2, 4).

...состоит в партии, патронирующей издание с представительным сословным оттенком... — Скорее всего, Лесков имеет в виду консервативно-монархическую газету «Гражданин», учрежденную князем В. П. Мещерским (1839—1914) и выходившую под его патронажем и на государственные субсидии с 1872 по 1914 г. В ней Мещерский призывал к возрождению роли дворянства, усилению самодержавия и церкви. Одновременно он объявил войну революционному нигилизму и либерализму. Лесков входил в число тех писателей, которых Мещерский пытался объединить вокруг своей газеты в 1870-е годы. В 1875 г. он писал о В. П. Мещерском И. С. Аксакову: «Это просто какой-то литературный Агасфер (см. коммент. к с. 142. — *А. Ш.*): тому сказано „иди", а этому „пиши", и он пишет, пишет, и за что ни возьмется, все опошлит...» (X, 393). По времени это письмо Лескова совпадает с выходом романа Толстого «Анна Каренина» и, по всей вероятности, с попыткой создания романа под названием «Чертовы куклы».

...но Марк Александрович... — Здесь и далее оговорка Н. С. Лескова. Герой наброска в начале его носит имя Порфирий Михайлович.

...не обинуясь говорит... — Не обинуясь — не скрывая, открыто (от устар. глагола «обиноваться» — скрывать, таить).

...что он «человек без направления»... — См. коммент. к с. 254.

С. 262. *...где нет условий нашего нерасторжимого брака...* — См. коммент. к с. 256.

С. 263. *...договорились наконец ради оригинальности до шишки на носу тунисского бея.* — Использованное рассказчиком выражение «шишка на носу тунисского бея» не раз употреблялось Лесковым в его публицистических и художественных произведениях, например в статьях из цикла «Большие брани» (1869), публиковавшихся в газете «Биржевые ведомости», в романе «Некуда» (1864). Скорее всего, оно восходит к концовке повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего»: «А знаете ли Вы, что у алжирского бея (дея) под самым носом шишка?».

С. 264. *...даже самое заглавие, как увидят читатели, принадлежит не мне, а органически вытекает из самого рассказа.* — По всей вероятности, Лесков был готов предложить читателю еще одну интерпретацию названия «Чертовы куклы», связанную с женскими образами несостоявшегося произведения. См. в настоящем издании набросок «Чертовы куклы. Роман. Рапсодии» и комментарий к этому тексту. Можно привести в связи с этим разъяснения общего для нескольких замыслов любимого героя Лескова, Адама Безбедовича, относительно

характера, которым наделены герои типа «чертовой куклы», прозвучавшие в десятой главе неопубликованного «Сокольего перелета». Из них следует, что «чертовыми куклами» Лесков обозначал людей, лишенных силы воли и жизненных принципов: «...чего не хотят, то делают, и чего не любят, то и заводят: черт ими в куклы играет» (Лит. наследство. Т. 87. С. 60). Эти разъяснения тесно сопряжены со смыслом эпиграфа из Послания святого апостола Павла к Галатам, который предпослан одному из набросков: «Вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5 : 17). См. с. 216 и коммент. к ней (с. 339).

...говорили об «эмансипации», которой, впрочем, мало верили... — Имеется в виду освобождение крестьян, которое последовало только в 1861 г. Готовящаяся реформа вызывала не только всеобщее внимание, но и большие опасения в связи с ростом крестьянских волнений и политическими притязаниями дворянства. Будущая отмена крепостного права обсуждалась в журналах, большинство из которых поддерживало правительство. Крестьянский вопрос вызвал в русском обществе конца 1850-х годов раскол, так как бóльшая часть помещиков хотела освобождения крестьян без земли. Слово «эманципация» (фр. émancipation — освобождение), употребленное Лесковым, использовалось при обсуждении крестьянского вопроса в образованных слоях общества, к которому, согласно рассказу, принадлежали и родители Беринтова. Употребление этого слова встречаем, например, в Дневнике В. Ф. Одоевского за 1859 год: «Говорят, что по случаю отставки у Закревского была вся Москва с визитом. Объясняют это тем, что поправил в Москве о себе мнение возражениями против эмансипации» (Лит. наследство. Т. 22—24. С. 94).

С. 265. *...они писаны в либеральном духе в пользу «меньшого брата»...* — Т. е. в пользу крестьянства.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

К. П. Брюллов. Автопортрет. 1849 г. *Холст, масло. Частное собрание. Санкт-Петербург.*

К. П. Брюллов. Портрет молодой женщины у фортепьяно (Эмилия Тимм). 1838 г. *Холст, масло. Частное собрание. Санкт-Петербург.*

К. П. Брюллов. Автопортрет. Начало 1830-х гг. *Холст, масло. Частное собрание. Санкт-Петербург.*

Фр. Крюгер. Николай I. 1852 г. *Холст, масло. Гос. Эрмитаж. Санкт-Петербург.*

Фр. Крюгер. Николай I со свитой. 1834 (?) г. *Холст, масло. Музей-заповедник «Царское Село».*

К. П. Брюллов. Диана и Эндимион. 1849 г. *Холст, масло. Гос. Третьяковская галерея. Москва.*

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИРИ — Институт российской истории. Москва.

ОР ГРМ — Отдел рукописей Государственного Русского музея. Санкт-Петербург.

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Москва.

РАН — Российская Академия наук.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Научное издание

Николай Семенович Лесков

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства *И. Е. Петросян*
Художник *П. Э. Палей*
Технический редактор *О. В. Новикова*
Корректоры *Н. И. Журавлева, А. К. Рудзик*
и *Е. В. Шестакова*
Компьютерная верстка *Л. Н. Напольской*

Подписано к печати 07.07.2015.
Формат 70×90 $1/16$. Бумага офсетная. Гарнитура Академия.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 28.1.
Уч.-изд. л. 23.5. Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3644

Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука»
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
main@nauka.nw.ru
www.naukaspb.com

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-038236-7

9 785020 382367

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА «НАУКА»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

НЕСЧАСТНЫЙ НИКАНОР, ИЛИ ПОХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНИНА Н********

Книга представляет собой научное издание популярного анонимного романа второй половины XVIII века «Несчастный Никанор, или Похождение жизни российского дворянина Н********». Роман интересен и как образец зарождающейся массовой литературы, и как отражение быта и языка эпохи, и как пример соединения художественной литературы и биографии. В Дополнениях воспроизводятся не переиздававшиеся в течение двух столетий оды А. П. Назарьева, служебная биография которого частично отражена в романе, что позволяет воспринимать текст как художественное описание жизни реального человека и предполагать, что А. П. Назарьев был не только героем, но и автором произведения. Если принять эту версию, предлагаемую составителем издания, то совокупность представленных вниманию читателя произведений — романа, од, а также стихотворений, приписанных герою романа, — говорит о А. П. Назарьеве как о незаслуженно забытом писателе XVIII века.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА «НАУКА»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

Вернер Йегер

ПАЙДЕЙЯ: ВОСПИТАНИЕ АНТИЧНОГО ГРЕКА

ТОМ III
ЭПОХА ВЕЛИКИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В Санкт-Петербургской издательско-книготорговой фирме «Наука» готовится к изданию перевод заключительного тома фундаментальной «Пайдейи» Вернера Йегера — основоположника и инициатора нового движения, получившего название «третьего гуманизма». Задачей этого идейного течения, по мысли автора, было создание особой системы духовных ценностей: философское и воспитательное наследие античной Эллады призвано стать «моделирующей силой» современной культуры и образования.

Третий том «Пайдейи» с подзаголовком «Эпоха великих воспитателей и воспитательных систем» посвящен идейно-воспитательному соперничеству Платона и Исократа. Йегер продолжает разбор важнейших диалогов Платона, начатый во втором томе. Теперь автор сосредоточен на таких вопросах диалога «Государство», как воспитание властителя (анализ концепций «более долгого пути», «государства в нас» и др.). Далее автор переходит к рассмотрению риторической воспитательной модели Исократа, затрагивая такие моменты, как воспитательный идеал риторической пайдейи, политическое воспитание и национальная идея, авторитет и свобода при абсолютной демократии. В соотнесении с Искоратом рассматривается риторика платоновского «Федра». Затем Йегер, анализируя содержание VII письма Платона, обращается к одному из интереснейших вопросов античной истории и философии — о взаимоотношениях Платона и тирана Дионисия, о попытке осуществить идею пайдейи в пространстве реальной политики. После этого следует подробное рассмотрение позднего диалога «Законы», а также идейного наследия Демосфена и его позиции в условиях краха классического мира.

Настоящий перевод завершает публикацию на русском языке одной из ключевых книг XX в. Opus magnum Йегера — это не только памятник своего времени, но также эксплицитная программа нравственно-политического гуманистического воспитания: единство пайдейи на протяжении архаики и классики было обусловлено воспитательным приобщением юных поколений к лучшим образцам поэзии и словесности, транслировавших фундаментальные нравственные ценности. Педагогический опыт античности, тщательно обработанный Йегером, может стать действенным средством самовоспитания для современного человека.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «АКАДЕМКНИГА»

Магазины с отделами «Книга—почтой»

119192 Москва, Мичуринский проспект, 12, корп. 1;
(код 495) 932-78-01
Сайт: **http://LitRAS.ru/**; e-mail: **okb@LitRAS.ru**

199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1;
(код 812) 328-38-12; e-mail: **naukaspb1@yandex.ru**

Магазины «Академкнига» с указанием букинистических отделов

660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45;
(код 3912) 27-03-90; akademkniga@bk.ru

117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
(код 499) 124-55-00 (Бук. отдел)

119192 Москва, Мичуринский проспект, 12;
(код 495) 932-74-79 (Бук. отдел)

101000 Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 8, строение 4;
(код 495) 624-72-19

142290 Пущино Московской обл., МКР «В», 1;
(код 49677) 3-38-80

191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57;
(код 812) 273-13-98; academkniga.spb@bk.ru
(Бук. отдел)

Коммерческий отдел, г. Москва
Телефон для оптовых покупателей: (код 499) 143-84-24
Сайт: http://LitRAS.ru/
E-mail: info@LitRAS.ru
Отдел логистики, телефон: (код 495) 932-74-71
Факс: (код 499) 143-84-24

При оформлении обложки использованы
картины Богдана Виллевальде
«Николай I с цесаревичем
Александром Николаевичем в мастерской
художника в 1854 году», 1884,
Жана Кузена Старшего «Ева — первая Пандора», 1550.
Оформление обложки П. Палей.



Роман «Чертовы куклы» — образец мало известной читателю «искусствоведческой прозы» Н. С. Лескова (1831—1895). Роман имеет сложную творческую историю. Долгое время он считался незавершенным. Первая его часть, вышедшая в свет в журнале «Русская мысль» в 1890 г., в дальнейшем публиковалась с подзаголовком «Главы из неоконченного романа», вторая — оставалась неизвестной. Она была обнаружена в творческих рукописях писателя только в 1970-е гг. Замысел этого произведения восходит к 1870-м гг. и отражает размышления Лескова о характере современного ему русского человека, который под давлением социальных обстоятельств утрачивает способность к волеизъявлению, т. е., по выражению писателя, становится «чертовой куклой». Окончательный текст 1890 г. — памфлетное изображение николаевской эпохи, которое служит фоном для постановки ряда проблем, актуальных в истории мирового искусства и тесно сопряженных с критикой тоталитарного режима, губительно влиявшего на судьбы русского искусства. Главные герои романа вызывают очевидные ассоциации с императором Николаем I и художником К. П. Брюлловым. Полностью роман публикуется впервые.

ЛП

Н. С. ЛЕСКОВ

Чертовы куклы

Н. С. ЛЕСКОВ

Чертовы куклы